

Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) Проект Стивена Коэна и Катрины ванден Хювел при участии Музея истории ГУЛАГа



СЕРИЯ «АИРО — ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ» под редакцией Г.А. Бордюгова

Международный совет научных проектов и издательских программ АИРО

Геннадий БОРДЮГОВ Руководитель

Андрей МАКАРОВ Генеральный директор

Сергей ЩЕРБИНА Арт-директор

Карл АЙМЕРМАХЕР Рурский университет в Бохуме

Дмитрий АНДРЕЕВ МГУ им. М.В. Ломоносова

Дитрих БАЙРАУ Тюбингенский университет

Дьердь БЕБЕШИ Печский университет

Владимир БЕРЕЛОВИЧ Высшая школа по социальным наукам, Париж

Бернд БОНВЕЧ Рурский университет в Бохуме

Ричард БУРГЕР INTAS, Брюссель

Харуки ВАДА Фонд японских историков

Людмила ГАТАГОВА Институт российской истории РАН

Пол ГОБЛ Фонд Потомак

Габриэла ГОРЦКА Центр «Восток-Запад» Кассельского университета

Андреа ГРАЦИОЗИ Университет Неаполя

Никита ДЕДКОВ Московская школа экономики МГУ

Ричард ДЭВИС Бирмингемский университет

Стивен КОЭН Принстонский, Нью-йоркский университеты

Алан КАСАЕВ РИА «Новости»

Джон МОРИСОН Лидский университет

Василий МОЛОДЯКОВ Университет Такусеку, Токио

Игорь НАРСКИЙ Южно-Уральский государственный университет

Норман НЕЙМАРК Стэнфордский университет

Дональд РЕЙЛИ Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл

Борис СОКОЛОВ Русский Пен-центр

Такеси ТОМИТА Сейкей университет, Токио

Татьяна ФИЛИППОВА Российский исторический журнал «Родина»

Ютта ШЕРРЕР Высшая школа по социальным наукам, Париж

Сергей Николаевич ЧЕКИН

СТАРЫЙ БУЯН, САМАРА, ПЕЧОРЛАГ

Повествование врача Трудникова

Составитель и автор предисловия Л.С. Чекин

Москва 2013

СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ» ОСНОВАНА В 1994 ГОДУ

Редактор-консультант М.М. Голубков

Дизайн и вёрстка: Сергей Щербина

Чекин С.Н.

Старый Буян, Самара, Печорлаг. Повествование врача Трудникова. [Текст]. / С.Н. Чекин; Составитель и автор предисловия Л.С. Чекин. — М.: АИРО-XXI, 2013. — 296 с. + 8 с. илл. (Серия «АИРО — первая публикация»). — ISBN 978-5-91022-228-5.

Повествование являет собой художественный текст и уникальный исторический источник, рассказывающий о сложной и страшной эпохе в жизни России. Это первая публикация автора, создававшего свои произведения без надежды увидеть их в печати и давно ушедшего из жизни. Для читателей оставлены свидетельства о судьбах встреченных людей, Старобуянской республике 1905 года, анархистском кружке в Самаре после Октябрьской революции, работе врача, аресте, следствии, суде и десятилетнем сроке в Печорлаге. Интерпретация и своей личной, и народной судьбы дана без какой-либо оглядки на цензуру и самоцензуру, на еще не сложившийся в то время канон лагерной литературы. Опираясь на собственные взгляды — в своей основе крестьянские, по форме анархистские, — автор нашел необычные сюжетные линии, особые краски и выразительные детали, крайне важные для понимания прошлого страны.

© Составление, обработка текста, предисловие, Чекин Л.С., 2013 © АИРО-XXI. 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Под соломенной крышей	12
Старобуянская республика	35
Школьные годы	51
Турецкий фронт	72
Революция	83
Антигосударственники	92
Голод	101
Сельский врач	109
Сын	126
Арест	134
Суд	164
Этапы	174
Концлагерь	187
Таня Разумовская	219
Особорежимная пятнадцатая	236
Освобождение	250
Неверноподданный гражданин	265
Литература, упомянутая в сносках	284
Vказатель имен	285

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце пятидесятых и в шестидесятых годах прошлого века мой дед, Сергей Николаевич Чекин (1897–1970) написал воспоминания, доставшиеся мне тринадцать лет тому назад после смерти моего отца. Ни мой сын, ни жена уже не могли разобрать дедовский почерк, и я решил перепечатать некоторые из тетрадей, чтобы сохранить их для семейного чтения. А когда перепечатал, увидел, что значение их шире.

Дед писал о Старобуянской республике 1905 года, об анархистском кружке в Самаре после революции, о своей работе врача, об аресте, следствии, суде и десятилетнем сроке в Печорлаге. Он рассказывал о том, что видел и пережил сам, и оставил правдивые свидетельства о судьбах встреченных им людей. Основная ценность его рукописи в том, что он сумел предложить интерпретацию своей собственной и народной судьбы, опираясь на собственные взгляды — в своей основе крестьянские, по форме анархистские, изложенные без какой-либо оглядки ни на цензуру и самоцензуру, ни на еще не сложившийся в то время канон лагерной литературы.

Записки деда оказываются источником и по истории крестьянской интеллигенции, и по русскому анархизму, и по местной истории — вынесенных в заглавие Старого Буяна, Самары и Печорских лагерей. Поэтому при публикации был выбран подход, позволяющий максимально сохранить документальную ценность данных записок. При этом необходимо помнить, что записки были задуманы как художественное произведение. Вероятно, литературные и фольклорные формулы в особо драматические моменты преобладают над реальностью: картина счастья и довольства в конце 1930-х гг. необходима для того, чтобы оттенить черноту разверзшейся 19 декабря 1940 года пропасти. Размышления героя о главном моменте его судьбы, аресте — это речитативы, отшлифованные в течение всех тюремных и лагерных лет.

О принципах отбора текста для данной публикации я подробнее расскажу ниже. Пока отмечу, что в записках деда автобиографический материал организован в виде нескольких повестей, сюжетная канва которых в общем сходна. В основе моей публикации лежит наиболее пространная из сохранившихся автобиографических повестей — «Повествование Трудникова», с дополнениями и вариантами из нескольких других текстов, а также с изъятиями стилистического плана.

Герой предлагаемого читателю «Повествования», врач Трудников — носитель биографии моего деда. В рукописи Трудников пересказывает свою жизнь Рассказчику, который познакомился с ним «в бытность мою в стране полунощной», и единственной функцией которого является запись трудниковских воспоминаний. «Оба мы имели много долгого времени, были предоставлены самим себе без прав и обязанностей житейских, без семьи и детей. И вот я договорился с ним, что он расскажет о житьебытье своем и других, о радостях и печалях настоящего и будущего, и что я с его слов буду записывать». Создавая свои воспоминания, дед старался прибегать к приемам художественной литературы — в той мере, в какой эти приемы были для него значимы. При редактировании текста от некоторых элементов композиции пришлось отказаться, в частности, и от фигуры рассказчика.

Тетради переполнены философскими и политическими отступлениями, излагающими теорию экономической свободы без политической диктатуры партии и содержащими жесткую критику «марксидов» (термин, который автор предпочитал применять к своим идейным противникам и мучителям). Мой дед не признавал диктатуру партии после победы революции — диктатуру с целью «стегать самих себя во имя политической, экономической и моральной свободы, а ведь свобода и любая диктатура исключают друг друга». Количество таких отступлений при публикации значительно уменьшено за счет сокращения повторов, но суть авторских воззрений сохранена. Именно эти рассуждения и были оценены в 10 лет заключения с последующим поражением в правах.

Читатель, подошедший к «Повествованию врача Трудникова» с ожиданиями очередной лагерной повести, может обнаружить несовпадения. Автор не ориентировался на складывавшуюся

Предисловие 9

в оттепельной и постоттепельной литературе трактовку исторических событий тех лет. Вот как он комментировал нападение Германии на СССР: «Это известие нас не обрадовало и не опечалило: у каждого была своя несчастная судьба тяжелее, чем война, которая казалась второстепенным делом, как и все прошлые войны народов Земли». Смерть Сталина упоминается только вскользь, без слез, но и без особого восторга («хватил его кондрашка»), лишь с сожалением, что «не нашлось достойного человека, чтоб избавить народ от тирана». Все, что связано с историей государства и его аппарата насилия, составляет общий мрачный фон повествования; действия земных властей служат поддержанию и усугублению гнета. Но общественный контекст личной истории врача Трудникова не ограничивается этим мрачным фоном. Значимыми историческими событиями для деда были те, в которых проявлялась революционная творческая энергия народа – такие, как провозглашенная в 1905 г. в Старом Буяне самоуправляющаяся республика и как восстание 1948 г. на штрафной колонне № 15 пятого строительного отделения Севпечлага, возглавленное Минклевичем и Сушковым. Материалов об этих событиях сохранилось немного, что подчеркивает важность данной публикации как исторического свидетельства.

Теперь более подробно о тетрадях в архиве деда и о принципах отбора материала для публикации. Эти тетради содержат следующие произведения автобиографического характера: «Иван Иванович» (в примечаниях сокращается ИИ, одна тетрадь); «Особорежимная Пятнадцатая» (ОП, две тетради); «Повествование Трудникова Петра Петровича» (ПТ, пять тетрадей); «Фома Неверующий. Таня Разумовская. Повесть-роман» (ТР, одна тетрадь). После выхода в свет настоящей книги тетради будут переданы в фонд 001 (Всероссийская мемуарная библиотека) архива Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

В «Иване Ивановиче» повествуется об аресте главного героя и суде над ним, в «Тане Разумовской» рассказывается история любви главного героя Сергея Терехова и Тани Разумовской, в «Особорежимной пятнадцатой», где речь идет о восстании в одной из колонн Печорского концлагеря, один из героев — врач Старотопный. В «Повествовании Трудникова» рассказчик записывает воспоминания Трудникова Петра Петровича (в тексте часто

именуемого также Сергеем Петровичем). Канва жизни Ивана Ивановича, Сергея Терехова, Петра Петровича Трудникова и врача Старотопного сходна, многие эпизоды повторяются с незначительными вариациями.

Кроме этих произведений сохранились две тетради с жизнеописанием знакомых моего деда. Первая тетрадь озаглавлена «Жизнь неудачника Доронина Григория», автор обозначен как «Сергей Терехин». О герое этого произведения, уроженце Старого Буяна Григории Доронине упоминается и в «Повествовании Трудникова». Во второй тетради содержится вариант жизнеописания того же Доронина под заглавием «Скованный Прометей», автор — «Трудников Сергей, он же Старотопный, он же Фома Неверующий». Помимо того, во второй тетради записан рассказ под особым заглавием «Погубленные властью», об общем друге Григория и Сергея, Яне с «прибалтийской фамилией» Званзгия или Занзгия.

Наконец, в архиве имеется сборник стихотворений «Фома Неверующий. Царство властей — царство цепей: Размышления в стихах» (ЦВ). Кроме собственных, в сборнике содержатся два стихотворения неизвестного автора-анархиста, «Человеку» («Мой дерзок дух, его дорога в космос») и «Юношеству» («Над миром грохочет [...] набат, набат бунтопьяного пламени»). Во многих собственных стихотворениях деда отражены темы его автобиографических тетрадей. Так, в стихотворении «На Кондурче» Таня Разумовская — «столбовая дорога» жизни, каковой она предстает и в повести «Таня Разумовская».

В данной публикации за основу принят текст «Повествования Трудникова», где жизнь героя излагается наиболее полно и многосторонне. Из пяти тетрадей публикуются только начальные три с половиной тетради, до с. 549 (пагинация в первых четырех тетрадях сквозная от 1 до 649). Далее повествование приобретает дневниковый характер, за исключением экскурса о государственной власти в пятой тетради (запись 1967 г., л. 6–14), который использован в качестве заключительного раздела. Существенные дополнения составителя взяты [в квадратные скобки], многоточием в квадратных скобках отмечены как редакторские изъятия, так и неразобранные слова. Дополнения и варианты из других повестей даются и в тексте, где они выделяются скобками, и в

Предисловие 11

подстрочных примечаниях. Вставки из «Тани Разумовской» в тексте взяты {в фигурные скобки}, из «Особорежимной пятнадцатой» — <в угловые >, из «Ивана Ивановича» /в косые/. Стихотворение добавлено из «Царства властей».

Названия глав даны мной. В примечаниях также приводятся ссылки на официальные документы из дедовского архива и на опубликованные источники и литературу, проясняющие описываемые в записках деда события. Список опубликованных источников и литературы прилагается в конце книги.

Варианты в изложении сходных эпизодов в четырех автобиографических произведениях во многих случаях несущественны, но иногда встречаются значительные разногласия между текстами. В настоящей публикации я пытался выбрать наиболее реалистичный из имеющихся вариантов. Например, вариант «Тани Разумовской» был выбран как более реалистичный в следующих эпизодах: описание жаркой камеры, в которую герой помещен перед отправкой в Сызранскую тюрьму после окончания следствия; появление в общей камере Самарской тюрьмы слепого восьмидесятилетнего старика; сон накануне суда. В случаях, когда подобный выбор затруднителен, предпочтение отдавалось «Повествованию Трудникова». Все замены вариантов оговорены в примечаниях.

Фамилия героя оставлена, как и в оригинале, «Трудников», но имя в «Повествовании Трудникова» передается непоследовательно: то Петр Петрович, то Сергей Петрович, отец же повествователя именуется Николаем. В публикации восстановлено реальное имя автора (Сергей Николаевич). Также восстановлены основные топонимы, «зашифрованные» в ПТ (Старотопное – Старый Буян, Зигзага – Кондурча, Смуров – Самара).

Явные ошибки исправлены, правописание стандартизировано, кроме диалектных форм (самородина) и исторических терминов (заведывающий школой).

Я благодарен первым читателям, высказавшим свои строгие замечания по поводу рукописи: Михаилу Михайловичу Голубкову, Эле Мороз и Елене Александровне Серебряник-Белл.

ПОД СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ

[...]

Родился я в доме под соломенной крышей в селе, что в тридцати верстах от Волги на восток и шестидесяти от областного города на север. Жители Старого Буяна расселились по обоим берегам речушки Буянки, превращенной в два больших пруда мельничными плотинами, а с восточной стороны села с севера на юг протекала река Кондурча¹. С северо-запада село окружали небольшие горы, поросшие чернолесьем, а с юго-востока за рекою Кондурчей раскинулась низменность с полями, лугами, озерами, перелесками и бором.

{После отмены крепостного права в 1861 г. село разделилось на три общества, Матюнинское, Сергеевское и Нефедьевское, по имени трех бывших крепостников-помещиков, каждое с отдельными земельными наделами}². Большой мост на Буянке разделял наше село на большую, северную часть — Матюнинское и Нефедьевское общество и южную — Сергеевское общество.

{Село большое, в триста деревянных домов с соломенными крышами, кроме магазинов, двух школ, волостного правления и десятка домов зажиточных крестьян — эти строения были покрыты тесом или железом}. Многие десятки лет наше село было волостным центром. От других окружающих сел и деревень оно отличалось тем, что имелись шестиклассная земская школа и четы-

¹ Здесь и далее в оригинале Старый Буян назван «Старотопное», Буянка — «Быструшка» или «Быстрянка», Кондурча — «Зигзага». ТР: «Свое название село Старотопное получило по буйному нраву первых поселенцев ссыльных в начале царствования царей Романовых, а потом переданных крепостникам помещикам Матюнину, Сергееву и Нефедьеву. Во времена крестьянских восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачева крепостные крестьяне топили своих помещиков и их опричников в озере соснового бора. Близ озера жители гнали смолу, и оно впоследствии стало называться Смолевым».

² Значение фигурных и других скобок см. в Предисловии.

рехлетнее ремесленное училище. В Старом Буяне почти все дети учились в земской или в ремесленной школе, а десятки юношей и девушек из Старого Буяна учились в средних и специальных учебных заведениях в городе Самаре³. Также в селе были две водяных мельницы, церковь, больница, три магазина и по средам большие базары; {плодовый питомник, детский дом и государственный кабак — неизбежная принадлежность всякой государственной власти для одурманивания тружеников полей и городов; урядник, стражник, земский начальник, телефонная связь с губернским городом}.

Старобуянцы в массе своей жили небогато, что-то между середняками и бедняками [...]. {Во всем селе имелось не более десятка домов, применявших наемный труд, а большинство хозяйств, где имелись две-три лошади, две коровы и прочий домашний мелкий скот, обходилось силами собственной семьи. Десятка два однолошадных и десяток дворов безлошадных }.

Земельные наделы небольшие, а потому многие старобуянцы на условиях аренды и испольщины брали землю у дворян. Несколько обедневших родовых дворян за рекой Кондурчей владели мелкими земельными участками от тридцати до ста двадцати десятин и занимались небольшими посевами земли: землю они не любили, предпочитали сдавать ее в аренду, испольщину, брали за плату на отгул овец, быков, а потому жили не богаче крестьянина-середняка. {Но три-четыре помещика владели обширными земельными угодьями вблизи малоземельных крестьянских общинных наделов, а потому скрытое враждебное отношение крестьян к помещикам оставалось и после отмены крепостного права}. Помещики засевали свою землю через управляющих и наемных рабочих, и если б не аренда и испольщина земли у обедневших дворян, то большинство старобуянцев не имели бы своего хлеба до нового урожая.

Я хорошо помню, как зимой приезжал к отцу дворянин Михин и дешево сдавал в аренду несколько десятин вперед на три-шесть лет и скромно курил махорочную самокрутку.

 $^{^3}$ Здесь и далее в оригинале город Самара (как и Куйбышев) назван городом Смуровым.

Мой отец родился где-то в Симбирской губернии в селе Палихе на зимнего Николу в 1858 г., то есть еще в крепостное время. Мать часто называла отца Ермаком, видимо, за внешнее сходство: средний рост, черный цвет волос, коренастую фигуру. Отец никогда нам не рассказывал о своей родословной, но из рассказов его матери — моей бабушки Алены я узнал, что мой дед Павел и прадед были крепостными крестьянами. Когда бабушка овдовела, то ее с двумя дочерьми и тремя сыновьями тамошний барин по какой-то сделке передал Нефедьевскому барину. Мой отец остался с матерью, а два брата его Виктор и Алексей, уже взрослые уехали на жительство в село Кривое Озеро — Тухловку нашей же области, где крестьянам предоставлялись большие наделы земли на одну душу.

С неуловимой быстротой проносятся мысли о далеких годах, почему-то так милых теперь. [...] Много бед и горя пришлось на долю матери отца: земли мало, хлеба не хватало, чтоб досыта накормить семью в пять человек одной без мужа, погибшего тридцати лет на барской работе. Шли годы, повзрослели и заневестились сестры отца Феня и Люба – Феня вышла замуж за Мусатова Даниила Петровича в нашем селе в Матюнинское общество, а Люба за Красильникова в Кобельму. Потом женился и мой отец на Шавариной Дарье Егорьевне из Сергеевского общества, а ее сестра Паша вышла замуж за Большакова Лаврентия Петровича в Матюнинское общество.

Когда я начал помнить своих родных, то к тому времени было четыре близких семьи к нашей: Мусатовых, Большаковых, Красильниковых, моего крестного Терехина Ивана⁴ и Семена. С годами эти семьи множились, появились двоюродные, троюродные братья, сестры, племянники и племянницы.

Из рассказов бабушки по матери Акулины я узнавал о житьебытье крепостных, об их ужасной жизни рабов, [в которой было] больше кнута, чем пряника. После освобождения от крепостного права часть ее родственников Шавариных уехали на жительство в Тифлис и Украину, и один из них племянник-инженер ежемесячно высылал ей по три рубля, когда она стала стара и слепа. Жила

⁴ В ТР упомянут приятель отца Терехов Иван Дмитриевич.

она больше в семье у меньшей дочери Паши. Иногда бабушка (раза два-три в год) приходила в нашу семью. Часто мать посылала меня за ней, и я вел ее за руку и падожек, так как она была совершенно слепа. Погостит у нас недели две-три и просит отвести ее к дочке Паше. Вязала нам чулки, варежки, лечила дегтем на ногах «цыпки». Иногда рассказывала о крепостной жизни, угощала пряниками.

Навсегда я запомнил, как в дошкольные годы, тихим, теплым августовским днем вел за падожек бабушку к тете Паше, где она имела основное место жительства. Я легко и быстро шагал и тянул ее за падожек, а ее девяностолетние ноги передвигались с трудом и за мной не поспевали, и просила меня идти потише, и думал я тогда: Почему бабушка тихо идет, а вот я так легко и быстро?

Только теперь, через десятки лет понял я, почему тогда бабушке так трудно было ходить. В то время мне казалось, что никогда не буду так тихо ходить и уставать.

Умерла она, когда мы все пять ее внучат находились на фронтах первой мировой бойни во славу власть имущих. Похоронили ее на сельском кладбище, а время сгладило крест и могильный холм, а так же сравнило добро и зло ее жизни, но теплые человеческие чувства о ней до сих пор хранятся в душе моей.

В дошкольные и школьные годы вторая бабушка Алена – мать отца любила всех братьев, но мне кажется, любила больше нас, трех последних малолеток, и любила рассказывать нам сказки и былины из старины и своей жизни.

Была она неграмотная, но рассказывала увлекательно в течение нескольких лет в долгие осенние и зимние вечера. Ровным и спокойным голосом вела свои повествования. Мы меньшие братья многие годы по малолетству оставались дома, а старшие братья и сестра уезжали в поле на разные работы в зависимости от времени года.

Бабушка никогда нас не наказывала за наши детские шалости и озорство, а всегда спокойным голосом делала нравоучения без шума и мирила нас, и за это мы относились к ней с уважением. Умерла она в том же году, что и бабушка Акулина, летом шестнадцатого года, когда все мы пять братьев находились на фронтах

Первой мировой войны. Было ей в то время за семьдесят лет, путь жизни ее был тяжел: полжизни крепостная, затем борьба за хлебы с пятью детьми.

Только природные силы и душевные свойства помогли пережить невзгоды жизни и вырастить детей. Как живую ее вижу: роста среднего, хорошего сложения, стройная, лицо чисто русское, походка величавая.

Вот полвека прошло, а вспоминаю о ней с чувством умиления и грусти. Похоронили ее на кладбище, поставили крест над могильным холмом, а время сгладило последний видимый знак: крест и холм могильный не существуют. Потом вместе с нами внуками и память о ней исчезнет. Да, время равняет скорбь и радости и перед ним добро и зло ничто!

Обе бабушки много нам рассказывали о крепостных временах, но ясных отдельных эпизодов в моей памяти не сохранилось. Мне тогда было семь-двенадцать лет, а такие годы, да и более поздние мало интересует прошлая жизнь других; молодость рвется только вперед, от настоящего к будущему и на весь мир смотрит с восхищением, радостью и жизнеутверждающим торжеством.

Общий фон в их рассказах был тот же, что описан современниками той эпохи Руси: рабский труд на правителей, бар и бюрократов. Но и в этом царстве рабства и бесправия блистали светлые лучи: обе бабушки рассказывали о смелых духом отдельных крепостных, восставших против произвола бар, угнетателей и грабителей их труда и свободы по закону всякой власти: «для начальства и беззаконие закон». Эти отдельные нападения на бар смельчаков крепостных крестьян и дворовых вселяли бодрость и уверенность, что когда-то совершится всеобщая расправа с угнетателями общества и начнется новая светлая жизнь для каждого без бар, господ и чиновников, и каждый станет хозяином своего труда и хлебов и всего производимого обществом.

Отца матери я знал по рассказам матери и бабушки Акулины. Когда я родился — дедушки уж давно не было в живых. По их рассказам он был предприимчив: кроме сельского хозяйства занимался мелкой торговлей дегтем, пенькой, шерстью. Увлекался рыболовством в реке Кондурче и преимущественно по ночам. Нрава был веселого, жизнерадостного и любил пошутить без-

обидно. Однажды дьячок и просвирня производили с мирян очередной сбор шерсти. Дедушка вместе с шерстью положил в их мешки в один камфорку, в другой заглушку от самовара, а когда они ушли из его дома, обходить другие дома — он нагнал их на дороге, объявил им, что они утащили то-то и то-то и, действительно, к их удивлению, камфорку и заглушку извлек у них из мешков. Дьячок (Михаил Андреевич Каменский) повторил несколько раз: «Ну и шутник ты, Егор Федорович, шутник»!

Моя мать часто говорила, что я весь в отца ее, дедушку Егора: и ростом такой, [......], с румяным лицом, и характером живым и мечтательным. Так ли это, не знаю. Помню, что несколько раз мать ходила со мной на бывшую усадьбу дедушки. Дом с садиком давно были проданы, а вот родное «пепелище» влекло мать посмотреть его, тоска по отчему дому и воспоминания о прожитых годах там до замужества продолжали жить в ее душе, что я видел по ее тоскливому лицу и глазам. Видимо, в этих посещениях она находила отрадные воспоминания.

Года за два до рекрутского призыва в армию отец женился на моей матери. Хозяйство отца было сиротское, бедное по сравнению с хозяйством отца матери. Но отец понравился будущему тестю тем, что, будучи еще холостым, при встрече снимал шапку – кланялся как старшему по возрасту, что теперь не делается, чем и снискал к себе его расположение. Отец был не очень словоохотлив, а мать была энергического характера, и она не раз рассказывала, что только почтительное отношение к будущему тестю послужило причиной ее замужества. Мать, видимо, любила отца, так как всегда относилась к нему с уважением и чаще называла его по имени и отчеству и редко «Николя».

С женитьбой на матери бедность в семье отца уменьшилась; жить стало легче. Через два года отца призвали на действительную военную службу в Балтийский флот, где он прослужил матросом-кочегаром семь лет и ни разу не был в отпуску. Когда призвали отца в армию — мать была беременна братом Павлом, и он родился без него и до прихода отца со службы воспитывался у дедушки — отца матери, а мать в это время находилась в услужении у господ губернского города. По возвращении отца со службы — все собрались в один дом под одну соломенную крышу.

{Отец Николай Павлович был роста чуть ниже среднего, коренастый, плотный, черноволосый с красивым лицом. Нрава тихого, степенно-уважительного. За всю свою долгую жизнь никогда с односельчанами не имел раздоров, ссор, труженик неимоверный: каждый день с раннего утра до позднего вечера работал в поле или при доме. В редкие часы досуга любил брать сыновей своих на рыболовство бреднем на реке Кондурче и местных озерах. Сам делал бредень, верши, лапти, подшивал валенки, вил веревки из конопли и льна, заготовлял дрова, ухаживал по зимам за скотом.

Мать была полной противоположностью отцу: высокая, худощавая, более чуткая и отзывчивая, общительная и чрезвычайно религиозная}. Мать имела характер открытый, свободно выражала свои переживания, радости и горе: голодного накормит, холодного обогреет, будь то нищий, прохожий или сельский сирота. Для всех обездоленных у нее находились приветливые, ласковые слова утешения. Науку не проходила — неграмотная, так что знание «грамоты» еще не является меркой морали и человечности.

Мать мы любили и не боялись ее, отца тоже любили, но при нем проказничать боялись, хотя он ни разу никого из нас детей не наказывал, тогда как мать часто шумела на нас за озорные проделки. Когда приходилось наказывать, то мы прятались на большой русской печи, а она с полотенцем в руках или завязкой от квашни хлопала по печи, но так, чтоб никого из нас не хлопнуть, и приговаривала: «Господи Исусе — хлоп, Матушка владычица — хлоп, Пресвятая богородица — хлоп». Мы же прижимались друг к другу в углу печи или за трубой и знали, что не достанет до нас. Затем мирно звала нас за стол завтракать или обедать и разъясняла нам правила жизни.

Если отец не имел религиозного рвения, то у матери вера в Бога, в чудеса и всех святых была чрезвычайной. {Когда случалось быть дома во время грозы и грома, она собирала детей и заставляла их на коленях молиться земно перед иконами, и ее примеру следовали механически дети}. Ежедневно перед сном, а то и по ночам усердно, истово и подолгу стояла на коленях перед образами в переднем углу дома. И бывало, проснешься ночью и слышишь, как мать шепотом читает молитвы и бьет земные поклоны

в тишине ночного мрака. Она умерла с искренней верой в загробную жизнь, и это облегчило ей нелегкий путь и конец жизни.

Как-то мать поехала в Самару на базар что-то продать и купить для нас. Деньги шесть рублей положила в карман шубы. Там подсмотрели жулики, и деньги из кармана вытащили. Когда хотела что-то купить, то денег в кармане не оказалось. Она поняла, что их украли. И что же? Пошла в церковь, не оставшиеся медяки купила свечку, помолилась святым угодникам и успокоенная поехала домой, хотя в доме хорошего достатка не было.

Потом, когда мы повзрослели, говорила нам: «Никогда не печальтесь, не убивайтесь и не сокрушайтесь, если что у вас пропадет, потеряете, украдут и тому подобное, будете живы — наживете!» Вот эта-то оптимистическая и в то же время мистическая вера ее помогала ей переживать невзгоды жизни, нужду и лишения, которых так много в каждой крестьянской семье.

Когда мать отдыхала — никто не видел. Позже всех ложилась спать, раньше всех вставала. Большая семья в одиннадцать человек вначале, потом в девять и еще позже в семь человек — тяжелым бременем лежала на материнских и отцовских плечах.

Печь истоплена, хлебы испечены, завтрак готов, а мы только встаем, чтоб позавтракать и идти в школу одним, другим играть на улицу с товарищами, а отец и старший брат на работу по хозяйству. А у матери впереди на весь день бесконечная работа по дому и хозяйству во все времена года. Три раза в день приготовить завтрак, обед, ужин и почти каждый день затевать и печь хлеб на семью одиннадцать или семь человек. Доить коров, шить, чинить, стирать белье, прясть, ткать и шить рубахи, штаны, полога, мешки; прясть и вязать чулки, носки, варежки, и много всяких других дел и забот лежало на ее руках, как и во всех других крестьянских хозяйствах, живущих и существующих без заработной платы на своем собственном труде.

Мать очень любила природу и находила время брать меня и других братьев вместе с собою в бор и вообще в лес за ягодами, грибами, хмелем и лечебными травами, желудями. А когда нас не было почему-либо под рукой в доме, чтоб идти в лес, то заходила за соседкой Прасковьей Яковлевной Дворниковой, тоже лесной любительницей. Мать ходила быстро, а Прасковья Яковлевна едва

поспевала за ней и, чтоб не отстать окончательно, на расстоянии голоса кричала: «Дарья Георгиевна, а что я вам скажу». Мать замедляла шаг и останавливалась, и дальше шли вместе, рядом.

Шли годы, мужали дети, крепла семья, и так до четырнадцатого года, до начала Первой мировой войны, первой мировой бойни
по истреблению рода человеческого. Все мы оказались на фронтах. Горю матери не было предела — за всех пятерых сынов болело ее сердце тысячу дней и ночей. Она мучительно тяжело переживала участь детей, направленных насильно на убой других
солдат других стран, матери и отцы которых так же мучаются и
страдают за своих детей, насильно взятых и отправленных на
фронт. Покамест будет народ терпеть всякую государственную
власть, до тех пор не прекратится этот кошмар современного людоедства.

* *

Наш отец научился на военной службе читать по складам и малограмотно писать, тогда как мать была совершенно неграмотной. Но оба они стремились нас всех, за исключением старшего брата Павла, выучить, и не только по причине малоземелья. Мне кажется, что желание нас учить объясняется и семилетней службой отца в Кронштадтском флоте, и работой некоторое время матери у господ. Отец и мать сами любили крестьянское дело, но понимали, что лучшая жизнь у тех людей, кто не связан землей-крестьянством.

Отец был менее верующий, чем мать: по праздничным дням он не работал только до обеда, в церковь ходил не часто, но дома перед завтраком, обедом, ужином, да перед началом весеннего сева — прежде чем выехать в поле, молился без увлечения и пристрастия. Отец оказался первым моим пособником неверия еще в детские школьные годы.

Семилетняя служба отца в Балтийском флоте дала ему кроме грамоты и общее развитие: им, матросам, офицеры рассказывали о происхождении Земли и тому подобном, объясняли гром, дождь, радугу, чтоб они не пугались грозных и добрых явлений природы.

Я учился в четвертом классе. Любил ходить в церковь и находил в этом душевное удовлетворение больше за счет внешнего благолепия, чем церковных обрядов, и, когда я стоял в церкви, у меня рождались «еретические» мысли сомнения. Если Бог сотворил все видимое и не видимое, кто же его самого сотворил?! А кто сотворил того, кто этого сотворил?! И так далее и тому подобное! Эти мысли сомнения неотступно вошли в меня естественным путем размышлений.

Помню, отец во дворе под навесом пробивал косу. Я сел около него и стал расспрашивать, как он служил на военном корабле, и о самом корабле, и среди всяких рассказов отец передал от когото услышанное там на службе. Так он сказал: «Если Бог творил мир семь дней, то кто же светил в первые дни творения до сотворения небесных светил – солнца, луны и звезд – так как небесные светила были сотворены на четвертый день?!».

Почему Бог не может уничтожить зло на Земле, если он всемогущий и всеведущий и прочее и тому подобное, почему одни люди живут бедно, а другие богато?! Такие разговоры с отцом еще более укрепляли мои сомнения в творении мира Богом. Меня начала преследовать неотступная и навязчивая мысль: — кто же Бога сотворил, откуда он взялся?! Так я оказался «Фомой».

Эта мысль — «начала начал» стояла, да и теперь стоит передо мною на склоне лет неразрешенной.

Мне ясно, что наука доказала, что никакой бог мира не творил, и что мир существует извечно, но и в это тоже надо верить, это та же самая вера, как и вера в Бога! А я знать хочу! Ведь только Фомы неверующие гордо несут знамя знания, свободы и творчества. И перед этой тайной начал я снова стою во мраке, как и в далекие детские годы: ибо не верить, а знать я хочу!

Имея в те школьные годы сомнения – я решился спросить в школе законоучителя священника Соколова. Начался урок Закона божия. Я набрался храбрости, поднял руку и негромко сказал, вставая: «Можно вас спросить – кто светил в первые дни творения, когда небесные светила были сотворены на четвертый день? Почему Бог допустил существование зла – дьявола, если Бог всемогущ и всеведущ?». И что-то еще спросил.

В классе наступила звенящая тишина, все ученики замерли, затаив дыхание. Даже учащиеся сочли кощунством мои детские вопросы, а я этими вопросами искренне мучился. Законоучитель, услышав мои слова, как-то сразу остолбенел, застыл в неподвижности с мертвенной бледностью в лице.

Так продолжалось несколько секунд, и вдруг как гром раздался его басистый глас: «Вон из класса! Это ты у Захара Леднева научился!». При гробовом молчании класса я вышел в коридор и просидел весь урок в школьной раздевальне. Так законоучитель сделал мне «разъяснения» о творении мира и запретил посещать уроки Закона божия. А надо сказать, по Закону божию, Ветхому и Новому завету я был у него отличным учеником.

Почему он сослался на Захара Леднева, нашего соседа, закоренелого старовера-кержака — полагаю теперь потому, что оба они, и сам законоучитель, и Захар Леднев были религиозные фанатики. Захару я как-то сказал по-соседски, что Земля вертится вокруг Солнца — на что он ответил: если б Земля вертелась, то мой дом повернулся бы окошками к реке Кондурче. И мне удивительно и непонятно было, как это пятидесятилетний не может понять то, что понимает двенадцатилетний.

Я часто ходил к ним в дом, к их сыну, по нашей с ним дружбе. Илюша был моим сверстником и товарищем по играм. Несмотря на разность веры, его родители приветливо встречали и угощали, но только из другой посуды «мирской», а из своей посуды ели только сами и их единоверцы. Это, однако, не мешало им жить в дружбе со всеми соседями. Так, часто одалживали печеный хлеб и в этом не видели никакого греха. Если Захар Максимович приходил на свадьбу к нам и другим жителям села, то в кармане приносил свою рюмку, в которую наливали ему вино, а под конец, опьянев — пил вино из «мирской» рюмки. Дети его Гриша и Фрося, повзрослев, за общение «с мирскими» были отлучены родителями из своей среды «в мирские».

Поскольку родители Илюши считали прививку оспы «чертовой печатью», ему не была сделана прививка, и когда в нашем селе началось заболевание детей оспой — заболел и Илюша. Во время его болезни я часто приходил навещать и подолгу стоял у его кроватки, смотрел в его изуродованное лицо багрово-синего цвета, покрытое гнойными корками, отекшие веки закрывали глаза.

Молчаливо и жалостно смотрел я на друга и товарища, но помочь ничем не мог. Через семь дней Илюша умер. Проводил его на кладбище, положил на гроб ему зеленой травки. Взрослые спустили в могилу и засыпали моего товарища Илюшу, а над могилой его поставили восьмиконечный черный крест. Так погиб Илюша по темноте своих родителей, добрых и любящих его. Так я лишился первого товарища детских лет.

Мои же родители по сравнению с Илюшиными являлись посвоему «просвещенными». Отец в противоположность матери никогда не заставлял нас молиться и соблюдал только обрядность веры без пристрастия к ней.

Хочу сказать об одном случае — эпизоде, запомнившемся мне на всю жизнь. Каждый год по окончании масленицы, в Прощеный день перед началом великого поста в марте, существовал прекрасный обычай: приходить к соседям и взаимно земно кланяться друг другу и просить прощения. В такой день я и отец сидели дома, что-то делали. Пришла Илюшина мать и бух земным поклоном отцу в ноги: — Простите, Николай Павлович, и, как только она встала — отец бух ей земным поклоном в ноги: — Простите, Устинья Ефимовна.

Отец имел замкнутый характер, сдержанный в отношениях с окружающими, скрытно переживал в самом себе горе и радости в семье и быту. В жизни его много было горя и мало радости, как и во всех семьях трудового народа под [ярмом] той или другой власти, ничего не производящей, а только потребляющей и мешающей жизни всех во все времена, годы и дни.

Как я уже упоминал, братьям отца Виктору и Алексею пришлось переселиться по малоземелью в Кривое Озеро. Их помню по редким приездам в дом отца.

Дядя Алексей черноволосый, с бородой и усами, среднего роста, кряжистый, в разговоре сдержанный, чем походил на моего отца. Помню один приезд его к нам зимой. Я и два мои брата с полатей смотрели на приезжего дядю. Отец и мать угощали дядю чаем и водкой. Смотрел и дядя на нас. Потом встал, подошел к нам и каждому дал по медной монете к нашему большому удовольствию.

Дядя Виктор являлся резкой противоположностью дяди Алексея: роста высокого, жилистый, рыжеволосый, нрава веселого, многоречивого, и дарил ли он что-нибудь нам, не помню, да пожалуй, что ничего — из разговоров матери и отца мы знали, что был он беден. У обоих дядей имелись дети, но мы их никогда не видели: к нам они не приезжали, да и мы не ездили к ним. Ездил ли отец к братьям в Кривое Озеро в свои молодые годы — не знаю, а спросить сейчас, когда пишу эти строки, не у кого — отца, матери, старшего брата и других близких старших родственников давно уже нет в живых.

Долгое время общей семьей жил с нами брат Павел и жена его Акулина Кирилловна Князева. Когда у них была свадьба, я не помню, но хорошо помню его детей в двух-трехлетнем возрасте, потом умерших от каких-то детских болезней. Почему-то его жену все мои братья называли невесткой. По воскресеньям давала нам сладких пирогов, [которые в другое время] мы так редко имели.

[...]

{Дом пятистенный, крытый соломой, как и все почти крестьянские дома, плетневый двор, две-три лошади, две-три коровы и десятка два овец, одна-две свиньи и два десятка кур. Обедали, ужинали и завтракали всей семьей из одной большой деревянной или глиняной чашки деревянными ложками. Два деревянных стола и деревянные скамейки и табуретки}.

Дом наш для семьи в одиннадцать человек был очень мал, и отец сделал нам двойные полати в задней и передней половине дома {на расстоянии полметра от потолка}, и мы до четырнадцати лет по зимам спали на полатях по причине тесноты и лучшего тепла у потолка дома. Летом же мать часто стелила нам на полу большой войлок, и мы трое последних братьев ложились в один ряд и засыпали сном праведников под охраной материнской неистощимой любви.

Когда мне было лет шесть-семь, я хорошо запомнил, как умирал наш последний брат Георгий семи или восьми месяцев. Был ясный, сухой августовский день, а заходящее солнце освещало через окно зыбку-качку и страдальческое лицо брата. Я стоял вблизи и смотрел в его чистое лицо, ясные глаза, и не думал, что

он может умереть. Мать что-то делала и беспокойно и часто подходила к его зыбке, видимо понимала, что недолго осталось брату жить. Отец работал на дворе. Мать позвала его и сказала, что Георгий умирает. Отец подошел, встал перед ним и молча и грустно смотрел в лицо его, а мать скорбь свою изливала слезами и причитаниями.

Я также молчал и по-своему, по-детски переживал умирание брата. Видел, как закрылись его глаза, и стало неподвижно его лицо. Мне непонятно было значение жизни и смерти, я не понимал, зачем он умирает, такой маленький и, если есть Бог, то зачем допускает он умирать маленького, а не большого. Вскоре я ушел на улицу играть с соседними детьми.

На другой день похоронили братика на местном кладбище — месте вечного успокоения добрых и злых, богатых и бедных, господ и рабов, где воистину все равны не на словах, а на деле.

Старший брат Павел учился в сельской школе один год и был оставлен отцом при себе, в хозяйстве, но зато всем другим братьям отец и мать внушали необходимость учиться, чтоб «выйти в люди», и мы не раз слышали, как упрекали отца на сходках за малоземелье, а потому и за лишнюю голову скотины в табуне. Но с выделением из семьи брата Павла – помощником отец определил четвертого брата Дмитрия. А потому он по окончании четвертого класса остался с отцом в хозяйстве. Впоследствии он женился на Козловой Наталии Петровне, девушке хорошей души. В конечном итоге в доме осталась крестьянствовать одна его семья. Старший их сын Александр окончил геологический техникум и погиб на фронте второй мировой войны. Сергей работает физруком в сельской школе, его жена Броня – агрономом-инструктором плодового питомника, у них трое детей, школьницы Галя, Света и дошкольник Шура. Живут в том же доме, где жили в детстве все братья мои, отец и мать. Третий сын Виктор – электросварщик, работает в Новом Буяне, а его жена техникоминструктором на спиртоводочном заводе, двое сыновей – Саша и Сережа школьного и дошкольного возраста. Дочь брата Дмитрия Лида вышла замуж за Дворянинова Женю, летчика.

Трагично окончилась жизнь брата Дмитрия и его жены Наташи. Участник двух войн – Первой мировой и гражданской, служивший в 43-й [?] Чапаевской дивизии, Дмитрий имел пулевое ранение легких. Во время коллективизации едва не попал в ссылку, как зажиточный об одной лошади, а вернее за то, что долго не вступал в колхоз. И все же несколько месяцев держали его в тюрьме. А потом за три пуда невеяного зерна, взятого на еду с общего колхозного тока — на десять лет отправили в концлагерь строить канал Волга-Москва, где он и погиб от дизентерии в 1934 году⁵. Его жена, вырастив всех детей, потом жила в доме одна, и совершенно неожиданно обнаружилось у нее заболевание раком, настолько серьезное, что никто уже не мог ей помочь, и в декабре 1960 г. похоронили ее на кладбище, где поставлен ей железный памятник ее сыновьями Виктором и Сергеем. Брат Дмитрий и его жена нрава были тихого, доброжелательного, домовито-хозяйственного — примерные труженики.

Шестой брат Петр ушел добровольцем в полевой трибунал Инзенской дивизии. Там пробыл около двух лет, участвовал в Пе[ре]копских боях, в годы продразверстки – грабежа трудового крестьянства ушел из партии и занялся сельским хозяйством, но «за измену» партии и оппозицию власть имущие начали притеснять его, и он вынужден был бежать в Среднюю Азию и где-то там закончил свое существование. После него осталась дочь Женя, окончившая Ленинградский ветинститут, сыновья Юрий, Павел и Михаил. Кажется, живут они где-то в Киргизии. Женя и Юрий семейные, имеют детей.

Второй после Павла брат Александр учился в сельской школе, затем окончил ремесленное училище токарем по металлу. Вначале работал токарем в Самаре на каком-то частном заводе, после переехал на работу в Баку. Когда началась Первая мировая война, то он добровольцем поступил в школу прапорщиков⁶, по окончании которой до семнадцатого года беспрерывно находился на фронте, вначале на Кавказском⁷, а потом на Юго-Западном, где

 $^{^5}$ ИИ: «Хлеба для семьи не хватало, вместе с другими четырьмя колхозниками увезли с колхозного тока по три пуда невеяной ржи. Их осудили по указу от седьмого августа тридцать второго года на 10 лет каждого».

⁶ Вариант: «военное училище».

⁷ Вариант: «Турецком».

и попал в плен. За время войны получил чин подполковника и несколько орденов 8 .

В плен он попал холостым. В Париже окончил заочные технические курсы и уехал работать на военный завод техником в Загреб. Пригодилась старая невоенная его специальность. Несколько лет работал в Загребе, затем переехал на жительство и работу в Крагуевац. Там женился и жил с семьей многие годы в своем доме. Радмила Петровна, его жена родила ему два сына Николая и Георгия и дочь Милену, а теперь уже и Милена родила дочь Даниелу.

Два сына его Николай и Георгий окончили в Италии Институт иностранных языков и уехали работать в Нью-Йорк, а дочь Милена с мужем Драганом Антониевичем обосновались в Белграде, что в ста двадцати километрах от Крагуеваца, где живет брат Александр. Милена работает в Белграде в республиканской больнице, а Драган – преподаватель физкультуры и спорта.

Первое письмо брат прислал в Старый Буян, когда еще живы были наши родители, а они мне уже сообщили его адрес. И с тех пор моя письменная связь с ним не прекращается до настоящего дня. О своем нахождении в Сталинских концлагерях я ухитрился после окончания войны сообщить письмом, что нахожусь не по своей воле в далеком и диком Заполярье, а позже, по возвращении оттуда прямо написал, что находился девять лет в Сталинских концлагерях, почему мне и отказали в шестьдесят первом и втором годах в выдаче пропуска на поездку-свидание к нему в Югославию. [...]

Более сорока лет прошло с тех пор, как Александр волею судьбы очутился за границей. Там он обосновался и создал семью и там найдет вечное успокоение, не навидавшись со своими родными и родиной. Полтора года моих хлопот повидаться с ним оказались тщетными. Единственным утешением, его гордостью являются сыновья и дочь — прекрасная смена — «и у гробового входа младая будет жизнь играть»!

⁸ Из письма А.Н. Чекина братьям Василию и Сергею и сестре Марии от 20 июня 1955 г.: «За три года войны был четыре раза ранен... В то время я не боялся опасностей и за хорошее всегда платил хорошим. То было для меня моральное удовольствие, служить Родине не за страх, а за совесть, а теперь видим, что то совершенство бесконечно далеко».

В свое время Александр хорошо помогал мне и брату Василию, когда мы учились в Самарской фельдшерской школе, а он работал токарем, а потом служил офицером. Он существенно помог отцу купить другой дом побольше, в котором сейчас живет сын Дмитрия — племяш Сергей, а тот прежний, в котором мы родились и долгое время жили, продан Князеву Павлу Федоровичу. Когда Александр еще учился в ремесленном училище, то часто брал меня с собою и другими товарищами на рыбалку. Он на десять лет старше меня, а потому ко мне относился покровительственно, как старший к младшему. А что может быть интереснее в десять-двенадцать лет, как идти вдаль от дома и получать новые, неизведанные впечатления?!

Еще дома, с момента вечерних сборов начинаешь чувствовать радостное возбуждение, по дороге лесом и берегом реки, и на самой рыбалке, когда не знаешь, какая там под водой попалась рыба, когда горит ночной костер, а кругом такая непроглядная тишина и тьма. Хорошо и как-то жутковато.

Мне обычно отводилось подсобное, не рыбное дело: сбор сухих сучьев, хвороста заранее, еще до захода солнца. Место стана для ночевки выбиралось близ берега реки, под деревом у Калашниковой, Татарской или Смолевой Ямы, где всегда много водилось рыбы, и каждый год из Кобельмы приезжал с неводом рыбак Красильников, тянул неводом эти ямы — плесы и [оказывался] с большим уловом лещей, судаков и другой речной рыбы. Все любители рыбаки каждый раз имели хорошие уловы. Наша рыбалка всегда рассчитывалась на сомов. Однажды летом брат изловил сома на полтора пуда.

Меня с малых лет волновали ночное безмолвие, темноголубое и бездонное небо с бесчисленными звездами, ветры и дожди. Серебристый блеск вод Кондурчи, утренние и вечерние зори, восход и заход солнца, пробуждение и пение птиц.

Да, хорошее, незабываемое время детства, как ты прекрасно!

Сестру Марию, единственную дочь, мать оставила при себе, на бесчисленной и бесконечной работе в большой крестьянской семье. Шестнадцати лет вышла замуж за бравого парня Иванова-Хренова Володю, товарища брата Александра. Но коротка была их семейная жизнь. Во время Первой мировой войны он погиб на фронте, оставив жену с дочерью Паной. Некоторое время жили в доме отца, а затем по соседству поставили небольшой домик. Через несколько лет сестра вышла замуж в Заглядовку за вдовца Фролова Ивана Матвеевича и троих детей. Во время коллективизации они уехали жить и работать в наш областной город, где через несколько лет приобрели трестовскую дачу. Построили там зимний дом и много лет хорошо жили и здравствовали. О сестре и ее муже Иване Матвеевиче я еще много буду говорить в дальнейшем, ибо моя жизнь неразрывно проходила с их жизнью многие годы, они были утешителями моей скорби и печали в стране полунощной.

Дочь сестры Пана по окончании медицинского института, через пять лет, заразившись туберкулезом, умерла на Дальнем Востоке, куда была направлена на работу по разверстке. Ее детство прошло в доме моего отца и матери, как «сиротки». Сестра многие годы тяжело переживала потерю своей единственной дочери. Через много лет, в конце пятьдесят шестого года, будучи на курсах усовершенствования в клинике, помог выхлопотать пенсию за погибшую дочь.

Брат Василий по окончании местной школы начал учиться в четырехгодичном ремесленном училище, но через два года подготовился и сдал вступительный экзамен в четырехлетнюю Самарскую фельдшерскую школу, которую и окончил в пятнадцатом году, был призван в армию на службу в сорок девятый военный госпиталь в Кинеле. Там произошел у него серьезный конфликт, и мне пришлось выручать его из беды, о чем будет сказано в дальнейшем. После революции он работал фельдшером в Тиинской больнице близ Мелекесса, а года через два брата перевели на работу в Ставропольскую больницу, где закончил свой сорокалетний стаж работы и ныне живет в своем доме пенсионером.

Женился на акушерке-фельдшерице Анне Аркадьевне. Лет через пять, двадцати восьми лет, она умерла после операции рака языка. От этого брака остался сын Евгений, лишившийся одной ноги на фронте Второй мировой войны и ныне здравствующий на советской работе.

Через три года после смерти Анны Аркадьевны брат женился на Евдокии Ивановне, человеке большого сердца и прекрасной души. Дочь Рита от второго брака окончила Институт иностранных языков, счастливо много лет жила в замужестве с Василием Кузмичем Барановым, военнослужащим, недавно погибшим в чине полковника в автомобильной катастрофе. Там же лишился одного глаза сын Евгений, а Рита и дочь Оля не пострадали физически, но вся счастливо налаженная их жизнь разрушилась.

Три года брат учился заочно в мединституте, а когда всех студентов-заочников перевели на дневные занятия — брат не захотел поехать в Самару и остался зауряд-врачем в Ставрополе. Заведовал малярийной станцией. Дважды заведовал райздравом; во время первого заведования, в сталинском потоке в тридцать седьмом году был снят с работы как «враг народа». Так в то время именовались все, кто честно жил и трудился. Во второй раз, во вторую мировую войну, заведовал до конца ее и снова, по его желанию, был переведен на малярийную станцию и по ликвидации ее за ненадобностью, до ухода на пенсию работал в должности школьного врача. Теперь он на пенсии. Работает у себя в садуогороде, ходит рыболовить на Волге, в лес за грибами, слушает радиопередачи, читает книги и газеты.

Брат и его жена в продолжение многих лет оказывали мне и моему сыну неоценимое внимание. Я ежегодно приезжал к ним на отдых во время отпусков. Особенно незабываемое отношение проявили брат и его жена во время моего десятилетнего нахождения в стране полунощной. Летом на каникулах родственно гостил у них мой сын, набирая силы и здоровье в его семье.

Жена моя Петриченко порвала все связи со мною, отреклась от меня и нашла себе утешение во втором замужестве. Семья разрушилась, лошадиный десятилетний срок и роковая неизвестность в будущем, горе личное и родственников; настоящее мрачно, а будущее еще мрачнее. Я уже не принадлежу себе, у меня нет воли, свободы, нет жизни, я просто концлагерный номер без имени. В таком мрачном состоянии десять лет брат, его жена, да сестра с мужем Иваном Матвеевичем были моими единственными утешителями. От них шли частые письма, и они являлись нитями прежней жизни моей.

У всех шести братьев жизнь сложилась по-разному, но в ранние детские годы у всех жизнь была одинаковая. Каждый из нас имел товарищей-сверстников на улице и по школе, одни и те же игры-развлечения. Весной и летом игра в клёк, городки, лапту, козны; купанье в реке Кондурче, рыбалка; поездки на лошадях верхом в ночное, а там, во тьме ночной у костра игра в жгут — сказки, рассказы о небывалых и бывалых приключениях, слышанных от дедов, бабушек и отцов, с добавлением своей детской фантазии. Хождения в бор и дубраву за ягодами, грибами, на бахчи за арбузами, поездки на сенокос и многие другие развлечения. Все это радостно нас всех волновало.

А с наступлением зимы — новые развлечения: катанье с горы на салазках, ледянках, а то и дровнях, а часто на коньках по Кондурче или мельничному пруду. Мерзли пальцы рук, ног, носы и уши, но в играх так увлекались, что придя домой, подолгу отогревались, забравшись на печь или полати.

В возрасте восьмого года я начал учиться в шестиклассной школе, единственной во всей нашей волости, в других же селах имелись только четырехклассные школы. И как-то так повелось в нашем селе, что вся молодежь с детства стремилась учиться в этой общей школе, а потом или в ремесленном училище, или учительской семинарии, фельдшерской школе, железнодорожном училище, а двое-трое побогаче учились в гимназии и реальном училище в Самаре.

Вся эта учащаяся молодежь съезжалась на летние каникулы в дома отцов, помогала им в полевых и домашних работах, а по вечерам и воскресеньям собирались все вместе, устраивали самодеятельные спектакли, играли, веселились, и каждый мечтал о житейских подвигах, о светлой жизни будущего.

Хотя в нашем селе жили беднее, чем в соседних селах, но наше село являлось более прогрессивным, передовым.

В первый класс записал меня отец. Был солнечный, тихий и теплый августовский день. В школу я пошел охотно, нам заранее внушали необходимость учиться, и что при хозяйстве делать нам нечего. И мы так и считали, что наше дело, наша детская и юношеская жизнь — в ученье, а какой в дальнейшем, после окончания школы, будет путь — ни родители, ни я не знали, а знали только одно: надо учиться.

Так с ранних лет осталось влечение от села к городу, подальше от грязного и неблагодарного труда, от жизни земледельцакрестьянина, и сегодня занимающего низшую ступень в обществе, ставшего нарицательным именем «эх ты, колхозник!». Но любовь моя к природе сохранилась неизменно. Люблю простор полей, лугов, таинственную тишину или шелест леса, а более всего чудесную Кондурчу, ее лесистые берега, где многие годы собирал самородину, ежевику, черемуху, боярки, клубнику, калину и многое другое.

А сколько дней и ночей проведено на берегу благодатной Кондурчи! Хорошо в летнюю ночь до восхода солнца оставаться на берегу Кондурчи. Торжество ночной, звенящей тишины нарушается только всплесками рыб, да изредка звуками ночных птиц, и снова всеобщая тишина и безмолвие вокруг, и эта тишина становится чарующей, и как-то особенно торжественно и грустно становится на душе перед величием природы, безмолвного мироздания, постигаемого, но никогда не постижимого во всей полноте и бесконечности. И в это время рождается сознание великого в малом и малого в великом.

Итак, с первого сентября девятьсот четвертого года я начал «грызть гранит науки», с перерывами до двадцать третьего года. Школа находилась в ста шагах от нашего дома на площади близ церкви и казалась мне по моему детскому представлению громадного размера. Много классов, два из них имели раздвижную стену, и оба класса могли превратиться в один, что делалось на новогодние елки и на утренние молитвы. Во времена существования нашей Старобуянской республики в девятьсот пятом году в этих двух классах проводились общие собрания граждан села для решения всех дел республики. Занимался я охотно, любимые мои предметы — русскую историю, изложения, сочинения и Ветхий и Новый завет знал на отлично, а в географию и историю просто был влюблен.

Первыми моими учителями были незамужние сестры Рахманины Алимпиада и Екатерина Ивановна, которых мы все любили. Они организовывали нас в кружки самодеятельности, никогда никого не наказывали.

Заведывающий школой учитель Писчиков П.К. тоже хорошо относился к учащимся, принимал активное участие в руководстве

нашей республики, а после разгрома ее властью царя его пожизненно сослали в Сибирь.

На его место приехал учитель Шимаев, занимавшийся рукоприкладством перстами и линейкой за школьные проделки и недисциплинированное поведение в классе. Года через три он перевелся в Мелекесс, и к нам приехал молодой заведывающий школой Зотов Дмитрий Иванович, из народников. Он был всеми любим, но как неблагонадежного через год его уволили и куда-то направили на работу в глухомань, и к нам приехал заведывать школой учитель Смыслов Иван Алексеевич. Все заведывающие учителя мужчины вели занятия по основным предметам со старшими классами, а учительницы вели второстепенные предметы. Смыслов был душой всех старшеклассников, при нем я окончил школу и уехал учиться в Самару.

В школе учились почти все дети нашего села, учились из других сел, но с четвертого класса многие бросали учиться в школе по собственному желанию и оставались работать в сельском хозяйстве, другие поступали в ремесленное училище.

Обучение шло совместно с девочками в одну смену с девяти до трех часов дня.

За проказы и всякое общественное нарушение норм быта и дисциплины в школе применялись наказания: ставили в угол, иногда на колени, оставляли без обеда на час за невыученный урок — то есть после занятий оставаться учить уроки; но иногда никакого наказания не делали. Когда я учился в четвертом классе, учился и некто Карпачев Гриша, прозванный в классе «лисой» за любовь поспать и подремать за партой во время урока, особенно в весеннее время, когда так тепло прогревает весеннее солнце сквозь большие окна класса.

Высокий, худощавый, с белобрысыми волосами, веснушчатым лицом, острым кривым носом и гнусавым голосом. Сидел он всегда на задней парте. Шел апрель месяц. Солнце ярко, тепло и ласково пригревало наши ученические головы. Учитель Шимаев вел урок геометрии, объясняя нам, что такое дуга, круг, хорда и тому подобное.

«Лиса» начал дремать, а потом заснул под объяснение «дуги» и так крепко, что захрапел с носовым свистом, сначала тихо, а

потом на весь класс. Шимаев все еще продолжал на классной доске делать объяснения, но вот и до него донесся храп с носовым присвистом; он увидел Карпачева мирно спящим на парте, положившим под голову руки, и возмущенным голосом громко позвал: — Карпачев! «Лиса» быстро поднялся за партой и помня, что засыпал он на «дуге», громко, на распев взвыл: — Дугою! Как говорится, ни к селу, ни к городу. В классе поднялся гомерический смех. Смеялись все ученики и учитель, поджав живот. Из-за тупости «Лиса» не окончил и четвертого класса, оставил школу и занялся вместе с отцом крестьянством.

Впоследствии через много лет я достоверно слышал, что он весьма преуспевал на поприще негласного агента и провокатора в период царствования Иосифа Кровавого, и немало пострадало невинных граждан от его черной работы в нашем селе.

СТАРОБУЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

По необъятным просторам России шел девятьсот пятый год. Начался этот год в Питере, Москве, Иваново-Вознесенске и во многих других городах и селах и дошел до нашего села в морозные зимние дни. Этот год шел с надеждой и верой в победу новой жизни без царя, помещиков и всех извечных угнетателей трудового народа. Во многих городах и селах восстали рабочие и крестьяне - восстали, подняли бунт и в нашем селе две тысячи жителей, обездоленных землей и порабощенных властью эксплуататоров, восстали за землю и волю – за равную землю и равные хлебы для каждого труженика.

Мне шел девятый го $\frac{1}{2}$, и я хорошо понимал призывный звон церковного колокола на общее собрание граждан села в нашей школе по окончании в ней занятий и видел радостно-тревожные лица проходящих граждан. Я видел и понимал, что крестьяне нашего села, мой отец и мать часто говорили о своем и других малоземелье, что земли у крестьян мало. Ею владеют помещики Коробов, Маслеников¹⁰, Ушаков¹¹ и дворяне, сдающие земли в аренду, а в нашем селе, как и во всех других селах и деревнях, крестьянские хозяйства состояли из бедняков и середняков, с малой прослойкой кулаков.

И вдруг набатный звон возвестил о свободе земли, свободе слова, печати, собраний, о вековечной мечтанной вольной во-

⁹ При описании событий 1905 года автор, вероятно, полагался не только на свою детскую память, но и на более поздние разговоры с участниками этих событий. Старобуянская республика историкам известна, но материалов о ней сохранилось немного, поэтому при публикации сохранены все существенные детали и имена, пусть не всегда согласующиеся с имеющимися источниками.

¹⁰ В оригинале «Маселеников», исправлено по ТР. ¹¹ В оригинале «Ушков», исправлено по ТР.

люшке. Все взрослое население пошло на народное вече устанавливать новую жизнь без эксплуатации человека человеком. Не только труженики полей восстали, но вместе с ними плечо в плечо пошла и вся местная интеллигенция: учитель Писчиков, фельдшер Мошков¹², передовые крестьяне села Царевщины Солдатов¹³, Князев¹⁴ и другие — главные составители Хартии Старобуянской Самоуправляющейся Республики. Активными ораторами, вождями старобуянцев были Андреев, Ельцов¹⁵, Казанский 16, Дворников, Большаков и многие другие крестьяне.

{Когда началось восстание 17, мы катались на салазках с горы за селом и, услышав набатный звон, побежали в село. Со всех концов села народ шел к нашей школе группами и в одиночку. Вошли в школу, которая с каждой минутой все больше и больше заполнялась народом. За столом посредине школы сидели наш учитель Писчиков, фельдшер Мошков, Антипов Сергей, Солдатов и Щербаев 18 из Царевщины, Андреев Леонтий, братья Салеевы и другие...

Много лет прошло с тех пор, когда я и мои школьные товарищи видели восстание и слышали речи и слова восставших старо-

 $^{^{12}}$ Мошков Владимир (Сперанский 1925. С. 446; Сперанский 1935. С. 123).

¹³ Порфирий Михайлович (Солдатов 1935. С. 132).

¹⁴ Известны Степан Кириллович Князев (Солдатов 1925. С. 621; 1935. С. 132) — один из участников первого революционного кружка в с. Царевщина (примерно с 1880 г.) и Антип Т. Князев, участник революционного кружка Петровых с 1902 г. (Солдатов 1925. С. 625).

¹⁵ В оригинале Елцов (ниже по тексту ПТ – Ельцов).

¹⁶ Согласно Сперанскому, Федор Казанский упоминается в обвинительном акте как сельский староста и активный республиканец (Сперанский 1925. С. 447, 448; Сперанский 1935. С. 124, 125). В донесении начальника Самарского губернского жандармского управления Добрянского от 24 ноября 1905 г. старосту зовут Федор Казанцев (См.: Революция 1955. С. 224, № 112). В ПТ приводятся оба варианта фамилии.

 $^{^{17}}$ По-видимому, описываются события 25 (12) ноября (Сперанский 1935. С. 122, Солдатов 1935. С. 146).

¹⁸ Щибраев Лаврентий Н. (Сперанский 1935. С. 120, Солдатов 1935. С. 136).

буянцев¹⁹. ... Они говорили: «Граждане! Восстание против царя и помещиков идет по всей стране. В Москве, Петербурге, Самаре и во многих других городах и уездах рабочие и крестьяне свергают всем ненавистное царско-помещичье господство, началась революционная всенародная борьба за землю, хлеб и волю крестьян и за фабрики и заводы для рабочих, их освобождение от капиталистов и буржуазии.

Наша задача в том, чтоб всем крестьянам и всему трудовому народу подняться на борьбу с угнетателями и поработителями. Отобрать землю и разгромить все имущество помещиков и царских опричников. А поскольку царская власть для нас не существует, то впредь до избрания всенародного учредительного собрания и установления республики нам необходимо создать свою народную самоуправляющуюся республику»}.

Была разработана и принята на общем собрании временная декларация, в частности, в ней говорилось 20 :

{Немедленно приступить к изъятию, учету и распределению всех помещичье-удельных и монастырских земель.

Землей владеть могут только те, кто будет сам ее обрабатывать.

Продажа и купля земли отменяется}: все земли, леса, луга, реки и недра земли переходят безвозмездно во всенародное пользование и распределяются по числу членов семьи.

{Плата за церковные обряды добровольная.

Все граждане имеют полную и равную свободу слова, печати и собраний.

Все спорные дела решаются общим собранием граждан республики.

Средства на образование, медицинскую помощь и другие общественные нужды собираются за счет самообложения граждан.

 $^{^{19}}$ Среди выступавших в TP упоминаются фельдшер Мошков, учитель Писчиков, Щербаев, Солдатов, Антипов, Андреев, Ахматов, братья Жидяевы «и многие другие».

²⁰ Текст Временного закона по Старо-Буянскому народному самоуправлению от 13 ноября 1905 г. см. в кн.: Революция 1955. С. 217–222 (№ 110).

Закрыть навечно кабак, как зеленого змия, отравляющего разум человеческий .

Народ стал хозяином земли и своей судьбы — свободы. Вся местная царская власть была объявлена низложенной и изгнанной из пределов волости — вместо нее постановлением общества объявлена Старобуянская Самоуправляющаяся Республика, впредь до создания всеобщей Российской республики.

В восстании принял участие местный старичок священник Трехсвятский и его сын-студент, приехавший перед восстанием из Питера. Они оба, отец и сын, активно призывали население к экспроприации эксплуататоров, помещиков, говоря: «{Никакого греха нет в том, что вы возьмете землю и хлеб у помещиков, потому что земля и хлеб божье творение}. Все плоды земли и хлеб помещиков — являются достоянием труда вашего и только тот должен владеть всем, кто трудится. {По божьему и по человечески имеете права на всю землю и весь хлеб}».

Это участие в бунте народном священника и его сына имело большое влияние на верующих.

После собрания началась торжественная демонстрация по улицам села с пением революционных песен: {«Вставай, подымайся рабочий народ...», «Отречемся от старого мира...», «Вихри враждебные веют над нами...»}, с красными знаменами с надписью: «Долой царя», «Хлеб и воля», «За землю, хлеб и волю»²¹. {Многие пожилые и старые при встрече с демонстрантами снимали шапки, крестились — такова была радость свободы народной}.

Я, как и другие малыши и подростки, шли тоже с демонстрантами, то впереди флагов, то сбоку их. Нас малышей демонстрация радовала, и мы восторженно шагали в ряд с взрослыми, со своими отцами, братьями и родными. Мы понимали, что все это делается для лучшей жизни нашего народа, будет больше земли, а, следовательно, хлеба, одежды, домов.

²¹ ТР: На одном флаге-плакате, на высоком шесте развевались слова: «Долой царя!», на другом: «Земля и воля!», а на третьем: «Да здравствует Самоуправляющаяся Старобуянская Республика!».

Демонстранты подошли и остановились у царева кабака. Начался митинг. Один за другим, с короткими, но ясными речами высказалось несколько человек, с осуждением и порицанием царя и всех его соратников, спаивающих народ. И что характерно: особенно осуждающе выступали и большие любители зеленого змия – народ поднялся морально. И тут же двое из демонстрантов прибили к дверям кабака плакат: на бочке с вином верхом сидит царь, с четвертью водки в руках, в объятиях зеленого змия. Появились доски, гвозди, молоток, демонстранты досками забили дверь в кабак, {написав на досках: «Смотри и кайся!»}, а целовальнику заявили: «Если будешь торговать, то предстанешь перед судом народа!»²².

Затем демонстранты подошли к дому урядника; снова короткий митинг и надпись на воротах и [......]²³ дома: «убраться из пределов волости в двадцать четыре часа»²⁴. В это время его жена почему-то в окнах дома металась от одного окна к другому с иконой в руках, видимо от испуга. Но никто не хотел кровавой расправы над «шелухой» царского режима, ибо восставший на-

²² О трезвенническом настрое республиканцев, который поначалу вызывал попреки и насмешки других крестьян, см. воспоминания Г.П. Солдатова (1925. С. 627, 628, 632). В прощальном письме Щибраева от 26 февраля 1906 г., распечатанном в марте в виде прокламации Самарским комитетом РСДРП(б) и опубликованном в виде приложения к воспоминаниям Солдатова, говорится: «Кабак, этот гнилой родник, нам стал врагом, и мы забили двери царева кабака» (Солдатов 1925. С. 647).

²³ ПТ: «закр...»; ТР: «закр... окон».

²⁴ Согласно донесению начальника Самарского губернского жандармского управления Добрянского от 24 ноября 1905 г., «было постановлено на оконной ставне квартиры урядника написать синим карандашом: «Урядник, удаляйся немедленно». См.: Революция 1955. С. 224 (№ 112). «От здания волостного правления толпа отправилась к квартире полицейского урядника Бекаревича, который при приближении толпы заперся; тогда Мошков и Федор Павлов начали кричать, чтобы он выходил, а Мошков стал ломиться в дверь. Бекаревич предупредил Мошкова, что будет вынужден прибегнуть к оружию. В ответ на это из толпы послышались угрозы дать залп по квартире Бекаревича; затем Мошков на ставне квартиры написал: «Урядник, удаляйся немедленно», после чего толпа отошла и, пройдя еще раз вдоль села, рассеялась» (Сперанский 1925. С. 447).

род проявляет больше к человеку великодушия, чем все власти Земли.

Демонстранты подошли к волостному правлению. Отстранили от службы старшину, волостного писаря, отобрали печати. Избрали трех старост, по одному на каждое общество, и одного милиционера, хотя в этом чине надобности не имелось: за все время существования республики не было ни одного случая нарушения общественного или частного порядка, как будто народ переродился, стал чище, гуманнее, ибо исчезли причины, порождающие злобу и ненависть между людьми²⁵. В душе каждого республиканца расцвели гордость и великодушие, и уважение к свободной личности. Сбылась заветная мечта о хлебе и воле. Но многие города и села не восстали, оставались в нерешительном ожидании. В окрестные села и деревни были посланы старобуянские агитаторы, но решительного успеха не имели: вера в могущество царя и бога крепко еще держала порабощенные и забитые слои населения деревень и сел — «дрожжи еще не подошли»²⁶!

²⁵ ТР: Казанцева Федора поставили старостой, и писарем Милохова Ивана. Согласно Солдатову (1935. С. 147) на собрании утром 26 (13) ноября председателем Старобуянского волостного самоуправления был выбран А.Т. Князев из Царевщины, секретарем Милохов, а пом. председателя Пеннер. Сперанский (1925. С. 446–447; 1935. С. 123–124), пересказывая официальный обвинительный акт, описывает прибытие в этот день толпы под руководством Мошкова к волостному правлению, отстранение от должности старшины Дворянинова и собрание в училище с выборами председателем Антипа Князева и помощником Евгения Пеннера; волостной писарь Мочалов остался в своей должности, которая стала наименоваться делопроизводитель. Деньги и печати были отобраны у старшины на следующий день, после чего толпа отправилась к дому урядника Бекаревича.

²⁶ Менее прогрессивные настроения в более глубинных районах характеризовал сотрудник Самарской газеты А.И. Матов в ноябре 1905 г. В Черемуховой слободе (в смежном с Самарской районе Казанской губернии) был убит «студент», по-видимому, мелкий торговец, за чтение царского манифеста – который был признан слушателями фальшивым, так как в нем ничего не было о земле. «Диво дивенское. Били его рычагами человек восемь; ничего не берет; верещит, живучей, как кошка. Ну, дедушка Силантий говорит, что окромя как осью его ничем не пошабашить, и чтобы у оси было беспременно три дыры. Побежали искать. Как дали раз – так и мозг у него разлетелся. С одного разу дух вылетел.

В течение нескольких месяцев {в нашей школе после занятий учеников} почти ежедневно по колокольному звону собирался народ на свое народное вече решать существенные дела. {Каждый вечер далеко за полночь Мошков, Писчиков, Щербаев, Солдатов, Андреев и другие, составлявшие актив республиканского восстания, обсуждали политические и хозяйственные дела республики и выносили на утверждение общих собраний граждан. Я и мои товарищи по школе посещали почти все собрания, и никто на нас не обращал внимания, но глубоко в нашей детской душе сеялись семена свободолюбивой жизни [...]. Никакими тюрьмами и концлагерями будущие марксидские цари не смогли убить в нас свободу мысли}.

Много хороших и дельных речей произносилось о том, что по всей России идет революционная борьба с врагами народа, что началась новая жизнь во имя Земли и Воли — свободы, равенства и братства угнетенных. Постановили землю, хлеб, инвентарь и скот у помещиков отобрать и раздать малоимущим; организовать боевые дружины; приняли много других решений.

На очередном народном собрании-сходке обсуждался вопрос о захвате и разделе помещичьих земель, хлеба и имущества. После выступлений — речей Мошкова, Дворникова, Андреева, Кукая, братьев Салеевых, Солдатова, Князева и многих других — выступил и священник Трехсвятский... «Граждане! Все плоды земные от Бога! они являются делом рук человека, а, следовательно, самого народа. Никто не вправе владеть большим, чем сам сотвориша! А поэтому я присоединяю свою совесть к вашему решению. Затем скажу вам, что года мои преклонны, и я не могу принять участие в общем труде, а потому прошу выделить мне плату за службу верующим, по своему усмотрению, а от всех сборов и поборов прошу меня освободить». Его просьба была удовлетворена.

[–] Гляди-ко. Значит колдун.

⁻ Знамо, если от антихриста прислан.

[–] У нас тоже оси приготовили, продолжал рыженький, ходили к попу спрашивать. Трясется весь, молчит» (Сперанский 1925. С. 455–456).

Все чувствовали едино и едино веками мечтали о лучшей жизни. Только страх держал народ в рабстве перед власть имущими до поры до времени, а стремление к свободе, вольной волюшке, к праву на все материальные блага каждого вечно живет в душе общества и народа. Восставшие старобуянцы были людьми дела, а не слов, инстинктивно, «нутром» знали вечную истину, что дух революционного разрушения есть дух творческий. А поэтому на второй день пошли обозы к брошенным помещиками, убежавшими в Самару, усадьбам. Сбивались замки с амбаров, нагружались воза хлебом, и полуголодные становились сытыми. Правда восторжествовала.

Никто из старобуянцев не был «большим» или «малым» – все равны в земле, хлебах, и каждый был волен и свободен выражать свои мнения, желания. Программа тружеников-производителей короткая и ясная: земля народу и сытые хлебы для каждого труженика; свобода слова, печати и собраний и вероисповедания; фабрики и заводы в распоряжение рабочим. Вся законодательная и исполнительная власть в руках самого народа.

Все дела общества решались на общих собраниях истинно народной республики, а не на словах политических дельцов или разных партий, этих захребетников и болтунов революции, а потому не было и надобности в паразитах — органах насилия и угнетения.

[Как-то]²⁷, играя на улице, я и другие ребята увидели конного солдата. Он подъезжал почти к каждому дому, окидывал его взглядом и писал мелом на воротах цифру, и эта цифра, как я узнал потом, означала количество солдат на постой. На воротах нашего дома написал цифру два. Это был квартирмейстер {сотни солдат кавалеристов}, прибывших на усмирение — разгром республики. {Их расставили на постой по домам старобуянцев}.

Но солдаты и их командиры бездействовали, дружелюбно относились к республиканцам. Ни та, ни другая сторона не враждовала. Наступило затишье, выжидание: никто решительных мер не принимал. Солдаты дружески относились к населению, они смеялись, перебрасывались шутками. По их отношению видно

²⁷ ПТ: «В начале марта».

было, что они не очень-то намерены защищать царскую власть. Две недели пробыл отряд в нашем селе и был отозван куда-то в другое место, не причинив восставшим вреда. {Это были сыновья и братья крестьян, одетые в мундиры, но еще не [осознавшие необходимости] восстать в защиту революции}.

С их отъездом снова начались ежедневные сходки по церковному колоколу — решать дела республики. Собрание не более двух часов, речи короткие, а потому деловые, практичные. Сознание справедливого распределения и владения землей, помещичьим имением, лесами и всеми угодьями объединило все население в одно целое.

А потому радость и горе были единые, нераздельные, и это сплачивало всех в борьбе до полной победы республики. Но народ окружных сел и деревень нашей волости и других волостей, оставаясь лояльными к восставшим, не поддержали восстание старобуянцев — не потому, что не хотели избавления от рабства, а потому, что страшились зверской расправы царских сатрапов в случае неудачи революционного восстания. Они сочувствовали, но не присоединялись к восстанию. Так крепко был забит народ вековым рабством, от «Адамовых» времен.

После мирного отъезда отряда солдат старобуянцы знали, что будет прислан на усмирение второй, а потому на общем собрании обсудили вопрос о вооруженном сопротивлении. Для защиты республика имела боевую дружину в сто человек. Вооружение дружины слабое: несколько винтовок, десятка три охотничьих ружей и пистолетов, топоры и пики, наделанные в кузнице. Ясно было всем, что с таким вооружением невозможно вести открытый бой с карательным отрядом. А потому решили вести партизанскую борьбу.

Запомнились мне речи выступавших на общем собраниисходке. Примерно говорили так: «Граждане свободной республики! Царско-помещичья власть послала на разгром нашей республики солдат — наших сыновей и братьев, одетых в шинели. Две недели они пробыли у нас, но усмирять нас оружием не стали. Недалек тот день и час, когда войска соединятся вместе с нами, со всем народом России, и царская тирания будет уничтожена. Установится повсюду единая народная воля. Все народы России будут свободны сами создавать свою вольную жизнь и объединяться в самоуправляющуюся всероссийскую республику. Вся земля, весь хлеб, все фабрики и заводы перейдут в руки самого трудового народа, и они будут сами хозяева своего труда, как и мы с вами в данное время. Царская власть постарается задушить нашу республику, но мы не одиноки: по всей России идут восстания в городах и селах. Нам надо защищать республику всеми силами и средствами и, чем дольше мы продержимся, тем скорее наступит всеобщее российское восстание и царство свободы. Вольный народ на вольной земле. Все дела жизни будут решать вольные общества самих трудящихся. Наша цель: земля и хлеб – крестьянам, а фабрики и заводы – рабочим.

Мы создадим свои земельные советы, а рабочие фабричнозаводские. Затем эти советы через статистические бюро организуются в уездные, губернские и всероссийские.

Мы дадим рабочим все свои продукты [в обмен] на товары их производства. Этот обмен будет осуществляться через сельскохозяйственные и фабрично-заводские склады. Сейчас царские власти посылают карательные отряды жандармов, казаков и диких чечен, ингушей и других наемников, но когда восстанет весь народ, то он непобедим... Да здравствует наша и всероссийская республика!». Возгласы всеобщего одобрения были ответом схода.

Затем собрание перешло к обсуждению своих внутренних дел и постановило: продолжать разгром помещичьих имений, а с наступлением весны начать распределение всей земли и угодий по числу членов семей, а лишнюю землю выделить в общественный республиканский фонд. Старобуянцы торжествовали: солдаты отозваны, следовательно, у царя дела плохи, если солдаты отказались усмирять своих собратьев. Наутро следующего дня продолжили вывозку хлеба из помещичьих амбаров. Только церковный сторож не поехал за хлебом, хотя и нуждался в нем. К нему зашел священник Трехсвятский: «Ты что же, Василий Финагеевич, не едешь за хлебом? Поезжай, ты сделаешь справедливое божеское дело: неимущему дай, а если не дают, то надо взять — пред Богом все равны!». После этого разъяснения Финагеич поехал за хлебом. Трехсвятского любил народ за мягкость сердца,

открытую душу, а более всего за то, что он и его сын пошли вместе с народом на восстание против царя и помещиков. Церковную службу продолжал, но без упоминания царя и его родословной.

[...] Вскоре было получено сообщение, что из города Самары для разгрома республики выехал конный отряд казаков, чечен, ингушей и осетин. Революционный Совет республики немедленно созвал общее собрание восставших: оказывать ли сопротивление отряду карателей или без боя рассредоточиться в окружающих лесах и соседних деревнях и селах, с тем, чтоб по уходе карателей вновь провозгласить республику.

Одни требовали оказать вооруженное сопротивление, другие не оказывать. Последнее слово сказал Антипов Сергей. «Граждане Старобуянской свободной республики! Сегодня к вечеру или завтра утром надо ждать отряд карателей. Мы можем отдать жизнь за республику, погибнуть, но республику не спасем. Мы не имеем активной поддержки от окружающих нас сел и деревень. Разумно ли принять бой без надежды на успех? или сохранить силы для будущих боев? Мы одиноки сейчас в борьбе, но в недалеком будущем восстанут все села и города. Сохраним свои силы для всеобщего народного восстания. Недалеко то время, когда восстанут все угнетенные городов и сел! Сейчас отступим – потом наверстаем!».

Тяжело было собранию республиканцев слушать речь Антипова, но большинство с ним согласилось. Надвигалось снова царство мрака и рабства. Не сбылись народные мечты и грезы вековые о вольной жизни на земле и о вольном труде для человека и общества, да и многие предвидели, что не всех минует чаша возмездия за республику. Решили: «ввиду плохого вооружения сопротивления не оказывать и рассеяться по лесам и соседним селениям наиболее активным республиканцам на время нахождения карательного отряда в Старом Буяне»²⁸.

²⁸ ТР: «Все активные республиканцы и дружинники ушли в дремучий бор в пяти километрах от села, вырыли землянки и начали создавать партизанские отряды. В это время связные Щербаев и Солдатов приносили нерадостные вести: в Самаре и других городах и уездах восстание подавляется

Ранним утром²⁹ по дороге из Самары появился отряд карателей: казаков, чечен, ингушей и осетин. Отряд остановился на окраине села, опасаясь засады республиканцев. Два конных разведчика проехали рысью через мост к волостному правлению и, не найдя никаких засад, вернулись к отряду. С саблями наголо отряд подъехал к волостному правлению, разделился на две части, и одна часть на большой рыси направилась в имение Коробова, а другая в имения Масленикова и Ушакова.

Некоторые республиканцы возвращались с возами хлеба от помещичьих амбаров. Никто точно не знал, когда приедут каратели, и встреча с ними произошла на дорогах. Узнав, что везут помещичий хлеб, начали плетьми избивать республиканцев. Но каратели спешили в усадьбы помещиков, предотвратить дальнейшее изъятие богатств. При въезде в усадьбы помещиков каратели захватили в плен, с возами хлеба, нескольких республиканцев. Часть успела бежать в лес, побросав подводы³⁰.

царскими карателями. Активисты и дружинники понимали, что республика погибла, как и революционное восстание по всей России, и по вечерам пели у своих землянок в бору печально-грустные песни: «Эх, да ты калинушка, заалелася поздней осенью...».

На последнем совещании Мошков и другие предложили перебраться в Самару и там продолжать подпольную борьбу с царско-помещичьей властью. Но почти все отказались от этого предложения: у каждого были дома семьи, и, так как восстание было бескровное, то и рассчитывали на малое наказание, а оставить семьи на произвол судьбы, обречь заранее на мучения и голод никто не хотел. Снежным метельным февральским утром Мошков, два брата Жидяевых, Щербаев и Солдатов простились с товарищами по восстанию и ушли в Самару на дальнейшую борьбу в подполье, а другие возвратились в свои семьи в Старый Буян, с тревогой ожидая наказание за революционное восстание».

²⁹ В оригинале «мартовским утром».

³⁰ ТР: «Через два месяца стало известно, что в Самаре царские власти подавили революционное восстание горожан, и что послан отряд казаков на подавление Старобуянской республики. Многие крестьяне в этот день поехали за хлебом в помещичьи усадьбы. [...] В полдень приехал эскадрон казаков. Они направились к помещичьим усадьбам, поворачивая встречные подводы с хлебом обратно к амбарам. Заставляли ссыпать хлеб и, «наградив» двумя-тремя плетьми, отпускали. Некоторые же республиканцы, по-

В тот же день из Самары поступило сообщение, что революция в городе подавлена, и началась расправа с республиканцами, а на второй день каратели приехали в волостное правление. Нашлись и в нашем селе два народопродавца-предателя. По ими составленным спискам начали вызывать в волостное правление, допрашивать и арестовывать более деятельных республиканцев. Изловили Мошкова, Антипова, Солдатова, Князева, Писчикова, Ельцова, Ахматова, Андреева, Казанцева, Большакова, Дворникова и многих других.

Вызвали и священника Трехсвятского. Его не арестовали – сан духовный, но он получил десяток плетей, когда проходил коридором волостного правления. Позднее его сослали в какой-то монастырь на покаяние.

Арестованных отправили в Самарскую тюрьму. Одних сослали на срочное, других на вечное поселение в Сибирь, третьих присудили к различным срокам тюремного заключения. Если десятки республиканцев отправили на ссылку, в тюрьму, то сотни их остались на свободе.

Вскоре по отъезде карателей начались пожары. Это старобуянцы под покровом темной ночи поджигали дома, амбары, гумны предателей народа, осведомителей и сыщиков. Те ставили новые дома, и народ снова их поджигал, чем и вынудил их навсегда выехать из пределов волости.

Обиднее всего было то, что эти доносчики жили здесь же, так же пахали землю, сеяли хлеб, женились, плодились, жили в обществе, встречались, пили-ели часто за одним столом, вздыхали

бросав подводы с помещичьим хлебом, разбежались по лесам и соседним селениям.

Казачьих плетей не миновал и священник Трехсвятский. Его вызвал к себе на допрос командир эскадрона в волостное правление поздно вечером и, когда он выходил от него по темному коридору, то заранее поставленные там казаки начали избивать его плетьми за участие в восстании. Он вернулся в кабинет начальника с протестом, что его как имеющего духовный сан не имеют права наказывать и избивать плетьми светские власти. А где и кто вас бил плетьми? Покажите! Когда вышли в коридор, там никого не было — казаки разбежались. На следующий день казачий карательный отряд уехал. Никто пока не был арестован из восставших».

и сочувствовали и... провоцировали, продавали, получая по тридцать сребреников за Иудину работу. Но пришло возмездие предателям. Бывало, спишь крепким ночным сном и вдруг просыпаешься от колокольного набата.

Все мы быстро вскакивали и бросались к окнам: где горит? кто горит? близко или далеко?! Поджигали тех, кого следует сжечь за людские слезы и неизбывное горе. Но вместе с теми горели и те, кто не должен гореть. Так только республиканцы могли в то время учить уму-разуму предателей, и нередко сами лишались своих домов. Виноваты ли республиканцы, что жгли дома предателей-иуд, а часто горели и сами? — месть за предательство являлась естественной необходимостью.

[...] Когда власть укрепилась в центре и организовалась на старый лад — вернулось местное начальство, а там, где начальство, там и эксплуатация человека и общества. Возвратились в свои владения и помещики Коробов, Масленников и Ушаков. «Где власть, там и насилие»!

Месяцев через пять в Старый Буян приехал самарский вицегубернатор с охраной сотни кавалеристов³¹. Он приказал созвать граждан Старого Буяна и произнес с крыльца волостного правления краткую речь:

³¹ Тринадцатидневная республика «удлинилась» и растянулась в текстах Чекина на несколько месяцев, так как, по-видимому, сохранились воспоминания о предшествующей ей революционной активности, митингах и пр. Солдатов (1925. С. 641-645; 1935. С. 147-150) датирует приезд вице-губернатора в сопровождении отряда оренбургских казаков 2 декабря (19 ноября), ликвидацию Старобуянского самоуправления 9 декабря (26 ноября), арест Щибраева и Солдатова 27 (14) января 1906 г. Два отряда казаков, один в Старый Буян, другой в Царевщину, вышли из Красного Яра 8 декабря. Отряд пробыл в Царевщине до начала января и «сжился с царевщинцами», затем в начале января прислали новых казаков - «это был уже народ погрубее» (Солдатов 1925. С. 644-645); о положении в Старом Буяне после ликвидации самоуправления Солдатов не пишет, но его сообщение о различных отрядах казаков косвенно подтверждает рассказ о карателях, присланных на смену солдатам. Сперанский датирует приезд вице-губернатора ок. 25 января (опечатка? 1935. С. 125), а арест виднейших руководителей 9 декабря (26 ноября).

«Вы, граждане, подняли восстание против царя и отечества, но бог и царь прощает вам ваши заблуждения! Здесь выборные из других сел и деревень вашей волости, спросим их: желают ли они другой жизни без царя?». — «Нет, не желаем!», — ответили выборные. «Ну вот, большинство не желает бунтовать против царя и отечества!». Как будто под штыком и пулями человек и общество могут свободно сказать свою волю.

Но вот из толпы собравшихся граждан раздался призывный голос никем не замеченного Щербаева. «Граждане! Нас победили царские войска силой оружия, но никакие власти не остановят ненависть народа к угнетателям и поработителям тружеников сел и городов. Многим из нас придется погибнуть в тюрьмах и ссылках, но наше желание и дело правое, земля и хлеб будут принадлежать не помещикам и дворянам, а тем, кто землю обрабатывает. Если нас пересилили царские власти, то только потому, что не все мы, угнетенные и порабощенные, осознали свою силу — силу организованного восстания по всем городам и селам. Если вы правы, то зачем же приехали к нам с отрядом солдат? Страхом и насилием вам народ не победить, и придет время, когда солдаты, наши братья, перестанут вам служить и присоединятся к нам, народу труда!».

Когда говорил Щербаев, командир отряда смотрел на вице-губернатора и ждал его сигнала, чтоб арестовать говорившего. Но вице-губернатор на общем собрании такого сигнала не дал, и только по окончании его, на второй день Щербаева арестовали. А пока Щербаев продолжал: «Я понесу тяжелую кару, но знаю, что народ добьется в борьбе своего права на землю и волю!». Народ молчал, молчали солдаты, и молчал вице-губернатор, а потом повторил: «Бог и царь прощает вам ваши заблуждения, живите с миром!». Послышалась команда: «Сабли в ножны!». Сел в свой экипаж и под охраной солдат уехал в Самару. Народ молча и угрюмо разошелся по домам.

Через две-три недели царская агентура начала выявлять активных республиканцев, начались аресты и суды над республиканцами в городе Самаре. Когда через двадцать пять лет мы, школьники девятьсот пятого года, в тридцатых годах стали

взрослыми и семейными, тогда уже миллионы пошли на десятки лет в сталинские тюрьмы и концлагеря, и по сравнению с марксидскими сроками заключения царские сроки казались ангельскими. Арестовали и сослали Андреева, Ахматова, Писчикова, Щербаева, Солдатова, Казанцева, Егорова и других, а большинство отбыло небольшие сроки заключения в тюрьме от месяца до года. [...]

Старобуянская Самоуправляющаяся Республика погибла, но старобуянцы, отцы и дети, помнили о революционной борьбе с угнетателями и поработителями и радостно встречали возвращающихся из тюрем и ссылок республиканцев. Молодежь в ночном, на гумнах, в поле, в лесу, на рыбалках на Кондурче продолжала петь революционные песни о свободе, вольной волюшке, те, что пели во время республики. Эти песни радостно воспринимались и нами, подрастающим поколением.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В школьные годы я часто ходил в дома тети Паши и Фени, к Большаковым и Мусатовым. У тети Паши было пятеро детей, Настя, Павел, Катя, Надя и Коля. Павел, Надя и Коля погибли в молодых годах почти в одно время, изгнанные из своего дома, а Настя и Катя живут и по сие время, Настя в Абдулино с мужем Милоховым Алексеем, а Катя живет в Казани у сына.

У тети Фени было трое детей, Ваня, Ирина и Даша. Ира умерла лет тринадцати от дифтерита, Ваня и Даша обзавелись семьями и детьми. У Вани четыре сына Павел, Шура, Борис и Юрий, примерно четыре сына и у Даши и ее мужа Андрея. Двоюродный брат Ваня Мусатов обосновался на жительство в областном городе, в Сад-городе, а Даша там же за Панским [?] переездом. Там же в городе живут и работают их дети.

Наши отцы и семьи дружно жили между собою. Во время свадеб и престольных праздников рано утром к воротам нашего дома подъезжал на санях дядя Данила. Заходит в дом, говорит отцу и матери: «Поедемте ко мне, кум и кума, в гости». Жил он на другом конце села и всегда за дальностью приезжал на лошади, а по пути заезжали за дядей Лаврентием. Это было начало, а к вечеру навеселе попадали в наш дом, на другой день к дяде Лаврентию, и так случалось, что гуляли по несколько дней.

Водку пили одной рюмкой (по очереди), не спеша, хорошо закусывая. Гуляли только поздней осенью да зимой, а с наступлением весны гулянья прекращались до осени, до окончания полевых работ.

Помню, как однажды в августе месяце мой отец, дядя Лаврентий и дядя Данила гуляли в доме нашего свата Василия {Иванова (Хренова)} и его сына Васи, моего товарища по школе. Когда я взошел в дом свата, то увидел, что сват Василий лежит в переднем углу на лавке как умерший, а его отпевают дядя Лаврентий, мой отец и дядя Данила. Затем положили его на полог и понесли дорогой вдоль порядка с похоронным пением «Вечная память»

и «Со святыми упокой». Затем «покойник восстал», и снова продолжалось их веселье в доме. {За святотатство никого не привлекли к ответственности государственные и церковные власти — таковы тогда были нравы}.

Никогда в их гулянье, да и вообще я не слышал и не видел брани, ссоры, а тем более пьяных драк. Хорошо умели гулять-веселиться наши отцы, и никаких убийств на селе не было. Помню из рассказов матери, что когда-то, лет тридцать тому назад, был случай убийства кого-то Балашовым, сосланным на каторгу. Об этом случае вспоминали много десятков лет как о необычайном событии в селе.

* * *

В школьные годы часто приходили к нам в дом товарищи брата Василия Ваня Николин и Гриша Доронин. Мать хорошо относилась ко всем детям, а особенно к сиротам и бедным, любила чемнибудь помочь им. Так в течение многих лет привечала Ваню и Гришу, усаживала их за стол, не спрашивая, хотят ли они есть или нет — чутьем чуяла, что бедные да сироты всегда есть хотят, и усиленно потчевала лучшим, что имелось в данный момент в доме. А когда Гриша и Ваня учились в Самаре, то каждый раз на рождественские и пасхальные каникулы приезжали к нам в дом вместе с братом Васей погостить. Оба они окончили нашу сельскую школу, потом Ваня поступил вместе с братом в Самарскую фельдшерскую школу, а Гриша в Кинельское сельскохозяйственное училище.

Гриша рано лишился отца, осталось трое сирот с матерью. Жили так бедно, что иногда приходилось побираться — просить милостыню. Мать работала батрачкой, сторожем в школе и в детском приюте, куда потом был помещен Гриша. Грише за отличные успехи в учебе заведывающий школой Шимаев и попечитель помогли по окончании сельской школы поступить в Среднее сельскохозяйственное училище, которое он и закончил с отличием в девятьсот четырнадцатом году. А в пятнадцатом призвали в армию на фронт мировой бойни, откуда он вернулся наскоро сде-

ланным прапорщиком. В гражданскую войну временно работал учителем. Затем был мобилизован в армию Учредилки и очутился в армии Колчака.

Еще с детских лет, испытав горькую жизнь униженного и оскорбленного социальной несправедливостью, Гриша не имел никакого желания добровольно защищать угнетателей народа — всякую власть. К тому же еще в сельскохозяйственном училище увлекся учением Льва Толстого. Когда же второй раз мобилизовали его на гражданскую войну-братоубийство — Гриша восстал и рапортовал по начальству, сообщил об отказе от службы в армии, ссылаясь на свои убеждения, нежелание убивать людей. Он решил лично пострадать за свои убеждения, но людям не делать зла.

Там в Сибири полевой дивизионный суд приговорил за отказ от службы в армии к четырем с половиной годам каторжных работ. Но атаману Семенову, которому поступил приговор на утверждение, кто-то из штабных офицеров шутя подсказал — выслать его в Советскую Россию, и атаман Семенов наложил резолюцию: «Выслать в Советскую Россию»!

Больше года Гриша просидел в этапных тюрьмах Колчака, а по передаче его в Советскую Россию тоже заключили его в тюрьму по подозрению в шпионаже. Так он оказался «не подходящ» ни Колчаку, ни Советской власти, они находили ему место только в тюрьмах. В течение многих лет много раз Гришу то отпускали из тюрьмы, то вновь сажали и вновь отпускали за неимением каких-либо даже призрачных данных для содержания его в тюрьме.

В промежутках между арестами он сумел закончить заочно Тимирязевскую академию. Таскали, таскали по следствиям и тюрьмам, десятки раз поступал на работу и столько же раз снимали его с работы, и в конечном счете совсем лишили его права работы за непримиримость к несоблюдению правил агрономического дела.

Многократные аресты, допросы без пристрастия и с пристрастием, бесконечные увольнения с работы по «сокращению штатов» и другим надуманным причинам тяжело отразились на его психическом состоянии. Он стал считать себя ненужным человеком в обществе, и это сознание тяжелым грузом давит его и, воз-

можно, придавит совсем, ибо цена человеку ниже цены скотины... Так пришлось Грише до дна испить горькую чашу, а ведь он принадлежал к гуманнейшим светочам человечества. Много ли найдется людей, готовых в индивидуальном порядке восстать за права человека и общества?

Только сильные духом могут гордо заявить, что человек и общество превыше всех прошлых и настоящих богов и властей со всеми их органами насилия. Таким был и таким остается Гриша Доронин, доживая свой срок жизни на хуторе Панкратовке. Есть у него сын Лева и две внучки, живут в Самаре, но жена Левы чуждается его отца. Есть племянники, племянницы его жены, он им не нужен – в тягость.

Октябрьская народная революция распахнула двери вузов, и Ваня Николин поступил и окончил Самарский медицинский институт. Долгие годы работал врачом в Самаре. Началась Вторая мировая война, Ваню мобилизовали в армию и, работая в военном госпитале, он как-то сказал, что у немцев сильная военная техника, почему наши войска и терпят поражения. Этого было достаточно, чтобы политрук — комиссар госпиталя сообщил в НКВД. Ваню арестовали по-сталински, осудили тайным судом инквизиции на десять лет сталинских концлагерей. От звонка до звонка просидел в концлагерях Сибири, одряхлел, ослаб. Вернулся к семье в пятьдесят третьем году. Правда его полностью реабилитировали, восстановили военное звание капитана, дали военную пенсию, но что это все значит теперь, когда в концлагерях и тюрьмах потеряно безвозвратно физическое и духовное здоровье!

Когда я встречаюсь изредка с Гришей и Ваней, даже теперь они вспоминают с чувством глубокой благодарности и уважения мою мать и отца. Так добро, сделанное людям, живет многие годы украшением и прежней жизни, и посмертной жизни небытия.



Во время учения в сельской школе появились и школьные товарищи Федя Карташев, Поляковы Володя и Коля, и Паша Кикин из хуторян; Ваня Князев, Вася Козлов, Федя Обыденнов, Ф[ед]я

Иванов-Хренов, Ваня Судов и многие другие. Вместе занимались в классах, ходили в школу и из школы, играли, встречались по вечерам и воскресеньям, вместе шли в займище, купаться на песчаные берега Кондурчи — без забот и тревог в душе и сердце. А через много лет судьба каждого из нас сложилась по-разному, но, в общем, невесело и малоотрадно.

Одни из нас остались при крестьянстве, другие достигли разных степеней учености. О двух старших товарищах Грише Доронине и Ване Николине я уже говорил. Володя и Коля Поляковы – агроном и фельдшер, бесследно исчезли в сталинскую мясорубку.

Произвол сталинских опричников был настолько дик, что глуповатого школьного сторожа-истопника, республиканца девятьсот пятого года, сидевшего в тюрьме за республику, Алексея Дворникова, в старости «удостоили сталинской чести» на десять лет концлагерей за то, что он не мог молчать о воровстве и издевательстве местных марксидов. Мишу Родионова по сталинскому набору отправили в сибирские концлагеря на десять лет за то, что он участвовал в девятьсот пятом году в создании Старобуянской республики как эсер, а, следовательно, как враг марксидов. Ахматов Даниил, агроном, тоже активный участник пятого года, в течение многих лет то садился в тюрьму и концлагерь, то выпускался, то снова садился, и так без конца. Его жене и детям пришлось официально от него отказаться, чтоб спасти свою жизнь и иметь хоть какие-нибудь гражданские права на жизнь человеческую. Один из моих школьных товарищей, будучи лейтенантом, проходил по парку в Ленинграде с группой офицеров мимо двух памятников, Ленину и Сталину, и, показывая на тот и другой, сказал: Ленин все же выше Сталина, и этого было достаточно, чтоб наутро арестовали и приговорили к двадцати годам концлагеря. Вспоминаются тридцатые годы, разгром крестьян, обнищание моих школьных товарищей, осевших на земле. Имелось секретное распоряжение о высылке из Старого Буяна тридцати процентов жителей за «эсеровское восстание» девятьсот пятого года.

В год, когда я оканчивал школу, в наше село приехал в дом своего отца Вася Милохов, за что-то исключенный из Вольской учительской семинарии с третьего курса. Он был лет на пять

старше меня. Хорошо начитанный, он все знал и был моим учителем в познании жизни. Долгие годы я был с ним связан общностью взглядов, и мы вместе, как братья, все переживали, мечтали, хлеб-соль делили в годы учебы в Самаре. О нем еще не раз будет сказано впоследствии.

* *

Люди, прожившие долгую жизнь с раннего детства до старости вблизи друг друга, так сживаются между собою, остаются в таком душевном родстве, что при каждой встрече поверяют друг другу свои сокровенные мысли, думы и мечты. Вот таким и является [для меня] Василий Котельников³², мой сверстник и сосед по месту моего рождения в селе Старый Буян Самарской области.

Отцы наши жили по соседству через плетень, пахали, сеяли, убирали хлеб, а наши матери пряли, ткали, шили, доили коров, пекли хлеб и делали многое другое по хозяйству, в страдную пору убирали хлеб насущный. Точно раз в неделю по субботам топили баню, мыли нас, белье и полы в доме.

Дети нашей семьи и соседа вместе играли, вместе ходили в школу и приходили домой из школы, готовили уроки, читали. Иногда нас брали с собой наши отцы помогать им в полевых работах.

В летнее время почти ежедневно ходили купаться на реку Кондурчу, ловить рыбу и лягушек, а то уходили со своими матерями в лес за ягодами, грибами и на бахчи. [...] Так шли годы безмятежного детского возраста, но учась уже в третьем классе, Вася Котельников заболел, и после болезни у него отнялась левая нога — парализовалась. Он мог только сидя ползать при помощи рук, а потому и перестал учиться в школе. Позже, когда повзрослел, смог ходить на клюшках.

 $^{^{32}}$ Василий Козлов? Экскурс о Котельникове-Козлове перенесен из конца четвертой тетради.

Грустно мне было, что мой друг и товарищ Вася оставил школу, а его родители по бедности не могли ему помочь продолжать ученье в шестиклассной нашей школе. Но моя дружба с ним продолжалась. Я приходил к нему на дом, читал, рассказывал об ученье в школе, в классах, а Вася слушал и грустными глазами смотрел на меня и на книги, которых он уже не изучал. И каждый раз по утрам, когда я выходил из дома и шел в школу, Вася сидел на крыльце своего дома и печально смотрел на меня, что не может вместе со мною идти в школу. А я жалел его своею детской жалостью и продолжал ходить к нему, посидеть, поговорить о разных разностях, что многое потом забылось с возрастом, но Вася веселел в лице в то время.

Год за годом Вася взрослел, научился хорошо ходить на клюшках, и мы стали ходить с ним на Кондурчу, в займище, на ближайшие от реки озера, сами сколотили лодку-плоскодонку и гордо катались по Кондурче. Так постепенно Вася вместе со мною приобщался к познанию природы. Он был уже не таким печальным и грустным, каким он был вначале после болезни — паралича ноги и потери школы.

Шли годы. Я окончил шестиклассную школу, продолжил ученье в городе Самаре, а в дальнейшем окончил институт, а уж потом, на пятом десятке лет, прошел и окончил самую высшую школу, Академию государственной власти — Сталинскую десятилетнюю тюрьму и лагеря.

Вася же все свои годы оставался при доме отца, помогая отцу в тяжелых хозяйственных крестьянских делах, а потом в колхозных, и если в единоличном тяжелом труде наполовину работал на себя, то при колхозном хозяйстве и десятой части не имели хлебов от своего труда.

В семье отца Васи было еще три сына и две дочери физически здоровых и более грамотных, чем Вася. Но никто из них не имел такого мудрого понимания личной и общественной жизни, как Вася.

Видя свою физическую неспособность к полевым и хозяйственным работам, Вася самоучкой освоил чеботарное, валяльное и пчеловодное ремесла, чтоб обеспечить хлебы насущные себе и детям своим, сыну и дочери. Происшедшие социальные измене-

ния после Октябрьской революции и нэпа, после захвата власти диктаторами-марксидами, лишили Васю насущного хлеба, но к тому времени подрос его сын и стал обеспечивать семью своими скудными заработками, полусытым хлебом тружеников деревень и сеп

[...] Вася критически, а не на веру, как другие, воспринимал явления жизни в государстве и жизнь каждого человека в отдельности. Так, он не восторгался переменой власти в Октябре, так как уверен был в том, что новая власть так же будет угнетать и порабощать народ, как и прежняя, что и подтвердилось впоследствии. [...]

Когда я приезжаю в Старый Буян, мы уходим с Васей в его сад-огород при его доме и там проводим вечерние часы в дружеской беседе. Мне нужно зеркало правильности и неправильности моих пониманий социальных проблем настоящих и будущих времен. [...] Много раз Вася повторял и утверждал, что жизнь по новому пути догматической диктатуры марксидов многое изменила к лучшему, но основа основ — насилие и угнетение человека и общества — остались те же, прежние. [...] Чтоб уничтожить социальную несправедливость, надо упразднить веру в государственную власть и само государство — последний оплот рабского порабощения народов всех стран.

Таков мой друг Вася Котельников, так он думает, мыслит и чувствует настоящее и будущее.

* * *

{С Ваней Князевым объединяла нас любовь к природе. Каждое воскресенье, да и в другие дни мы часто уходили в лес, на Кондурчу, и там развлекались купаньем, ловили бабочек. Но с пятого класса Ваня по настоянию родителей перестал посещать школу и остался при доме помогать родителям по хозяйству – крестьянствовать}.

В школьные годы к нам в дом часто приходил мой товарищодноклассник Федя Карташев, обычно под вечер. Учили с ним уроки, а потом он обращался к моему отцу и говорил: «Разрешите

покататься на вашей лодочке?». Лодку-долбленку – {«душегубку», которая от небольшого движения перевертывалась вверх дном}, сделал отец для забавы-развлечения. Ввиду неустойчивости ее кататься следовало на мелком месте у берега по одному или по двое. Это мы знали и катались весьма осторожно. [...] Когда отец говорил: «Пожалуйста, покатайся, Федя» – он шел к лодке, садился и начинал кататься в заливных озерцах огорода, где плавали и навозные кучи, заготовленные для поделки кизяков. Через одну-две минуты Федя перевертывался вместе с лодкой, вылазил на берег весь мокрый, заходил к нам в дом, обогревался и в сумерки шел к себе домой. А чтоб дома его не ругали, мокрую шубу тайком прятал в подполе. Но через некоторое время он приходил и так же просил отца покататься на лодочке и снова купался в холодной весенней воде, что задержалась от разлива Кондурчи. {Так повторялось несколько раз, пока его полушубок не сгнил под полом дома .

Через два дома от нашего жил крестьянин дедушка Гурьян Хренов. Он имел пасеку, зимой еще долбил колоды на продажу, а весной корчевал сосновые пеньки и гнал смолу. Роста высокого, большие седые волосы, большая седая голова, длинная посконная рубаха до колен, подпоясанная шнурком-тесемкой, крупные черты лица. В праздничные дни, когда изредка бывал пьян, заходил в лавку, покупал пряников, конфет, складывал в подол рубахи и, как бог Саваоф, шел тихим шагом через площадь домой и по пути раздавал нам подарки, а мы человек пятнадцать детей собирались вокруг него и шли с ним до его дома, получая от него то пряники, то конфеты. Многое из памяти исчезло, но дедушка Гурьян и через полвека продолжает жить в воспоминаниях светлого детства.



Как я уже говорил, мать внушала нам детям религиозные чувства. Верила она искренне и в точности соблюдала все посты — молока, мяса не давала, особенно тягостен для нас был почти двухмесячный великий пост. До четырнадцати лет я аккуратно ходил в цер-

ковь. Меня интересовала служба, торжественность и песнопения, таинственность существования и вера в загробную жизнь. В то же время с колыбели я любил природу, утренние и вечерние зори, поля и луга, лес и займище по реке Кондурче, купание и рыбалку, сбор ягод и грибов, а главное то, что там, вдали от дома, хорошо мечталось.

На благодатную почву пали семена моей матери. Это она пробудила во мне с детства любовь к природе, часто брала с собой в лес. Несмотря на занятость в работе по хозяйству — всегда находила три-четыре часа для леса. Это была ее страсть, и она передалась мне больше, чем другим моим братьям.

Я часто уходил и в одиночестве бродил по берегам Кондурчи и размышлял о природе, ее могуществе и таинственности всего мироздания. Я стал задумываться над началом начал жизни и всего существующего на Земле. Сотни раз вставали передо мной вопросы: если Бог создал Землю, людей и весь видимый мир, то откуда сам-то Бог взялся, кто его самого создал и так далее, и ответа я не находил. Думалось мне, что ученые в городах знают, и решил учиться и все узнать.

Верой в то, что так было вечно, я удовлетвориться не мог, ибо я оказался Фомой Неверующим. В бога Саваофа, старца с седою головой и бородой, что был в церкви изображен, я не верил с двенадцати лет, и первым моим отречением от такой веры было то, что я снял с себя крест на берегу Кондурчи и повесил его на ветку куста. Но до этого многие годы я ревностно верил в Бога и святых, любил ходить в церковь каждое воскресенье и на говенье, вместе с классом, великим постом, а особенно на Рождество, Пасху и Троицу, в чем находил душе отрадное явленье. Другие же мои братья не имели такого религиозного влечения, а когда мне исполнилось тринадцать лет – веру мою в Бога поколебали окончательно разговоры с моим отцом, о чем я уже говорил, и то, как разъяснил мои сомнения священник Соколов. В то же примерно время я уже кое-что читал и слышал от старшеклассников об отрицательном отношении Льва Толстого к церкви и ее обрядам и помню, когда умер Толстой, как в нашей церкви отец Константин предавал его анафеме – проклятию.

Разлад с церковью, верой в Бога, неразрешимость и непонятность существования мира я переживал в самом себе мучительно

тяжело, и не к кому было обратиться за разъяснениями. И только потом, через много лет, в годы Октябрьской революции я нашел разрешение всех вопросов бытия небесного и земного, но до того времени мне была тяжела потеря того, чему верил, чем жил, чему поклонялся и молился.

До третьего-четвертого класса сельской школы я и мои меньшие братья в зимнее время ходили в школу в валенках, а весной и осенью в лаптях, а в весеннюю распутицу к лаптям подвязывали деревянные колодки, чтоб не промачивать ноги. Полушубки зимой, кафтаны осенью, весной. Но с четвертого класса отец покупал нам в Самаре на толкучке поношенные солдатские тупоносые сапоги и ситец на рубашки.

Как мать, так и отец любили много работать и мало отдыхать. Мать всегда словоохотливая, энергичная, а отец сдержанно молчаливый, но оба с чрезвычайной любезностью относились к нам и ко всем учащимся, с каким-то жертвенным почитанием. А потому не стремились втягивать нас в крестьянские полевые работы. Правда, мы принимали участие во всех полевых работах в свободное время от школьных занятий, но на нас они смотрели как на временных помощников, а не постоянных, как брат Павел и Дмитрий, и с начала и до окончания учебного года ни к каким работам нас активно не привлекали.

В поле на работу брал нас отец главным образом во время уборочной, а в другое время всю работу выполнял с двумя братьями. Уборка хлебов проводилась вручную серпами и косами. Железные плуги начали вытеснять матушку соху, а серп и коса до Октябрьской революции не уступали место жнейкам. Тяжел труд крестьянина летом в страдную пору: каждый рассчитывал только на себя, на свои силы и смекалку, работа продолжалась с зари утренней до зари вечерней.

Но вот в поле работы закончены. Хлеб сжат, скошен, свезен на гумно в копны; молотьба цепами, лошадьми или конной молотилкой, переходящей от одного двора к другому, закончена, короче становится рабочий день крестьянина. Осенние работы идут все еще напряженно, но не спеша: на гумне, вокруг дома, уход за скотом, заготовка на зиму дров и прочие уже мелочи в хозяйстве.

В это время по хозяйству легко справлялся отец со старшим братом, и мы все переходили на положение учащихся до следующего лета. И становились свободными ходить в школу, учить уроки, заниматься играми, ходить в лес, бор, рыболовить на Кондурчу и для многих других дел детского и юношеского возраста.

Чрезвычайно увлекался я прогулками в займище один и вместе с другими ребятами-товарищами. Непонятная сила влекла меня на просторы природы, и до сих пор влечет меня к этим родным с детства местам, как истинно верующего мусульманина влечет в Мекку поклониться пророку Магомету. Во все времена года хочется там побывать, но не всегда сознание определяет бытие, а чаще бытие определяет сознание и создает двойственность жизни. Да и во всяком другом месте, в любой стране влечет меня к себе природа: люблю ее просторы и широту, свободу мысли и чувств.

В шестом классе, четырнадцати лет я страстно и тайно влюбился в синеглазую школьницу Циплякову Марусю. И влюбился первой детской любовью до слез, и казалось мне, что краше ее никого нет во всем свете. При встрече с ней в школе, на улице я бледнел, краснел и молчал. Она, конечно, не знала о моей к ней любви и никогда не узнала. Но пыл моей любви охладился, когда я узнал, что она дружит с сыном мельника Ваней Судовым. Он был старше меня на два-три года, а также и Маруся. Я перестал ее любить. Впоследствии и их пути жизни разошлись, но чувства этой вспышки любви к Марусе сохранились в отрадных воспоминаниях. Через некоторое время мне полюбилась другая ученица, старше меня года на два.

* * *

На окраине села близ впадения речки Буянки в Кондурчу стояла водяная мельница {о трех поставах} среди зарослей могучих осокорей, ветел и кустарника. И там же неподалеку от мельницы и пруда находилась усадьба: {большой двухэтажный деревянный дом с балконом, двумя верандами и террасой, а поодаль надвор-

ные постройки, каретники, скотный и птичий двор, небольшие участки займища и леса по реке Кондурче, фруктовый сад. Это именье когда-то принадлежало мелкопоместному дворянину Долгову, впоследствии разорившемуся, а потом этот дом, усадьбу, сад и мельницу купила молодая чета Разумовских, Иван Никонорович и Серафима Яковлевна. У четы Разумовских имелись некоторые средства: купили пару лошадей, четыре коровы, развели свиней, гусей, уток и кур. Наняли рабочего засыпку Владимира Андреянова и одного рабочего по хозяйству.

Иван Никонорович нрава был тихого, спокойного, его же жена Серафима Яковлевна отличалась живым, подвижным и энергичным характером и, как более сведущая в грамоте, вмешивалась во все хозяйственные дела мужа, где иногда и не требовалось ее вмешательства. Ясно было, что она в семье и хозяйстве господствовала над мужем, но это, однако, не нарушало их мирную жизнь. Серафима Яковлевна выписывала две-три газеты, два-три журнала, курила и любила либеральные разговоры, и достоверно было известно, что принесла в приданое небольшой капитал.

Имели возможность дать своим детям среднее и даже высшее образование, но только Александр учился в Самарском реальном училище, а остальные после окончания шести классов земской школы занимались хозяйственными делами при доме: четырех дочерей готовили к замужеству, а сына Бориса держали при доме по мельничному делу. [...]

[В девятьсот пятом году] семья Разумовских сочувствовала восстанию крестьян, приходили на собрания, помогали семьям заключенных, почему и пользовались уважением односельчан. К тому же земельными угодьями они не владели, жили от доходов мельницы и своего домашнего хозяйства. Их дети вместе с детьми крестьян учились в одной школе, вместе играли и ходили на улицу.

Крестьяне старались детей учить и дальше, по окончании сельской шестиклассной школы, потому что при доме не имелось, чем жить — и их дети продолжали учиться в ремесленной школе, учительской семинарии, фельдшерской школе, сельскохозяйственном училище. А Разумовские имели хорошее хозяйство, мельницу и сад, и их дети оставались при доме. Разумовские при-

глашали крестьянских детей к своим детям на игры и видели в них будущих женихов для своих четырех дочерей, не землепашцев, а служащую интеллигенцию. Но мы, школьники, бывая у них в доме, стеснялись их, как живущих в лучших условиях, чем мы, крестьяне, часто ходившие в школу в лаптях до четвертого класса}.

Вместе со мной училась одна из дочерей Разумовских Таня. Мы часто встречались по дороге в школу, в самой школе и между уроками, но до шестого класса я и не мечтал о любви к ней потому, что она была богатая, а я бедный, да она была и повзрослее меня [...].

{ [Знакомство] с Таней Разумовской произошло в их доме, когда она окончила в Самаре семь классов, и ее родители не захотели продолжить ее ученье. [...] Тане Разумовской было шестнадцать, а мне пятнадцать лет, и я сразу влюбился в ее золотистые косы, голубые глаза и в ее улыбку с ямочками на щеках. Угощала чаем за столом сама Серафима Яковлевна меня, Федю Карташева и Володю Полякова, и вместе с нами сидели за столом и все ее четыре младшие дочери, и я так часто и длительно смотрел на Таню, что Серафима Яковлевна заметила мне: «Чего это вы все смотрите на Таню». Я растерялся и бухнул: «Она такая хорошая!». Все сидевшие за столом удивленном посмотрели на меня, а Серафима Яковлевна сказала: «Да у меня все они хорошие». Когда уходили из дома Разумовских, провожая, Таня шепотом сказала мне: «Да и ты хороший!». Так я познакомился с Таней Разумовской и влюбился в нее первой юношеской любовью}.

Но вот появились первые робкие, стыдливые и чистые ее записки ко мне с объяснением в любви. От неожиданности, что она полюбила меня «плебея» счастию моему не было предела. Я ответил ей тоже запиской любви, но при встречах друг с другом о любви ни слова. Так продолжалось некоторое время. Затем в записках назначались свидания вдали от всех наедине, чтоб никто не видел и не знал нашей любви, и чем чаще становились наши встречи вдвоем, тем сильнее и любовь. Ее младший брат Борис некоторое время был нашим почтальоном – приносил ее записки ко мне домой и мои к ней и, конечно, втайне от ее и моих отца и матери. И если кто-нибудь из ее или моих родителей ради шутки

намекнули бы на нашу любовь — не знаю как Таня, а я бы от стыда «сквозь землю провалился» несмотря на чувство вечной любви друг к другу. Если летом гуляли по берегам Кондурчи, то в зимние вечера часто встречались близ ее дома, часами ходили по скрипучему снегу, сидели и мерзли, но нашей любовью холод превращался в тепло, блаженство и неизъяснимую и бесконечную радость.

Как-то в один из воскресных дней я и мои товарищи Федя и Володя пошли к Разумовским, чтоб пригласить трех сестер Таню, Лену и Зину погулять в займище по берегу Кондурчи, но их мать, Серафима Яковлевна, не разрешила своим дочкам пойти с нами погулять, видимо, решила, что мы, дети крестьян, не подходящие для ее дочерей товарищи, и мы все трое с обидой в душе ушли от них, но у меня с Таней тайно от всех продолжались встречи.

* * *

{По окончании сельской шестиклассной школы одни из нас уехали учиться в Самару в фельдшерскую школу, другие в учительскую семинарию в Вольск, в сельскохозяйственную школу в Кинель, дети священника — в духовную семинарию и епархиальное училище}. [...] Я уехал в Самару и поступил в фельдшерскую школу, где уже учился мой брат Вася на третьем курсе, а мои товарищи Федя и Володя поступили в сельскохозяйственное агрономическое училище. В фельдшерской школе наряду с юношами учились и «папаши». Дело в том, что в фельдшерскую школу принимали от шестнадцати до тридцатипятилетнего возраста. Принимали обездоленных и изгнанных из других учебных заведений, семинарий, гимназий и других училищ и школ за различные нарушения, и крестьянских детей, и горожан, к тому же в школе обучением ведали врачи, самые практические, реалистические преподаватели, философски смотрящие на жизнь и природу.

Так, например, при двухгодичном изучении курса анатомии, преподаватель допускал такую философию: всю анатомию изучили, прошли, а души не нашли. И это во времена царизма! А другой преподаватель в заключение курса зоологии так закон-

чил свою лекцию: «Человек — это животное, способное носить оружие». Такой вольный демократизм преподавателей настраивал и учащихся на демократический лад.

Почти всем учащимся земская управа выдавала пособие в пределах восьми рублей, а некоторым и стипендии в шестнадцать рублей, в том числе Ване Николину как круглому сироте. Пособие почти обеспечивало учебу, а стипендия полностью все потребности быта. Обычно на завтрак чай с белым хлебом и сахаром у себя дома на квартире, а обед из трех блюд за десять копеек, а десять еще доплачивало земство. И такой обильный и качественный обед, что ужинали дома на квартире одним чаем. Кроме этого в столовой брали по стакану молока за одну копейку, а хлеб – калач и чисто ржаной грудами лежал на столах обедающих учеников.

В двухэтажном здании школы первый этаж занимали ученики и дирекция школы, а верхний ученицы.

Как-то на одном из уроков по хирургии на третьем курсе молодой врач назвал одну из учениц «милашкой». «Я вам не милашка», - ответила та. Это «оскорбительное» слово было сообщено в старшие мужские классы, и они подняли все классы, даже нас первокурсников – прекратить посещение уроков и лекций до тех пор, пока преподаватель не принесет публичное извинение перед оскорбленной ученицей или не будет уволен. Преподаватель не соглашался с ультиматумом учащихся, тогда забастовали все классы: преподаватели шли в классы читать лекции, но классы были пусты, а учащиеся гуляли в коридорах и вокруг школы. Увещевания, уговоры инспектора и надзирателя положительных результатов не дали. Школьный совет встал на защиту оскорбившего преподавателя. Упорство с обеих сторон нарастало. Занятия парализовались, вокруг школы и в воротах появились полицейские посты. Тогда школьный совет послал на переговоры любимых учащимися старых преподавателей в качестве парламентеров. Они стали уверять, что оскорбивший преподаватель не хотел словом «милашка» оскорбить ученицу, и что это слово он употребил как старший к младшей, и что он еще молодой врач, и надо снисходительно к этому отнестись.

Уважение и любовь к лучшим преподавателям, которые фактически принесли извинения за неудачного коллегу, дали ключ к прекращению бойкота-забастовки, и начались нормальные занятия в школе.

* * *

На второй моей родине, в Самаре самым близким моим другом был Вася Милохов, о котором я говорил ранее, что вначале он учился в учительской Вольской семинарии, из которой был исключен «за вольности бунтарские» и одновременно со мной поступил в фельдшерскую школу. Изумительно способный, много начитанный, для меня он являлся старшим не только по годам, но и по знаниям. Характер ровный, в меру выдержанный, оптимистически-мечтательный. Лицо открытое, ясные голубые глаза и прямой взгляд.

Вместе мы жили в одной комнате у Паляевых на Шихобаловской улице, недалеко от школы, и повсюду были неразлучны: в школе, на театральных галерках, на вечерних гуляниях в городском саду. Вина не пили и не курили. Иногда в долгие осеннезимние вечера часами не зажигали огня и мечтательно грустили, грустью юношей.

С того времени я начал писать социально-лирические стихи, и все они через много лет исчезли в архивах опричников Иосифа Кровавого. Вася тоже изредка писал стихи, но относился к ним по-толстовски.

Много мы философствовали о жизни, душе человека, о боге и о житье-бытье. Питались сообща из одной чашки продуктами, привозимыми из дома его и моими родителями или нами самими во время каникул в добавление к тем обедам, что имели в нашей закрытой ученической столовой. Один раз в год отцы покупали нам ботинки, калоши, брюки и пиджаки, на что расходовали десять-пятнадцать рублей.

Начавшаяся Мировая война захватила и нас досрочно в свои объятия, и мы на три года расстались. Мой товарищ был призван в армию. Массовые призывы – мобилизации, этот патриотиче-

ский психоз стадности захватил и меня, вернее не патриотизм, а просто желание быть вместе со всеми и тремя моими уже мобилизованными братьями. После окончания войны и благополучного возвращения в Самару мы продолжали учебу и нашу дружбу. Затем я поступил на медфак Госуниверситета, а Вася, окончив школу, на время поехал поработать фельдшером в район и там застрял навсегда.

* * *

На рождественские, пасхальные и летние каникулы приезжал на лошади за братом, а потом за ним и за мною отец, и мы ехали домой. Город и школа увлекали новизной впечатлений, но когда подъезжали к пенатам детства, то вновь воскрешались любимые детские места, дороги, поля и Кондурча с чудесными берегами. Иногда вместе с нами приезжал на свою сиротскую родину однокурсник брата Ваня Николин. Отец со своей подводой приезжал за нами в Самару под вечер, и мы ехали в Старый Буян.

Однажды мы поехали зимой на рождественские каникулы и взяли с собой Ваню Николина. Отец привез для нас тулупы, чапаны. Мы, хоть и были тепло одеты, но в долгой дороге в морозно-ветреную зиму как тепло ни одевайся, время от времени надо сходить с саней, немного пройтись за санями, чтоб разогреться. Это мы и делали. Но Ваня Николин не хотел сходить с саней, чтоб «погреться». Губы его начали синеть, тело сжиматься и вздрагивать. Мы все ему советовали: Ваня, слазь, погрейся, но он упорно не слезал и говорил: – Лучше замерзну, но не вылезу! Так Ваня до Старого Буяна и доехал, и не замерз, и не обморозился. И когда вошли в дом, Ваня сказал: – А знаете, почему я не вылазил из саней, хотя и дрожал от холода? – потому что гитару в тепле сохранял!

Мать всегда поджидала наш приезд; смотрела в окно на дорогу и, увидев, выходила и встречала нас на крыльце или у ворот дома. Мы быстро, почти на ходу выскакивали из саней, а она встречала словами материнской радости и любви. Она целыми днями хлопотала около печки, на кухне. Пекла, варила, жарила,

готовила для нас, что было лучшее в доме. Наполняли себя впечатлениями зимнего домашнего быта, а тут уж подходит конец каникулам. И снова едем с отцом в Самару, а мать с молчаливыми слезами провожает у крыльца и долго смотрит нам в след, пока не скроемся за поворотом.

Весной и осенью мы ездили по Волге пароходом через Царевщину или Куромоч, что в тридцати километрах от нашего села, и если к пристаням всегда нас отвозили, то из Самары от пристаней часто за неимением попутных подвод шли пешком до дома, потому что в то время лошади были заняты полевыми работами, да и дома точно не знали нашего приезда.

{В летние каникулы учащиеся съезжались в Старый Буян, до пятнадцати юношей и девушек, отдыхали, развлекались, собирались все вместе, ходили в лес, займище на берег Кондурчи, жгли костры, играли, но среди нас не было Тани Разумовской — ее мать девушек к нам на село не отпускала. [...] Я мечтал о встрече с Таней и в то же время боялся ее строгой матери, чтобы придти в их дом. С ее десятилетним братом Борей я решился передать Тане записку, где в душевных и сердечных словах просил Таню придти к их пруду у мельницы по очень важному делу.

Был тихий теплый августовский вечер, я мучительно ждал и гадал — придет или не придет Таня ко мне по моей записке? Придет — значит любит, не придет — не любит, но ведь она сказала, что и я хороший. Медленно, как бы прогуливаясь по берегу пруда, шла Таня в светлом платье в сиянье голубого лунного света и, подходя ко мне и улыбаясь, полушутя проговорила: «Вот пришла и я к тебе, хорошему, твоя хорошая!».

В тот же вечер, гуляя по берегу Кондурчи, каждый по голосу, движениям, взглядам понял, а вернее, почувствовал взаимное влечение любви и, расставаясь, договорились через каждые два дня встречаться по вечерам у старого вяза на берегу Кондурчи вблизи их дома, втайне от всех, чтоб никто не мог знать о наших встречах}.

В каждый приезд в Старый Буян домой – встречи мои с Таней продолжались так же тайно от своих и ее родителей в вечерненочное время, когда родители, да и все другие немолодые уже спали в своих домах, да в темноте мало кто мог нас видеть. Через

младшего ее брата уславливались о часе и месте встречи. Встречались, гуляли по тихим окраинным улицам села, по берегам Кондурчи, и обоим нам мечталась впереди жизнь, полная упоения и блаженства бесконечного. Но я физически и психически чуждался ее родителей, они стесняли меня богатством, а я еще не оторвался от класса пахарей. Возможно, что это только казалось так, что это моя надуманность, но наша любовь оставалась нашей тайной, тем более у Тани не было путевки в жизнь, кроме приданого, а у меня ровно ничего, и мне предстоял длинный путь приобретения путевки в люди и в жизнь.

* * *

{В августе девятьсот четырнадцатого года началась первая мировая война, а с нею и мобилизация сынов, отцов и братьев в городах и селах}. Я уже учился на третьем курсе, когда война закружила в своем водовороте миллионы жизней. {Из нашей семьи в первые два года войны были мобилизованы четыре брата. Убитые горем, со слезами и всеобщим смятением, матери, отцы, жены, дети, внуки, деды и бабушки, друзья и товарищи как живых покойников провожали мобилизованных на мировую войну. [...]

И вот сражаются, убивают и калечат друг друга миллионы людей, одетых в солдатскую форму, никогда друг другу не сделавших зла, мирно работавших в полях и городах на благо человечества. Никаких войн труженики никогда не хотели и не хотят, войны нужны только правительствам, которые стремятся к господству над своими и не своими народами. Так говорил, провожая мобилизованных на войну, местный философ, мой дядя Федор Петрович Большаков}.

Истребляли, убивали, ранили, калечили друг друга ни за что, ни про что: так только для корыстной прихоти властей того или иного государства. Несчастье и печаль стали достоянием каждой семьи, а власти продолжали безумствовать: гнали и гнали «своих возлюбленных» и «верноподданных» на убой во имя Бога, отечества, родины и идеи-царя, и всяких других фантастических призраков.

Без войн государства не могут существовать, ибо все они одержимы манией господства над своими и не своими подданными. И только с исчезновением всякого государства наступит мир и счастливая жизнь для всех народов и каждого человека. В то время я этой истины еще не знал, и она открылась мне позже.

{В городе Самаре государственные власти по улицам города несли портреты царя и его министров с лозунгами «за веру, царя и отечество», «война до победы» в сопровождении больших толп фанатиков. В других странах также во имя патриотизма происходили манифестации прислужников власти, а народы кнутом и штыком сгонялись на мировую бойню. [...] А мы, учащиеся, продолжали учиться, сдавать экзамены, взрослели. И любовь моя к Тане Разумовской все росла вдали от нее в Самаре.

Приехав на каникулы в следующем году, в тот же день дал знать Тане, чтоб пришла на берег Кондурчи к вязу. Был теплый июльский вечер. По дороге собрал букет полевых и лесных цветов и в ожидании ее прихода, сидя на берегу Кондурчи, начал мечтать. Прошел уж час ожидания. Послышались легкие шаги, подошла Таня. «Здравствуйте, простите, что я долго заставила вас ждать – была занята с мамой хозяйственными делами». – «А я вам букет цветов собрал. Прошу, от чистого сердца». «А я тоже от чистого сердца», сказала Таня, целуя в губы. «Я так рада побыть вместе с тобой. Помнишь, как ты мне при первой встрече сказал, что я хорошая. Я много думала о тебе, а ты вспоминал меня там в Самаре? Я та же для тебя хорошая, или там есть лучше меня девушки?» «Нет, Таня! Прошел год, и все мечты мои были о тебе одной». [...] Почти каждый день продолжались встречи, и все сильнее крепла любовь и мечты о будущей жизни. Было ясно, что война не минует меня, и что бы потом ни случилось, [мы решили] никогда не оставлять друг друга, любить друг друга на веки вечные .

ТУРЕЦКИЙ ФРОНТ

{Заканчивались мои каникулы, а, следовательно, и встречи с Таней — начались сборы в Самару. Мать пекла подорожники и, как всегда, с печальным лицом наставляла меня на жизнь в Самаре. Отец делался все молчаливее, переживая в себе мой отъезд из дома. В это время приехал из армии на побывку брат Александр. Он был мобилизован с первых дней войны, окончил школу прапорщиков и воевал на турецком фронте командиром сотни пластунских кубанских казаков: в черкеске, бурке, с кинжалом и шашкой, что вызывало восхищение отца и матери. Он мне говорил: как только будут призывать в армию твой год, то приезжай немедленно в Тифлис, там тебя направят в школу прапорщиков, и будем служить на одном фронте Кавказской армии.

В начале декабря стало известно, что вскоре начнется досрочная мобилизация моего года рождения. Я сдал экстерном за шесть классов Самарской первой мужской гимназии, чтоб отбывать службу по разряду вольноопределяющегося, и поехал в Старый Буян проститься с отцом, матерью, родными и Таней Выстро прошли десять дней в доме отца. Брат Александр писал, чтоб ускорил я отъезд, покамест его воинская часть находится в Баку.

Морозным декабрьским поздним вечером я простился с Таней близ ее дома. Оба мы знали, что это, может быть, последняя наша встреча. Мало было сказано слов любви, да они и не нужны были – нам казалось тогда далекое близким и ненарушимым навечно. Мы крепко полюбили друг друга, а почему и за что – разве может кто объяснить эти законы любви, тайны взаимного познания и единения. Смотрели и не могли насмотреться, целовались, миловались и счастливо-грустные расстались, мучимые будущей неизвестностью.

Когда я утром проснулся, то увидел, что мать напекла мне подорожников, любящими, скорбными глазами смотрела на меня и говорила последние наставления беречь себя и часто писать, а отец в это время хлопотал на дворе около лошади и саней.

Сели завтракать, но еда не шла, как это бывает перед отъездом в дальнюю дорогу: каждый думает свою невеселую думу, слова и фразы говорятся редко и коротко, через некоторые промежутки молчания.

Я шел четвертым сыном. Дома оставались пятнадцатилетний брат, взрослая сестра Мария с дочкой Паной и две бабушки. Тревога за жизнь сыновей, работа в поле и по хозяйству в доме тяжело ложились на плечи отца и матери.

Наступил момент отъезда, простился с матерью. Она тихо плакала, молчаливо и скорбно стояла у крыльца дома и смотрела нам с отцом вслед, пока не скрылись мы и наши сани за поворотом у церкви. Так началось мое первое путешествие в далекие края на турецкий фронт.

Я вовсе не думал, что могу погибнуть на войне. Война представлялась мне романтическим подвигом. Сколько потом, в первые дни и месяцы было раскаяний, но возврата оттуда не могло быть — широки двери в ад войны и узки из ада.

В Самаре простился с отцом, купил билет третьего класса до Баку, где я должен был еще застать брата Александра, и пятнадцатого декабря пятнадцатого года выехал из Самары через Пензу, Ртищево, Тихорецк, Дербент. Поезд в Баку пришел поздно вечером. Я не знал, где ночью найти воинскую часть брата, и решил до утра переночевать в гостинице. Сдал чемодан в камеру хранения. Нанял извозчика из нацменов и вместо гостиницы ошибочно сказал ему — вези меня в номера переночевать. Вижу, что повез он меня куда-то на окраину города — я начал беспокоиться и снова ему объяснять, что мне надо эту ночь спать — тогда он понял меня точно и повез в центр города в те номера, где спят, а не туда, где развлекаются. В одной из гостиниц оказался свободный номер, а когда служитель спросил у меня паспорт, то оказалось, что я вместе с багажом сдал его в камеру хранения. Тогда он, видя мою неопытность, до утра разрешил переночевать без паспорта.

Рано утром пошел искать часть брата, там мне сказали, что он с частью выехал в Карс. С унылым настроением пришел на вокзал. Надо было ехать в Тифлис, о чем писал мне брат еще домой, если не застану его в Баку, и там в Тифлисе обратиться к воинскому начальнику для поступления на службу вольноопределяющимся. Билет у меня был взят только до Баку, а доехать до

Тифлиса на билет денег почему-то не хватало. {Но я слышал, что можно проехать «зайцем» за небольшую плату кондуктору вагона}. Вышел из вокзала на перрон. Вижу, стоит пассажирский поезд на Тифлис. Скажите — обратился я к кондуктору, стоящему у одного из вагонов — мне надо ехать в Тифлис, а денег на билет не хватает, не можете ли меня довезти? И его добрая душа ответила: можно, {заходи в вагон, провезу, дал мне какой-то дырявый билет, и я благополучно за рубль доехал до Тифлиса.

Там на Московской улице в доме тринадцатом зашел к хозяевам квартиры, где раньше жил брат Александр. Пожилые хозяева, муж и жена, приветливо меня встретили и разрешили у них остаться пожить до моего оформления через воинского начальника города Тифлиса и поступления добровольцем в Армию}.

Когда я пошел к воинскому начальнику для оформления поступления вольноопределяющимся и сдал документы, то через час мне их вернули, за неимением справки от Самарского губернатора о политической благонадежности. У меня имелась только справка о поданном заявлении Самарскому губернатору. Несколько дней я ходил к воинскому начальнику, и каждый раз мне отказывали, как будто я к ним в гости напрашивался, а не на бойню людскую. Наконец все же документы приняли и зачислили, {когда я сказал, что мой брат уже служит в армии}. Через два часа вышел к нам в ожидальню, где в этот день было принято несколько десятков таких же, как я, конвоир-фельдфебель, сделал перекличку и отвел нас в двести восемнадцатый запасный стрелковый полк на окраину Тифлиса Навтлуг. По свое простоте и чистоте я полагал, что никакие препятствия не могут быть на моем пути к поступлению вольноопределяющимся, но в жизни оказалось не так. Желания, мечты и грезы дают человеку стимул к жажде жизни, но часто, как дело доходит до действительности, желания, мечты и грезы превращаются в ничто, и героика заменяется нудной, серо-будничной жизнью казармы.

На второй день одели всех новичков в шинели, дали винтовки, и началось ученье строевое, полевое, боевая стрельба по мишеням, колотье штыком соломенных чучел, изучение механизмов винтовки, пулемета и пушки, изучение полевого и строевого устава, чинопочитания и прочей премудрости военной науки. А по вечерам повзводно выводили на плац казармы, строили вкруг

и под ногу, с топтанием на месте, под руководством и по команде ефрейтора разучивали и горланили солдатские песни. Кормили в полку хоть и однообразно, но сытно.

Через неделю, еще не разобравшись как следует в чинопочитании, я и еще один волонтер из армян пошли в воскресный день навестить его тифлисского родственника. Мы пробирались окраиной города, где меньше встречается всяких чинов, чтоб избежать с ними встреч и отдания чести. Через некоторое время нас останавливает священник. — Какой части? — мы сказали. Разве не знаете, что я ваш полковой священник, почему не отдаете мне честь? А мы еще ни разу у себя его не видели. Предупредил нас, чтоб в будущем отдавали ему честь.

Через месяц после поступления в полк пришлось пережить дикое бесчеловечное оскорбление от взводного, старшего унтерофицера Сальникова, отъявленного пьяницы и взяточника. У каждого солдата он вымогал взятки, а кто не догадывался дать — тем, как говорится, житья не давал и придирался по всякому поводу и без повода по принципу «для начальства и беззаконие закон», и в то же время применял отборнейшую нецензурщину. Мы очень завидовали солдатам соседнего взвода, где взводным был старший унтер-офицер Климушкин, который к солдатам относился с человеческим достоинством.

Как-то возвратившись в казарму после учебной стрельбы из винтовок, я, как и все другие, вычистил винтовку и поставил ее в пирамиду. Пообедал и, пристроившись на сундучке на нарах, начал писать письмо к родным.

Вдруг подошел Сальников с красно-сизым пьяным свирепым лицом и сиплым пропойным голосом рявкнул: «Почему винтовку не вычистил?» – и моментально сбросил на пол бумагу, ручку и чернильницу, забрызгав чернилами одежду и нары. Я ответил, что винтовку вычистил, но Сальников, обругав меня, пошел в конец казармы в свою отдельную комнату-кабину. Такое хамское отношение всех нас возмутило и, конечно, больше всего меня. Мы добровольно пошли на защиту Родины, и вдруг с нами поступают, как с врагами. Товарищи посоветовали заявить жалобу ротному командиру, прапорщику из армян, и я пошел к Сальникову, по уставу, заявить через него и на него же жалобу ротному командиру. {Пришел в его кабинку и отрапортовал: «Господин

взводный! Доложите командиру роты, что я имею на вас жалобу!»}. Вначале глаза его позеленели, полезли на лоб, лицо приобрело свирепое выражение бульдога. Несколько секунд он молча, как удав, пожирал меня глазами, а потом гаркнул: Что?! На меня жаловаться?! Я ответил: «Да, на вас». Он тут же мне рявкнул — Кругом марш!

На второй день, в послеобеденный отдых дневальный по роте закричал: Трудников к взводному! Я быстро встал с нар и вижу перед собою ротного и рядом с ним Сальникова. В чем ваша жалоба? — спросил ротный. {Я рапортую: «Поступок взводного старшего унтер-офицера считаю несправедливым!»} и изложил обстоятельства жалобы. Он молча слушал и, когда я закончил, сказал: «Десять часов под ружье». Это значило, что после занятий, во время послеобеденного отдыха я должен был отстаивать пять суток по два часа с винтовкой на плече, вещевым мешком с полной выкладкой, по стойке «смирно» — не шевелясь. Как кипятком ошпарило меня несправедливое решение ротного, возмутило и оскорбило во мне лучшие чувства.

Но я продолжал верить, что если не здесь, то там, на фронте найду товарищеские, человечные взаимоотношения, где дух патриотизма роднит всех и объединяет в единую семью. И я решил проситься на фронт, а если откажут, то просто сбежать с маршевой частью, идущей на фронт. Тогда я не знал, что у людей, имеющих власть, развиваются чаще звериные инстинкты, чем человеческие.

А пока что я отбывал в послеобеденный отдых наказание и, конечно, очень трудно было бы точно и полностью выстоять столбом, когда через час начинало деревенеть все тело. Но так как из начальства никто не захотел наблюдать за выполнением наказания, то приказали дневальному ставить меня под ружье и снимать, то есть своему же собрату солдату. И он снимал меня не через два часа, а через полчаса стояния, а в наряде отмечал, что я отстоял полностью два часа.

Я начал раскаиваться в добровольном поступлении на службу в армию, но назад возврата не было, да уж и мой год начали призывать. А вскоре неожиданно пришло распоряжение направить всех вольноопределяющихся в Горийскую школу прапорщиков,

в том числе и меня. Так и остался я в долгу перед местным начальством, не отстояв еще шесть часов под ружьем.

В Горийской военной школе отношение начальства к нам резко изменилось. Называть стали на вы, так как здесь нас готовили на младших офицеров — прапорщиков. {Обер и штаб-офицеры вели с нами классные и полевые занятия по военному делу.

Город Гори расположен в горном ущелье по реке Куре, город грязный, с одноэтажными домами и кустарной промышленностью. В ясные солнечные дни вдалеке виднелись вершины гор Эльбруса и Казбека лилово-розового цвета. Из Гори письма к родным и Тане писал более оптимистические, но без какого-либо патриотического энтузиазма}.

В Горийскую школу приезжал ко мне с фронта повидаться брат Александр уже в чине поручика. {Прощаясь со мной, он сказал: будешь на фронте — сзади не отставай и вперед не лезь!}. Тогда ни он, ни я не знали, что это последнее наше свидание, что потом пройдут многие десятки лет, и мы не сможем встретиться. Я уже говорил, что брат попал в плен и обосновался в Югославии, там обзавелся семьей и по настоящее время здравствует на второй своей родине. И теперь я говорю: Да здравствует космополитизм! — место человека на Земле должно быть повсюду без границ!

От Тани письма вначале я получал часто, но с отъездом в действующую Кавказскую армию переписка становилась реже. Письма шли подолгу. Таня писала в каждом письме, о чем пишет влюбленная девушка — о бесконечной любви, преданной и зовущей к неизведанному счастью — от чего еще сильнее создавалось отвращение к войне и службе, а Таня становилась еще милее. Из дома каждое письмо было почти одинаковое — печаль и скорбь о нас, пятерых сыновьях, и то, что пока всех бог хранит.

По окончании Горийской школы прапорщиков я получил назначение в формирующийся полк в Александрополе, но вскоре перевели в этапно-транспортный отдел Кавказского фронта, где получил назначение командиром военного конного транспорта, по снабжению фронта боеприпасами и продовольствием.

В течение двух лет транспорт следовал за фронтом. {Побывал в Саракамыше, Гасан-кале}, Эрзеруме, Байбурте, Трапезунде, затем Джульфе, на озере Урмия. Два-три раза приезжал в длитель-

ные командировки в Тифлис для пополнения транспорта и, отдавая дань молодости, флиртовал в Александрополе с девушкой Марусей армянкой, а в Тифлисе с грузинкой Миной Джоржадзе. Но знал, что меня ждет Таня – флирт был несерьезный.

Война на турецком фронте шла с неизменным успехом русских войск. {Русские войска глубоко зашли вглубь Турции и Персии, как будто мало было земли в России. В Турции и Персии жизнь еще тяжелее, дичее и беднее, чем в России}. Население оккупированных нами районов, обобранное вначале турецкими реквизициями, а потом русскими, относилось к нам сдержанновраждебно, замкнуто по житейской мудрости: «не все ли равно, чья палка бьет». Своя или чужая — одинаково больно и оскорбительно. Палка и кнут интернациональны! [...]

Железных дорог нигде не было, и редко встречались шоссейные, кажется, одна и была Эрзерум – Байбурт – Трапезунд, а поэтому вся наша и турецкая армия снабжались колесным, а в горах конно-вьючным транспортом, и в небольшом количестве автомобилями, где можно было проехать. Наши саперы по мере продвижения наших войск строили шоссейные дороги. Как-то в Байбурте я, как и всегда, ехал верхом на лошади и случайно встретился с братом жены моего двоюродного брата Мусатова Вани, с Крючковым Андреем, с которым раза два встречался в Старом Буяне. Увидел навстречь идущего унтер-офицера, лицо его показалось мне знакомым. Остановился и спрашиваю – какой губернии, волости и села – он точно ответил, но меня не узнал, пока я не назвал себя. Пригласил его к себе в часть, что в двадцати верстах от Байбурта, а он работал писарем в какой-то стоявшей в Байбурте части. Написал записку его командиру, чтоб он отпустил его как родственника повидаться со мною. На следующий день приехал Андрюша ко мне и два дня гостил у меня, и только потом, через много лет мы встретились на свадьбе Мусатова Шуры в Старом Буяне, когда [Андрюша] работал бухгалтером в ресторане «Националь» в Самаре, а я уже работал врачом.

Мы догнали фронт за Байбуртом и включились в снабжение фронта. Турецкий фронт по сравнению с западным был более легким: ни разу турками не прорывался, войска не окружались, и почти не было отступлений наших войск. О России доходили до нас сведения неясные, туманные, но всеми предчувствовались

надвигающиеся великие события. Однако фронт не останавливался, а двигался вперед победоносно. Через четыре месяца триста километров прошли походным маршем до Трапезунда и обосновались в местечке Платана близ города.

[Там я сдружился с] Тарасовым Василием Иосифовичем из Сочи, старше меня лет на десять, который выполнял в транспорте должность делопроизводителя и кассира. Вместе мы ели, пили, вели задушевные беседы, играли в карты, ящиками покупали апельсины и ели их, как едят крестьяне картошку — так они были дешевы.

Если в северной части Турции дожди идут вперемежку со снегом, то в районе Трапезунда в декабре в садах и лесу зреют лимоны, апельсины, и стоит такая теплая погода, что я и солдаты купались в Черном море, тогда как там, в Самарской области, давно уж все реки были скованы льдом.

Я впервые встретился с морем. Его вольность, простота, мощность и величие очаровали и захватили меня. Какая прекрасная стихия! Она зовет и манит к вольности духа и тела. Особенно прекрасно море на второй день после шторма. Ясное тихое теплое утро, ослепительно ярко светит солнце, волны стройными грядами, где-то рожденные в необъятных просторах, мерно и плавно, одна за другой идут и подходят к берегу, клубясь, с шумом скатываются обратно в море, навстречу идущим собратьямволнам, снова поднимаются и, клубясь, выходят на берег, и, глухо шумя, уходят в море.

Вот тогда-то захватывает море сердце и душу! Что-то неотразимое влечет к нему, пугает и в то же время манит к себе неизведанными чувствами. Я въезжаю в море верхом на лошади по колено, во время отлива волны, но вот набегает волна и почти до самого седла заливает мои ноги. Лошадь тоже чувствует его мощь и пугливо вздрагивает мелкой дрожью. Постояв так несколько минут, выезжаю на дорогу, и оба мы – я и лошадь благословляем твердь земли.



Весной семнадцатого года мой транспорт расформировали ввиду больших потерь в конном составе, а меня командировали в Тиф-

лис за получением нового конного транспорта. От Трапезунда до Батума ночью шли на военном морском транспорте — пароходе, со всеми предосторожностями от нападения турецких подводных лодок. Рано утром пришли в Батум. Осмотрел город на извозчике и выехал в Тифлис, в этапно-транспортный отдел, где получил месячный отпуск и отправился домой в Старый Буян. Проезжая по тылу страны, я видел и слышал разливающееся революционное бурление народа. Армия еще молчала, но в стране шло пробуждение к новой светлой жизни: изгнанию помещиков и фабрикантов, всех эксплуататоров, и к передаче всех богатств в руки тех, кто их производит.

Когда приехал в Старый Буян, то увидел земли помещиков уже в общинном владении крестьян — осуществилась заветная мечта о земле, хлебе и воле.

Таня Разумовская с нетерпением ждала окончания войны и моего возвращения, чтоб быть вблизи друг друга. Нужно ли говорить, что отец и мать, как и все матери и отцы, ждали возвращения своих детей домой!

Через две недели я выехал в обратный путь. Заехал повидаться с братом Васей в эвакогоспиталь близ Самары, где он служил фельдшером. Он мне рассказал, что незадолго до моего приезда у него получился конфликт с начальником госпиталя из-за романа с медсестрой. Теперь начальник госпиталя собирал и оформлял материал, чтобы отдать его под суд. Я уже знал по себе, что у начальства и беззаконие — закон, и предложил брату уехать сейчас же со мной в мою часть, в Кавказскую действующую армию, где искупятся все мелкие прегрешения близостью фронта, к тому же у меня, как командира отдельной части, имелись с собою бланки с печатями.

Договорились, что на следующий день брат соберется и приедет ко мне в Самару, где мы и встретимся на квартире общих знакомых. И точно, брат приехал — вернее, сбежал ранним утром из зоны госпиталя, когда еще начальство спало, и мы знали, что теперь брату еще и дезертирство припишут. Здесь в Самаре сходили повидаться и сфотографироваться с общим другом Ваней Николиным. В одной из гостиниц Самары я заполнил бланк своей части, что брат является фельдшером моего транспорта и возвращается в часть из отпуска.

В Тифлисе узнали, что мой транспорт сформировали и отправили через Персию в направлении Урмийского озера. Из Тифлиса выехали по железной дороге. Так были переполнены вагоны, что пришлось устроиться в коридоре вагона, где мы тут же крепко уснули на своих чемоданах, и так крепко, что не слыхали, как прорезали под нами чемоданы и вытащили часть вещей. Поездом доехали до озера Урмия, а дальше путь предстояло проделать на пароходе через озеро Урмия и дальше до транспорта подводами.

Нам сказали, что в озере вода так плотна от солей, что в нем человек не тонет. Мы с братом решили искупаться и, действительно, в воду тело погружается только наполовину, и не было возможности «утонуть». А когда вышли из воды, то кожа вскоре покрылась тонким слоем кристаллов соли.

Переехали Урмийское озеро, а невдалеке оказалось и расположение моего транспорта. Я принял командование им и зачислил брата фельдшером транспорта, но вскоре его попросили перейти работать фельдшером в полевой артиллерийский парк.

Из переписки с товарищами брат узнал, что его там, в госпитале объявили дезертиром. Тогда я по озорству телеграммой запросил начальника его госпиталя, чтоб выслали мне в часть аттестат на довольствие брата. Аттестата они, конечно, не прислали, да в нем никто и не нуждался.

В марте семнадцатого года наступление русских войск на Турецком фронте приостановилось. В частях армии начали создаваться солдатско-офицерские советы, а в октябре началось всеобщее отступление — отход всей кавказской действующей армии согласно перемирию, заключенному с Турцией Советским правительством по принципу «мир без аннексий и контрибуций».

В частях начались демобилизации. Все военное имущество, склады и прочее остались на месте. Мне приказали солдат транспорта демобилизовать, а транспорт со всеми лошадьми и имуществом сдать бригадному командиру, что я и сделал, и выехал вместе с солдатами в Тифлис в распоряжение этапно-транспортного отдела. Брат же демобилизовался и выехал в Россию раньше меня.

Гуляя в Тифлисе по Головинскому проспекту, я встретил поэтов Сергея Городецкого и Бальмонта. За ними шла толпа поклонников — присоединился и я к ним, и вместе с ними зашел погулять в парк дворца бывшего наместника Кавказа. В Тифлисе бурлила революция. Бесконечные бесчисленные собрания, митинги, заседания. Все пришло в движение — революция расковала свободу мысли, слова, печати, собраний. Человек почувствовал себя человеком, уничтожив власть царя и его сподвижников — угнетателей и эксплуататоров. Но надолго ли? Уж слишком много появилось партий, жадных до власти, угнетения меньшинством большинства.

Старая власть пала, новая еще не созрела и не озверела, а потому каждый жил и чувствовал себя вольным и независимым. Народ торжествовал в познании самого себя.

Наконец-то исполнилось мое желание — я демобилизовался и выехал домой в Старый Буян на подводах по Военно-грузинской дороге от Тифлиса до Владикавказа. Вместе со мной ехал писарь из армян, а их почему-то горцы преследовали, да еще русских казаков, и чтоб спасти этого солдата-армянина, я заранее написал на запасном бланке, что он солдат моего транспорта с греческой фамилией, демобилизовался в Армавир домой. И тем спас его от задержания в горах Кавказа горцами-осетинами.

По пути от Владикавказа до Самары бурлила революция, свобода пьянила всех. Поезда переполнены, часто вместо двери приходилось лазать через окна вагона. Ехали на крышах, паровозах, но все чувствовали себя величаво, торжественно, с гордо поднятой головой и ясным взглядом. Люди стали какими-то светлыми – ведь рухнул, сгнил трехсотлетний гнет царей Романовых.

И вот я в Старом Буяне. Братья Вася, Дмитрий, Павел уже дома, не убиты, а ранения в счет не идут. Четыре брата снова съехались в доме отца, только не было Александра, и не знали, где он. Отец и мать, и все мы рады были встрече, а ведь потом к осени снова будем разъезжаться кто куда. В это лето восемнадцатого года в Старый Буян вернулись из армии Федя Карташев, Володя Поляков и другие товарищи. На радостях погуляли до осени, а потом их призвали в армию Комуча, и они на многие годы потерялись в Сибири.

РЕВОЛЮЦИЯ

По приезде домой в Старый Буян я и мои товарищи Милохов Вася, Карташев Федя, Евсеев {Митя} и Большаков Ваня решили организовать коммунистическую общину. Рассчитали, что удобнее взять в волостном земельном отделе два гектара земли и засеять ее просом. Земельный отдел охотно отвел нам землю. Произвели пахоту, посев, прополку, но к осени наша коммуна распалась: одни были призваны в армию, другие поехали продолжать учебу. Посев пришлось убирать нашим семьям на равных общинных началах.

В этом же восемнадцатом году произошло окончательное становление моего экономического, политического и морального понимания жизни прошлой, настоящей и будущей. В этом отношении моему развитию помог мой двоюродный брат Большаков Павел.

В жизни он прошел «огни и воды и медные трубы». Вначале учился в Вольской учительской семинарии, из которой был исключен с третьего курса за оскорбление священнослужителя семинарии. Поступил в Самарскую фельдшерскую школу и был исключен за непосещение лекций, тоже с третьего курса. Затем лет пять служил счетоводом у сахарозаводчиков на Украине. Несколько лет вместе с Бариновым Егором ездил на заработки в Астрахань, Украину. Вернувшись из армии, занялся садоводством и огородничеством в своем приусадебном участке в доме родителей. Старше меня на пятнадцать лет, а потому и больше видел и знал жизнь. В армии семнадцатого года участвовал в армейских солдатских советах и там постиг разные политические партии, и по душе ему пришлись крайне левые. Приехал домой с установившимся политическим направлением.

У меня же оформленного идейного направления еще не имелось, и вот, разбирая партийные программы, он посоветовал мне съездить в Самару и там купить политическую литературу всех

партий и в особенности рекомендовал литературу крайне левых направлений.

Съездил в Самару, набрал много разной политической литературы, и из всей путаницы по душе пришлось единственное ученье, крайне левое – безвластное. Так Павел указал мне истинный путь, маяк к той жизни, к которой инстинктивно стремится всякое живое существо, а тем более Человек с большой буквы. После, уехав в Самару, я посещал все клубы, лекции и диспуты разных партий и окончательно укрепился в своих убеждениях. Одновременно этим летом я готовился поступать в медфак, двери которого широко открыла Октябрьская революция.

Еще в армии, с первых дней во мне началась переоценка ценностей — отрицательное отношение к войне, службе, ее жизни и быту, бессмысленности и преступности массового истребления людей. Это сознание зрело во мне все годы службы в армии. Хорошо, если я успею выстрелить в турка, а если он опередит меня, направит дуло ружья в меня и прямо в рыло — пожалуй, тогда и скажешь, что всякая государственная война является звериным наследием рода человеческого.

По приезде в Старый Буян наши отношения с Таней стали омрачаться тем, что ей хотелось выйти замуж, а мне учиться, чтоб иметь путевку в жизнь. Это охладило наши любовные отношения, да к тому же я был увлечен познанием революционного движения.

* *

Восемнадцатый год. Рабочие, крестьяне, все труженики торжествовали — они стали хозяевами земли и всех богатств, созданных ими самими. В селах и деревнях с исчезновением помещиков начали исчезать и бедняцкие хозяйства.

В это лето в Старый Буян съехалась почти вся учащаяся до войны молодежь, и поскольку наше будущее определялось жизнью и работой вне крестьянства, то нас учащихся к планомерной работе в поле не неволили.

Революция 85

В нашем Старобуянском обществе учащихся были две сестры Соколовы, две Пономаревы, Каменские Валя, Шура и Рая, Полякова Клавдия и другие. Беззаботно, весело собирались и затевали разные игры, ходили в лес, на Кондурчу, жгли костры, участвовали в любительских спектаклях в бывшем ремесленном училище «на горе». Наши отношения – девушек и ребят – были по-тургеневски чистые и равные во всем. Были, конечно, и взаимные влечения одних к другим, но они сдерживались тем, что надо сначала учиться, а потом уж в будущем, по получении путевки в жизнь любить и жениться.

Дорогая, светлая юность! Ты соловьем залетным пела мне свои чудесные песни о жизни, о любви к ней, к людям, о вере в светлое и неведомое будущее. Но отшумели годы юности и зрелости, и мало что осталось от того, во что верил, чему поклонялся и восторгался: все уничтожилось бытом жизни. Вера и надежда, любовь, равенство экономическое и политическое оказались мифом! «Все за каждого, но каждый за себя». Так закон животный одержал победу над всеми идеями экономическими, политическими и моральными и на этот раз — ведь всякая власть зиждется на животном законе Дарвина. [...]

* * *

Брат Вася вскоре уехал работать фельдшером под Мелекесс в Тиинскую участковую больницу, а через месяц в августе я поехал к нему повидаться. Возвращаясь пароходом от него домой через Самару, я познакомился на палубе второго класса со старшиной так называемой Народной армии Учредительного собрания, едущим в отпуск в Алексеевку за Кинелем.

{Какой-то хорошо одетый казанский купец читал невдалеке от нас, сидящих на скамейках палубы, газету, а мы мирно беседовали и осуждали гражданскую войну, ведущуюся против большевиков}. В то время оба мы были уверены, что власть большевиков стоит ближе к народу, чем все другие. Купец услышал наш разговор и указал на нас казачьему офицеру, ехавшему на пароходе. Офицер, в белых погонах капитана на серой черкеске, два

раза прошелся мимо нас, гуляя и косо на нас поглядывая. Я одет был в защитного цвета блузу, а старшина в военную летнюю форму солдата.

Сравнявшись в третий раз с нами, остановился и резко, повоенному гаркнул: «Ваши документы, голубчики!». Мы предъявили документы, и он тут же предложил нам следовать за ним к коменданту парохода. Впереди этот капитан и коммерсант из Казани, а мы идем сзади за ними. Входим в комендатуру. За столом сидит в военной форме поручик - комендант парохода. Тут же купец начинает с пеной у рта говорить, что «эти двое ввели агитацию против существующей власти, а мы, казанское купечество, отдаем все силы на борьбу с большевиками, у меня два сына в Народной армии». Мы, растерявшись от неожиданности, молчим, но у моего сотоварища от волнения на щеках появились ямочки, {и лицо приняло смеющееся выражение}. Комендант тихо и спокойно нас спрашивал. Тут же находился белопогонный офицер. Если комендант не обратил внимания на ямочки на щеках, то казачий капитан, глядя на нас в упор, гремел: «Если бы вы мне попались на Урале, то я знал бы, что с вами сделать! Вы еще смеетесь!». Ведь бывает такое природное устройство лица с ямочками, это было принято за насмешку и вызвало поток ругани офицера в черкеске с Урала. Комендант не проявлял никакого рвения к нашему допросу. Он предложил купцу написать на нас показания. Купец на клочке бумаги карандашом дал на нас показания в шесть строчек. Я успел его показания прочесть. Он писал не совсем грамотно, что эти граждане вели между собою агитацию против существующей власти и против Народной армии.

Действительно, мы негромко говорили о том, что в гражданской войне идет истребление Народной армией своих же собратьев, что войну вести против большевиков не надобно, что сейчас хорошо живется только торгашам-спекулянтам, и прочее тому подобное. Комендант сделал только опрос — паспортное оформление — для передачи нас на дознание в другую инстанцию. Вызвал конвой. Явились два солдата чеха. Нас обоих арестовали и отвели в каюту-камеру третьего класса, заперли на замок, поставив у двери часового-чеха.

Революция 87

Я лег на нижнюю полку, а старшина на верхнюю, и каждый из нас думал невеселую свою думу. Красная Армия успешно наступала на всех фронтах Поволжья. {Была взята Казань, из Самары начали эвакуировать тыловые части Белой Армии}. Было объявлено военное положение в городе и губернии. Время тревожное: ни за что, ни про что посадят в тюрьму и могут даже расстрелять. В камере-каюте мы договорились сказать на следствии, что действительно у нас имелся разговор только в отношении спекулянтов, что власти не могут с ними справиться, а ни о чем другом у нас не было разговоров.

Наш арест произошел по пути от Симбирска до Самары против Ширяева. Мысленно мы оба ожидали печальной участи судьбы своей. Я был холост и легче переживал свое несчастье, тогда как сотоварищ мой был женат, имел молодую жену и двоих детей и был старше меня лет на пять. Потому печаль его была глубже, тяжелее моей. Да, трудно определить, чья скорбь тяжелее: на весах ее не взвесишь.

Я поначалу думал о том, чтоб только мать моя и отец не узнали о случившемся со мной, только бы они не мучились и не страдали за меня. Часа через три³³ пароход причалил к пристани Самары. Дверь каюты-камеры открылась, и нас под охраной двух конвоиров-чехов повели сдавать коменданту пристаней на водный вокзал.

Там уж находилось задержанных еще человек десять-двенадцать. Когда комендант речного вокзала стал сдавать нас всех под расписку конвою — я спросил его: Как наше дело? — Ваше дело хуже всех, — ответил он. Затем всю группу, под конвоем {семи} чехов, повели и сдали в штаб контрразведки, где беспрерывно заседал военно-полевой суд, в бывшем доме Курлиной, на углу Красноармейской и Фрунзе. Там произвели допросы, и тут же вскоре полевой суд вынес приговоры.

Спасло меня, да и сотоварища моего в этом деле, прошлое мое военное подпоручика звание по службе в армии Первой мировой войны и то, что предстоял призыв в Народную армию моего года, и я был уже взят на учет, как подлежащий призыву в скором вре-

³³ ПТ: «часов через шесть». Исправлено по ТР.

мени. Я был допрошен и, зная, что между комитетом Учредительного собрания и военным штабом идут раздоры о власти, добавил, что сочувствую правым эсерам. Все это спасло меня от дальнейших репрессий — следователь сходил в соседнюю комнату, вышел оттуда через десять-пятнадцать минут и объявил, чтоб меня охрана при выходе пропустила. Допрошен я был первым и до сих пор не знаю участи моего сотоварища. Боясь, что мой сотоварищ может на следствии запутаться, я по выходе из контрразведки на ходу впрыгнул в проходящий вагон трамвая, доехал до {Хлебной площади³⁴}, спустился к волжским пристаням местной линии и уехал пароходом {до Царевщины и оттуда пешком} в свое село в дом отца.

Потом, более чем через двадцать лет, когда очутился по сталинскому набору в «Святейшем его синоде» — мне было предъявлено обвинение и в том, почему я был отпущен из чехословацкой контрразведки Учредительного собрания? С каким заданием отпустили, кем был завербован? За сколько и кому продался? Почему не попал в поезд смерти и не был расстрелян?! Так рассматривали мое освобождение подручные сталинские сатрапы.



Осенью этого года {с моим первым учителем анархизма и коммунизма Павлом Большаковым} пришлось расстаться. Через Старый Буян проходил красный кавалерийский отряд, он добровольно мобилизовался на должность фельдшера отряда, и с тех пор я с ним не встречался. Были слухи, что он от сыпного тифа умер гдето под Уфой 35 .

В этом же году мобилизовали в армию Комуча Федю Карташева, Володю Полякова и других моих товарищей. В тот же год ушли добровольцами мой брат Петр и Хр[ен]ов Василий в про-

³⁴ ПТ: «Ленинградской улицы».

³⁵ ТР: «ушел добровольцем на восточный фронт и там погиб в бою, о чем стало известно через много лет, по окончании гражданской войны». В ТР уход Павла датируется началом 1921 года.

Революция 89

ходивший через Старый Буян полевой трибунал Инзенской дивизии, и этим же трибуналом были арестованы и расстреляны за Красным Яром Миронов Павел и Слесарев — зав. ремесленной школой. В дальнейшем оба добровольца бесславно и досрочно закончили свою жизнь по воле тех, за кого боролись.

Мобилизовали и меня — в армию Комуча, но того не знали, что у них я служить уже не мог, как это было в начале мировой войны. Когда власти мобилизуют, о желании не спрашивают. Власти требуют от человека и общества верить в будущее, как будто человек и общество сегодня хлебов не хотят, а только завтра — в будущем. Но сами благодетели хлебы едят сегодня, а не завтра в будущем, как это проповедуют человеку и обществу. Народы же терпят такое людоедство властей до поры до времени, а затем восстают. [...]

Итак, летом восемнадцатого года меня мобилизовали. Из канцелярии воинского начальника направили в офицерскую роту вновь формируемого запасного полка, в казармы на окраине Самары. С первого же дня я увидел и услышал в полку подавленное нежелание воевать ни с чужими, ни со своими рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Пробовал сдержанно агитировать на дезертирство, но никто не соглашался, боясь тяжелого наказания.

На квартире временно остановился у родственницы, [Фени] Чеплановой, в доме Челышева, где она работала много лет прислугой у Гладыш. Оставаться на военной службе я не мог по своему глубокому убеждению в бессмысленности принудительных войн и на седьмой день службы из полка уехал — дезертировал — к себе в Старый Буян, с тем намерением, чтоб осенью поступить и продолжить учебу в Самарском медфаке. Домашним сказал, что меня от военной службы освободили.

Снова принялся читать и изучать учение Бакунина, Кропоткина, Прудона, Цоколли, Себастьяна Фора и других светочей человечества. Все же другие партии с их принятием государственной власти уже противоречили моему пониманию свободы, равенства и братства.

В домашнем и полевом хозяйстве отец с братом Дмитрием справлялись одни и в моей помощи не нуждались, а осенью предстояла поездка в Самару на учебу. Поэтому днем читал, а на ночь уходил рыбачить на Кондурчу.

В один из теплых августовских вечеров я и двоюродный брат Павел поставили сеть и переметы, наловили бреднем рыбы для ухи, набрали сучьев и готовились к отрадному отдыху за ухой у вечернего костра на берегу Кондурчи. Чувствовалась общность с Кондурчей, с дубравой по правому берегу и бором по левую, с темно-голубым небом, звездным миром и звенящей ночной тишиной.

Вдали послышался стук колес, постепенно он становился громче, а через две-три минуты подъехал на тарантасе брат Дмитрий и сообщил, что от тети Фени получено из Самары письмо, в котором написано, что к ним приходил конвой и разыскивают меня, и, наверное, будут искать и здесь в Старом Буяне в доме отца.

Я понял, что в Старом Буяне дольше оставаться нельзя. Простился с Павлом и в мрачном состоянии духа поехал с братом домой. По дороге к дому решил уехать в Самару, а в сентябре начать науку. Паспортов и военных билетов в то время не было, а потому никто не мог знать, обязан ли я служить в армии.

Дома ждали меня встревоженные отец и мать. На семейном совете решили — уехать мне в Самару, и как можно быстрее. В эту ночь я и мать не спали. Я думал о своей судьбе, а она собирала белье, пекла подорожники. Я слышал, что отец тоже не спит, часто встает и выходит во двор. Мне вдвойне было тяжело за себя и родителей, хотелось их избавить от страданий и самому избавиться от розыска. На рассвете мать закончила мои сборы, тихо вошла в переднюю комнату, встала на колени перед иконами и начала молиться.

Тихо губы ее шептали слова молитвы к несуществующему богу, с просьбой помочь ей в ее материнском горе, в ее и моей судьбе. Молилась страстно и искренне, то склоняла голову к земле, то снова лицом обращалась к потемневшим ликам святых и шептала им вдохновенно слова любви, веры и надежды. Свет лампады смутно освещал лики святых и медное распятие Христа, и на ее скорбную мольбу скорбно смотрели очертания святых, еще глубже делалась скорбь матери, но в то же время она обретала веру и надежду на божью помощь, и это давало ей духовную силу преодолеть печаль и несчастья. Это я хорошо знал с детских

Революция 91

лет, видел и понимал, что вера матери является утешением ее в скорбях и печалях жизни, которых так много у каждой матери. Она не знала и не могла знать, что бог творенье человека. Она свято верила в жизнь на том свете по смерти, в этом была ее духовная основа, надежда и утешение в горестях и печалях земли, где до сих пор миром правит не добро, а зло, где в жизни каждого человека и семьи больше тягостных, чем отрадных дней и лет.

Рано утром до восхода солнца отец вышел во двор, запрягать Гнедка в тарантас. Мать хлопотливо начала собирать на стол завтрак, но так рано есть никому не хотелось, да и тревожное состояние к завтраку не располагало. Со двора в дом взошел отец, брат Дмитрий стал собираться в дорогу, отвезти меня до Курумоча на пристань. Собрался и я. Мать — губы ее заметно вздрагивали, заблестели слезы на глазах. Отец взволнованно ходил по дому и двору, как будто что-то искал потерянное, но очень нужное. Тяжелее становилось с каждой минутой, и я сказал: — Что же, поедем, Митя! Мать подошла, благословила, и я не отверг ее веру — это последнее ее утешение на закате лет ее жизни. Пусть она унесет с собою эту свою святую веру, облегчающую ее душевные страдания.

Вышли во двор, сели в тарантас. Отец отворил ворота. Мать стояла на крыльце, скрестив руки на груди, стояла неподвижно и неотрывно смотрела печальным прощальным взглядом на нас и на дорогу вслед нам до тех пор, пока мы не скрылись вдали. И я знал, что мать не одну ночь будет стоять перед образами икон и просить у бога защиты и милостей для меня и для всех своих семерых детей.

Мать верила в человечность каждого человека: малого, взрослого и старого. Бескорыстно и с душевной простотой и теплотой принимала в дом каждого и чем могла кормила и поила. Такие люди, как мать ближе стояли к практическому коммунизму, чем всякие политиканы, на деле живущие за счет хлебов других.

АНТИГОСУДАРСТВЕННИКИ

Брат довез меня до пристани Курумоч, простились, и вот я в Самаре. Поселился на той же квартире у Паляевых, где жил, когда еще учился в фельдшерской школе. Мы торжественно встретились с Васей Милоховым, и, как и ранее до войны стали жить вместе. А в начале октября в Самаре установилась Советская власть, Комуч был изгнан из Самары к Уралу. Мы в числе первых встречали победные отряды войск Чапаева.

С приходом Красной армии окончилась моя полулегальная жизнь. {С Васей Милоховым мы закончили подготовительные курсы и поступили на медфак Самарского университета}. Для детей рабочих и крестьян двери всех учебных заведений широко раскрылись, чего не могло бы быть при власти царей Романовых.

Наши хозяева квартиры, дедушка и бабушка Паляевы, были седы и стары. Шел восемнадцатый бурный год. Однажды, сумерничая у себя в комнате, мы услышали такой переговор между дедушкой и бабушкой за самоваром-чаепитием. Бабушка ходила на Воскресенский базар и делилась своими впечатлениями. Там на рынке она видела митинг, а в то время митинги «висячие» были на каждом углу, и вот она докладывала дедушке.

«Ходила я на базар, видела там митинг, а он старый, лысый, в очках, говорит и машет руками – пролетайте через все страны и кому где удобнее, и что бога нет! Вот господь бог руки-то и язык у него отнимет», – на что дедушка философски возразил: – «Ему, подлецу, сейчас бы руки-то и язык отнять надо, а то потом-то он и знать-то не будет, за что», и молча продолжил пить чай. Мы слушали и в спор не вступали, зная, что с их верой в бога они родились, жили и закончат дни своей жизни.

Для нас же чудес небесных не существовало, но не могло быть чудес и на земле. Мы уже не верили в то, что «кто-то» и «что-то» может помочь человеку и обществу, не захватив вначале лучший кусок хлеба для себя. Как бы они ни представлялись избавителя-

ми рода человеческого от всех зол земли, на деле «святые и пророки» нового революционного социального строя не могли уничтожить старое рабство без того, чтоб не создать новое рабство во имя своих земных богов.

До половины девятнадцатого года в Самаре всюду свободно продавалась революционная литература крайне левого направления. Читались массовые публичные лекции, устраивались диспуты в клубах и общественных местах на политические и религиозные темы, которые мы с Васей часто и аккуратно посещали в свободное от учебы время. {Мы посещали максималистов, большевиков, религиозные и антирелигиозные диспуты, реже ходили в театр}. Мы, конечно, оба были целиком в новом лагере и по своим убеждениям были не только с Октябрьской революцией, но даже впереди ее. Мы проходили школу всех политических партий, из которых анархисты как-то сразу нас очаровали ясностью и простотой. Они брали «быка за рога», а не за хвост, то есть разрешали экономическую проблему в первую очередь, тогда как все другие партии учили брать быка за хвост – начинать с политики. Нам стало ясно, что пока существует государство, будет существовать и экономическое неравенство, то есть эксплуатация большинства правящей партией или классовой аристократией. [...]

{Питанием, одеждой, жильем мы не интересовались совершенно. Мы счастливы были ученьем и посещением анархического клуба}. {В Самарском клубе анархистов познакомились с Сашей Оглоблиным, Гришей Паршиным, Костей Пономаревым, Васей Симаковым и другими учащимися}. Со многими я был в близкой дружбе и много дум заветных с ними передумал, и лучшими друзьями они остались на всю жизнь.

Одним из них был Котов из Кинель-Черкасска, бывший член Бугурусланского совдепа и партизан гражданской войны. Вместе учились и работали многие годы в Самаре, вместе ходили в анархический клуб, читали литературу, обсуждали, спорили об устройстве лучшей жизни для всех людей России и всего мира. Умер он в пятьдесят втором году, в то время, когда я находился в сталинском концлагере. Эту потерю лучшего друга по духу до сих пор тяжело переживаю. В дальнейшем я еще не раз буду говорить о нашей дружбе. Один из его сыновей работает врачом, другой мастером станкозавода.

* * *

С публичными лекциями в клубе выступали долгое время Николай Рогдаев³⁶ и Владимир Николаевич Поссе³⁷, предупреждая и доказывая, что покамест будут существовать какие-либо государства, будет существовать и эксплуатация человека человеком, будут богатые и бедные, угнетатели и угнетенные, одни будут жить в роскоши, другие в бедности, что и подтвердилось особенно ясно во времена Иосифа Кровавого.

Десятки лекций прочли Рогдаев и Поссе в здании театров: «Триумф», Художественном, и в клубах на рабочих окраинах. Оба они много лет находились в эмиграции, где были лично знакомы с семьей Владимира Ленина, владели европейскими языками, хорошо знали политическое движение европейских народов. Оба они были анархо-коммунистами. Взамен государственной машины рабства они предлагали всеобщие самоуправляющиеся советы самого народа, советы от низа вверх, а не сверху вниз, не барские советы государственного социализма и коммунизма.

Поссе — революционер, бытописатель, по окончании Казанского института работал участковым врачом в Нижегородской губернии, а потом стал литератором-революционером, в связи с чем ему пришлось эмигрировать за границу и возвратиться в Россию после свержения монархии. Нас студентов особенно поразила его лекция с личными воспоминаниями и характеристиками писателей — Горького, Короленко, Андреева, Достоевского, Чехова, Куприна и Толстого.

Например, Поссе рассказывал, что из эмиграции просил Горького принять участие в распространении революционной литературы в России, но тот отказался от этого предложения.

О Достоевском Поссе сказал: «Достоевский величайший психолог-писатель мира, он первый разрушитель веры в Бога, во всех земных идолов-кумиров». Поссе указал, в частности, на «Братьев

³⁶ Рогдаев Николай Игнатьевич (настоящая фамилия — Музиль, партийный псевдоним — «Дядя», «Дядя Ваня», Николай, «П. Орловский») (1880—1933), см.: http://socialist.memo.ru/lists/slovnik/117.htm.

³⁷ По-видимому, Владимир Александрович (1864–1940).

Карамазовых», где вера в Бога и государство разоблачена так ясно и просто, что, однако, идолопоклонники Бога и государства отрицают, возводя клевету на творчество и личность Достоевского.

В творчестве Короленко преобладает созерцание благополучия быта. В Чехове прогрессивная созерцательность и серьезность. {Андреев искатель правды}. В творчестве Толстого, Андреева, Куприна и Достоевского преобладает величайший революционный гуманизм — они близки и родственны по духу, мировоззрению. [...] О Горьком: «это поклонник силы, откуда бы она ни исходила».

Лекции Рогдаева и Поссе настолько всегда были убедительны и просты, подтверждаемы фактами жизни, что после их докладов не находилось ни одного оппонента от политиканов-государственников.

Так благодаря Октябрьской революции в сравнительно короткое время, в два-три года я теоретически стал законным атеистом и антигосударственником, а Советскую власть, по тогдашней еще наивности, рассматривал как переходную ступень-фазу в безгосударственный строй жизни общества в ближайшие годы.

По своей политической и экономической программе Советское государство ближе других подходило к требованиям народа, его нуждам, да к тому же вначале, в первые годы революции у «ангелов марксизма» еще не выросли рога. Вот почему все мы, учащиеся, стояли на платформе советской власти, как переходной к высшей форме общественного строя — вольному безгосударственному советскому коммунистическому обществу без кнута и пряника, к советам снизу вверх, а не сверху вниз.

Так вместе с другими учащимися мы питались духовной пищей, а материально мы с Васей бедствовали, не имея досыта хлеба насущного, но бодрые духом стремились постичь тайны науки и социальный круговорот революции.

Над миром гремит анархизма набат, Набат бунтопьяного пламени. Небесные буквы стоцветно горят На нашем ликующем знамени.

Небесные буквы, сливаясь в слова, Предвечную правду вещают: В великой природе свобода всегда Единый закон представляет.

Свободно творятся планеты, миры, Их творчество волей зовется, Попробуй природе сказать: Не твори – Она над тобой рассмеется.

Свободно рождая растений тела, Земные различные твари, Свободно вкруг солнца кружится земля, Планеты пылают в пожаре.

Свободен в пространстве, в теченье времен Закон познавательный мира, Природе не нужно великих имен И идолов тленных кумиров.

Природе не нужно духовных цепей, Не нужно законов и власти: Ведь каждый в [могучей] природе – ничей И каждый в природе безвластен.

Ведь каждый в природе творит изнутри И внутренним вне постигает, В природе смешны и цари и рабы: Ведь власти природа не знает.

Зачем же ты создал себе, человек, Тюрьму из свободного мира, Зачем опозорен безвластный твой век Похабною пляской кумиров?

Ты чтишь, человек, сонм великих имен, Их призрак тебя посещает,

Взгляни: в беспредельном пространстве времен Планеты, миры погибают!

И в память погибших миров и планет Никто не воздвиг пирамиды — Для мертвых у Логоса времени нет, Ведь смерть для живых не обида.

Ведь смерть это та же великая жизнь, А творчество жизнь разрушает, Всевечное слово [одно] «Анархизм» Понятия эти сближает.

Над каждым творящим в природе Nihil В могучем венке всеобъятья, Великий рассыплется в космопыль, Все атомы равные братья.

О! будь, человек, как природа велик И будь как природа безвластен. Пусть твой бунтопьяный, ликующий лик Всегда остается прекрасен.

Пусть светит он волей [могучей] своей Избегши фатальных проклятий, И пусть в [хороводе] безвластных идей Приемлет он все без изъятий.

Приемлет туманы, и тени, и тьму, И звезды, и яркое солнце, [Досаду и боль] и немую тоску, И смех – колокольчиков звонче.

Приемлет мильоны безвластных людей, Безвластники – равные братья, Пусть ты, человек, в свете новых идей Откроешь вселенной объятья.

И станешь великим, обширным как мир, И встанешь, как солнце над миром. Долой же кумиры! Отвергнем кумир! Мы выше богов и кумиров!³⁸

* * *

{После Октябрьской революции настала свобода слова, печати и собраний для всех левых республиканских движений. Но взявшая в свои руки власть партия марксидов превратила советы в свою вотчину, изгнала из них инакомыслящих и впервые, ранее Гитлера начала создавать концлагеря и ссылать вначале робко, а потом все смелее и жесточе.

Вот тогда-то и сбылись предостережения Рогдаева и Поссе: что всякая власть неизбежно превращается в деспотизм и тиранию, ибо у каждого человека, поставленного к власти и стоящего у власти, пробуждаются звериные инстинкты. Марксидские власти арестовали активных анархистов, разгромили клуб, библиотеку, а нас, учеников, задержали на несколько часов, переписали и отпустили).



{В девятьсот двадцатом году отправились с Васей Милоховым на зимние каникулы в Старый Буян, пожить в своих семьях и запастись продуктами. Вышли из Самары вечером после занятий. Переночевали в Семейкино на заезжей, а в десять часов утра пришли в Старый Буян. Но и дома не весело жилось: в то время по селам и деревням разъезжали продотряды и отбирали из амбаров, кладовых, сеней хлеб под метелку, при содействии местных комитетов бедноты, двух-трех десятков любителей легкой наживы. Это вполне соответствовало марксидской власти: каждый кресть-

 $^{^{38}}$ Стихотворение сохранилось в ЦВ, озаглавлено: «Юношеству — молодежи (автор инкогнито)».

янин по их догме являлся собственником сторублевого хозяйства, а, следовательно, и врагом.

Первый продотряд конфисковывал большую часть хлеба, приезжал второй продотряд и конфисковывал оставшийся от первого продотряда хлеб. А через две-три недели приезжал третий продотряд и под метелку отбирал все, что находил хлебное. Даже были случаи в Старом Буяне, что последнюю муку высыпали из квашни, приготовленную, чтобы печь хлеб — до того очистилиопролетаризировали крестьян.

Когда продотрядным комиссарам крестьянин говорил: «А чем же я буду питаться с семьей?», — комиссар отвечал: «Тем хлебом, что вы напрятали в ямы». А когда уже весь хлеб отобрали, начали ходить с железными шестами-прутьями по дворам, гумнам, навозным кучам, огородам и искать спрятанный в ямах хлеб. Койгде действительно находили, главу дома арестовывали и увозили, но у большинства крестьян хлеба больше не было.

Когда я пришел на каникулы домой, то в амбаре отца оставалось два мешка хлеба на еду и семена, а в доме мать, отец, сестра и я должны жить и есть. Брат Александр находился за границей, Дмитрий в Чапаевской дивизии, Петр добровольцем в Инзенской дивизии, Василий на службе в Мелекессе. Предвидя, что продотрядцы отберут все под метелку, темной ночью запряг в сани лошадь, взял у отца ключи от амбара, насыпал два мешка хлеба, переехал по льду за селом Кондурчу и в бору в приметном месте мешки спрятал. Приехавший продотряд забрал остатки, что были еще в амбаре.

Этот продотряд уехал. Полагая, что больше продотрядов не будет приезжать в Старый Буян — поехал в бор, положил оба мешка в сани, сверху наложил для дров сучьев. Подъезжаю к дому и вижу, как в дом входят два продотрядца с винтовками. Быстро открываю ворота и заезжаю на задний двор с возом хвороста, выпряг лошадь и думаю: вот сейчас начнут искать, обнаружат в санях хлеб, заберут и чего доброго арестуют. Но продотрядцы не стали искать в санях, и оба мешка с хлебом остались, чем сохранилась жизнь отца, матери и сестры в страшном голодном двадцать первом году.

Жители села со страхом и трепетом встречали каждое появление вооруженного продотряда, как Мамаевы орды во время мон-

голо-татарского нашествия на Русь. Во многих волостях и уездах начались восстания, но они быстро подавлялись карательными отрядами марксидов. Так что к весне девятьсот двадцать первого года в селах и деревнях Среднего Поволжья редко у кого оставался спрятанный хлеб, и [только] эти семьи не умерли от голода}.

* * *

{Окончились зимние каникулы, и мы с Васей Милоховым вернулись в Самару, посещать лекции на медфаке. Иногда собирались товарищи студенты, разделявшие учение анархистов: Коля Котов, Вася Милохов, Вася Симаков, Костя Пономарев, Коля Трубин, Паша Постников, Саша Оглоблин, Гриша Паршин и другие. Тяжело переживали закрытие анархического клуба и школы при клубе имени Феррера [...]. Мы понимали и видели, что марксидская советская власть погубит революционные завоевания Октября.

Когда на общестуденческом собрании марксиды выясняли отношение к советской власти, я предложил резолюцию: «Приветствуем советскую власть на переходный период до окончания гражданской войны. А потом осуществить безначальное коммунистическое общество без кнута и пряника, то есть бесклассовое советское общество. Советская власть только временное средство, а конечная цель – безгосударственный коммунизм!». Когда я окончил краткое предложение, то председательствующий студент, не знавший моей фамилии, попросил назвать, а политкомиссар университета, «око государево», злобно сказал: «Это анархизм!».

По окончании собрания, на второй день подошел студент Петя Филёкин, состоявший в партии марксидов, но сочувствовавший анархистам и сказал: «Вы вот что, друзья: нигде больше не выступайте и не говорите с анархических позиций, иначе вас исключат из университета, могут арестовать и отправить в края отдаленные. Политкомиссар поручил следить за вами, будьте осторожны в дальнейшем, я сказал, что вы анархисты не опасные!»}.

ГОЛОД

Наступило лето двадцать первого года. {Все Среднее Поволжье быстро стало превращаться в пустыню от жестокой засухи}. Миллионы людей в селах и деревнях Поволжья были лишены всякой возможности найти себе хлеба. Скот весь съели, начали есть кору деревьев, глину. Началось умирание целыми семьями.

В городах хлеб выдавался по карточной норме, а в селах и деревнях весь народ был предоставлен на божью волю — «спасайся кто как может» без веры и надежды на жизнь. Сельские и деревенские власти сбежали в города, а на дверях сельских советов висели замки. Народ был брошен на произвол судьбы, началась трагедия голода. Люди умирали семьями и в одиночку, в домах, на улицах и дорогах и подолгу там оставались — некому, да и не было сил убрать и похоронить умерших.

Гражданская война продолжалась, и продолжалась разруха в стране. Земля Поволжья на тысячу километров лежала обнаженная, пепельно-серого цвета. Деревья без листьев стояли черные, птицам не из чего было строить гнезда и чем питаться — природа перестала существовать. Но люди продолжали борьбу за жизнь. С наступлением зимы начались случаи людоедства мертвых, а потом живых людей. {Мелекесский уисполком официально просил разрешения у Самарского губисполкома съедать умерших ³⁹}. Люди теряли рассудок, сходили с ума. Все было съедено, что можно было съесть. Вот прошел слух: где-то обнаружена съедобная глина — люди начали есть глину и умирать.

Миллионы начали превращаться в живые трупы-мощи, отекать и пухнуть, грязные, обросшие, с бессмысленными блуждающими глазами бродили по селам и деревням в поисках чеголибо съедобного. Не было сил и некому было во многих семьях нарубить дров и истопить печь, принести воды напиться.

³⁹ Ссылка в ТР: «газета Вол. Ком., где было об этом сообщено».

{Некому было похоронить умерших — они неделями лежали в доме вместе с живыми, еще не умершими. Многие шли из сел и деревень в город в поисках спасения от голодной смерти, и редко кто из них доходил до города: они умирали по дороге от голода и холода. Советская пролетарская власть продразверсткой и вооруженными продотрядами конфисковала весь хлеб у тружеников полей накануне страшного голодного года, оправдывая свое преступление «исторической необходимостью»! Тогда как населению городов выдавался хлебный паек «по исторической необходимости». В действительности не те люди были людоедами, кто поедал умерших, а те, кто довел их до людоедства}.

Десятки тысяч людей уезжали из Поволжья на хлебные окраины страны и там отдавали последние пожитки за кусок хлеба. Дома отдавались за два-три пуда хлеба, но и их покупать было некому. Бумажные деньги обесценились, считались на миллионы и носились не в карманах, а в мешках, и хлеб на них не продавался.

* * *

Осенью этого года я поехал в Старый Буян к родителям, собрал из одежды что можно было взять на обмен и вместе с группой студентов под видом экспедиции отправился в Сибирь, в Алтайский край за хлебом. Выхлопотали вагон-теплушку на двадцать человек с двойными нарами и тронулись в далекий Сибирский край.

Около двух месяцев продолжалась наша поездка в Семипалатинск и в район Усть-Каменогорска в село Черемшанка 40 . Там меняли вещи на хлеб, масло и мед. Каждый студент наменял от четырех до восьми пудов хлебного зерна.

В Семипалатинске случайно встретился со старобуянцами, тоже приехавшими за хлебом: учителем Смысловым, крестьянином Кузнецовым и Каменским Николаем. Встретился с ними на эстраде в кинотеатре, куда пришла и часть наших студентов. Это

⁴⁰ Ныне в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Голод 103

трио давало бесплатный концерт. Пели хорошо, слаженно русские песни новые и старинные. Потом мы уехали пароходом по Иртышу в Усть-Каменогорск, а они остались в Семипалатинске.

Вместе с нами ехал студент Гуров, обладатель прекрасного баса. В дороге туда и обратно безустанно, по нашей просьбе и без просьбы исполнял оперные и народные песни, и все мы искренне были благодарны ему. Я с большим вниманием и уважением относился к студенткам Никоновой и Поляк и так же пользовался взаимным уважением и с их стороны. Но я, студент третьего курса, сторонился их, ибо не мог совместить несовместимое – ученье и увлеченье близкой любовью. «Сначала ученье, а потом обрученье».

* * *

Возвратились из экскурсионной поездки за хлебом в октябре, когда в медфаке начались занятия, и нас, как опоздавших к занятиям, не допустил комиссар медфака Циммерман. Он требовал письменного объяснения причин опоздания, а когда кто-то ему сказал, что мы ездили за хлебом, то обвинил нас в спекуляции и не разрешал посещать лекции, тогда как моему товарищу – коммунисту Филёкину никаких препятствий не чинил – свой брат! Только вмешательство декана помогло нам продолжить занятия в alma mater⁴¹.

Часть привезенного хлеба я отослал в Старый Буян родителям, часть оставил себе на еду, а часть обменял на рынке на сапоги и брюки.

В середине зимы запасы привезенного хлеба приходили к концу. В студенческой столовой кормили капустной жижицей. И вот в это время зашел к нам в общежитие староста курсов и объявил: идите, ребята, в склад и по списку получайте американский паек. Мы все гурьбой бросились в склад и, действительно, бесплатно получили по пуду муки и по пять килограммов марга-

⁴¹ ТР: «только университетский совет отменил наше исключение».

рина и сахару. Такой богатый паек и во сне никому не снился, и мы были признательны тем, кто в нужде протянул нам руку помощи. Дважды мы получили дарственные пайки, а потом почему-то выдавать нам прекратили.

Я и мои товарищи делали из муки на воде лепешки и пекли их на кухне на маргарине или рыбьем жире.

Вскоре в Старом Буяне и других селениях Поволжья открылись американские и шведские бесплатные столовые для детей дошкольного и школьного возраста. Взрослое же население попрежнему оставалось без всякой чьей-либо помощи.

Чтоб улучшить питание, я поступил на вечернюю работу в Детский эвакуационный пункт. Днем на лекциях в медфаке, вечером на работе в эвакопункте, а уж поздно вечером и ночью за учебники. Я был сыт, но в Старом Буяне отец, мать, два брата голодали, я не мог не поделиться с ними сытым питанием и решил коголибо из родителей взять к себе: «сыты не будем, но и с голоду не помрем». По моему письму {в феврале} приехал отец. Сначала он жил вместе со мной в общежитии, а потом через студента и врача [...] Гурова поместили отца в больницу водников, где уже лежал и отец Гурова, тоже спасаясь от голода. {Мой отец три месяца находился в стационаре на положении больного, что и помогло ему и матери пережить голод}.

Зимой этого же года меня не миновала эпидемия сыпного тифа, начавшаяся на Поволжье еще раньше голода. Три недели пролежал в инфекционном госпитале, порой в бессознательном состоянии. В это тяжелое время единственным моим посетителем была студентка Никонова, за что навсегда она осталась в моей памяти. Я часто бывал у нее в доме и находил в общении с нею большое удовлетворение, но не такое, которое могло бы увлечь и вскружить мне голову, к тому же я дал себе зарок – пока не окончу медфака, никаких увлечений, хотя от такого зарока порой и страдал.

Через много лет мне стало известно, что в ее семье считали меня будущим женихом, но судьба каждого из нас сложилась поразному. По выписке из больницы до окончания медфака я продолжал ходить в ее дом, где меня приветливо встречали она и семья ее брата Сергея.

 Γ олод 105

Как-то вместе со студентом Оглоблиным пошли к Никоновой. Там весело провели вечер в обществе с другими ее гостями и задержались до полуночи. Стали расходиться по домам, и мы пошли некоторых студенток провожать. В это время в двух или трех местах города в небе появились лучи прожекторов. Я и мой товарищ остановились, подивились силе света прожекторов и пошли к своему общежитию.

Вдруг справа от нас в полумраке слышим голос: «Стой! Кто идет?!» Мы остановились. Подошли трое в форме солдат из особого отдела и приказали следовать за ними. Привели в какой-то военный штаб. Здесь присоединили к нам еще десятка три задержанных за хождение по городу после двенадцати часов ночи и под конвоем повели всех в городской штаб Чека. Поместили нас в большом холодном зале без всякой мебели, где уже находились более двухсот задержанных патрулями.

Большинство стояли возле стен, некоторые сидели на полу, некоторые полулежали. Выражение лица у всех было рассеянное, тревожное. Каждый считал себя правым, но в то же время боялся за исход задержания.

В течение ночи по одному вызывали на допрос-следствие в другую комнату в этом же доме, где за двумя столами, покрытыми красной материей, сидело четыре следователя Чека, а по всем стенам полукругом на стульях сидели вооруженные солдатыохранники, так что, когда приводили на допрос задержанного, то он был виден со всех сторон во время обыска.

Допросы велись перекрестной системой, об одном и том же, и горе тому, кто при ответе на повторный вопрос ошибался. Оглоблина вызвали раньше меня и отпустили. У него был с собой какой-то документ. Вызвали и меня. Документов с собой никаких не было. Одет я был в черный дубленый полушубок, отороченный белым барашковым мехом, и в шапке-кубанке. Как только я вошел – команда: руки вверх! А, что, с Кубани? – грозно сказал один из следователей, – Обыскать и отправить в подвал, а там разберемся. Я старался разъяснить, что я вовсе не с Кубани, а житель Старого Буяна и учусь здесь в медфаке на третьем курсе, но все было напрасно: отдельной группой с другими задержанными конвой отвел в подвальную тюрьму Чека.

Тем временем отпущенный товарищ Оглоблин сообщил моему товарищу-однокурснику Филёкину, с которым вместе жили в одной комнате общежития, чтоб он принес мне мои документы, подтверждающие мою личность. Часа через два пришли Оглоблин и Филёкин с моими документами, предъявили их следователю, разъяснили ему, что я студент и их сокурсник, и мы все трое вместе вышли из комендатуры домой — «поминая царя Давида и всю кротость его».

* * *

Во время летних каникул, отдыхая у себя в Старом Буяне, я начал часто встречаться с Панкратовой Клавдей, и вскоре наши встречи перешли в сильное взаимное увлечение. Клавдю я знал с детских лет, когда учился в первом классе сельской школы — она училась в шестом, но тогда и мечтать не мог об увлечении ею. Жила она в доме большой семьи отца-хуторянина в двух километрах от Старого Буяна. После замужества через два месяца осталась солдаткой — муж ее был мобилизован в армию Комуча и находился без вести где-то в Сибири в армии Колчака.

Летом Клавдя жила в доме отца, а с осени до весны при школе на хуторе Лаврова, где занималась с учениками начальных классов. Возможно, потеряла надежду на возвращение мужа из армии и на будущую жизнь с ним и поэтому увлеклась мною на третьем году своего вдовства, и кто знает, может быть в тайниках ее души зародилась мечта о жизни со мною. [...]

Наши встречи продолжались полтора года в летние и зимние каникулы. Много прекрасных отрадных дней и часов прошло через наши сердца, полных молодой неизведанной жизненной силы. Она искренне и пламенно дарила мне свою любовь, но я был так молод и чужд большой ее любви, что в дальнейшем наши взаимоотношения прекратились навсегда по моей вине, о чем после много скорбел. [...] Видимо, не в добрый час мы встретились, а потому на ее предложение создать семейную жизнь я уклонился: слишком был молод, чтобы хорошо разбираться в этих делах. В то время я был в плену собственных идей – «не от мира сего». [...]

 Γ олод 107

* * *

После кошмарной трагедии голода и смерти миллионов людей, на родине детства началось безоблачное время. Урожай хлебов был так могуч, что там, где и не сеяли, собирали хороший урожай, от оставшихся редких и хилых колосьев прошлого двадцать первого голодного года. Выросли обильные травы и расцвели цветы, где они никогда не росли и не цвели. Такова жестокость и милость природы.

* * *

После окончания медфака было последнее мое лето беззаботной жизни в родном краю. По вечерам я собирал соседних ребят, уходил с ними на Кондурчу до утра, разжигали костер, ловили рыбу и варили уху, пели песни, рассказывали были и сказки, а кругом — всеобщая тишина, звездное, бесконечное темно-голубое небо, тихо потрескивает костер, и его яркий свет согревает нас всех, и все это навевает думы о значении человека в мироздании. [...]

Где-то вы теперь, друзья мои по ночным бдениям на берегу Кондурчи?! А вы, друзья студенческих лет! Ты, сатирик Володя Бочкарев, ты, политэкономик Саша Оглоблин, ты, неподкупный люмпен-пролетарий, бывший батрак Гриша Паршин, ты, моей души отрада единоверный Коля Котов, ты, поэт ранних лет Вин Ващакин, ты, воинствующий Артюша Устин, ты, гуманнейший философ Павлуша Постников, ты, товарищ юных и зрелых лет вольнолюбивый Вася Милохов, ты, критик Вася Симаков, ты, певец воли Ваня Гуров, вы, верившие в абсолютную свободу духа, в равенство и истинное братство народов всего мира! [...]

Я часто думаю: – куда девались сила могучая духа и тела и вера в чудесную жизнь человека!? Ведь в каждом из нас кипели жизни силы и разливались через край от избытка их, и казалось, что никогда они не иссякнут. Многих из нас не стало. Одни получили вечное успокоение по своей воле, другие в концлагерях

Иосифа Кровавого. Третьи замкнулись в свои семьи и работу, борясь за сытые хлеба, с двумя лицами — одно для власть имущих, другое для себя и семьи. Одни вольно или невольно превратились в щедринских пескарей, а другие сами превратились в щук и щурят.

Потребности духа сузились, отец скорби желудок оказался сильнее и могучее всех других основ жизни и подчинил себе все идеи и мечты юности и зрелых лет. Через многие годы пролетевшей жизни случайно или неслучайно встречаюсь с «Самсонами» былых лет, друзьями и товарищами по духу и мечтам. И каждый из них теперь как-то смущенно и как будто виновато за настоящее, но с искрой оживления в лице вспоминает те прошедшие годы, когда так хорошо мечталось о жизни для всех без насилия и угнетения. Если в годы молодости сознание определяет бытие, то потом в зрелые годы и на склоне лет бытие определяет сознание. И тогда смиряется гордый дух человека. [...]

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

После сдачи выпускных экзаменов ⁴² и торжественного банкета нам выдали дипломы без каких-либо распределений на работу – каждый из окончивших медфак мог ехать работать в любое место на восток, запад, север и юг страны. Мне очень хотелось остаться на работе в городе, но материальная необеспеченность вынудила поехать на работу в сельскую участковую больницу, где на первых порах легче и проще устроиться в бытовом отношении.

Когда был студентом, бедность пороком не являлась. Одна пара простых сапог или ботинок, гимнастерка и брюки носились до износа, а ставши врачом, надлежало занять и соответствующее социальное положение. Заработная плата врача так была мала в двадцать третьем году, что обеспечивала только полуголодное существование. И я уехал из города к людям под соломенными крышами. После короткого отдыха в доме отца, в августе двадцать третьего года, поехал на работу в участковую больницу нашей губернии.

Бывшая земская больница, построенная на окраине села со стационаром на пятнадцать-двадцать пять коек, амбулатория, инфекционный барак, баня и прачечная, дом для врача и дом для фельдшера и акушерки, [.......] погреб и сараи. В середине прямоугольного двора — колодец, а кругом по изгороди декоративный сад.

Врачебная практика каждого начинающего врача в первые годы является приобретением практического опыта, навыка в обращении с больными, в постановке диагноза и лечении. У меня не было старших опытных товарищей по работе, с кем бы можно было провести консультации, проверить правильность своих выводов. Другое дело в городе — там лаборатории и опыт квалифицированных врачей по узким специальностям.

-

⁴² 30 июня 1923 г.

Тяжел труд участкового врача. С восьми-девяти часов утра обход стационарных больных, затем амбулаторный прием больных до трех-четырех часов дня, после частые вызовы к больным на дом по врачебному участку днем или ночью во всякую погоду за пятнадцать-двадцать верст от больницы. Участковый врач универсал — он лечит все болезни, и единственные его консультанты — книги и учебники для врачей и студентов.

Что замечательно — все медикаменты-лекарства отпускались больным бесплатно, и только с коллективизацией массовое лечение больных стало платное.

Тоскливо и скучно шли годы в селе, где негде отдохнуть и развлечься от усталости в работе. [...] Появилась тоска по городу, и ко всему этому надо было уметь угождать, приспосабливаться и прислуживать самодурам власть имущим.

Кажется, Шопенгауэр сказал: «власть и женщин не хули, и будешь долголетен на Земле». Как часто потом вспоминал я это мудрое изречение и, если б его строго придерживался, то был бы самым лучшим безгласным почитаемым гражданином у власть имущих, а не тем, кем стал впоследствии — презираемым и гонимым в черте оседлости.

Когда приехал на работу в Борискинскую участковую больницу, вторым врачом там уже работала врач Ясинская Оля, тоже только что со школьной скамьи. А потому и трудности в работе преодолевались по-молодому: смело, решительно, с верой в успех лечения больных. Мне было двадцать шесть, а ей двадцать пять. Обе они с матерью относились ко мне более чем благосклонно, я видел и чувствовал их желание, чтоб я вошел в их семью, нравились и они мне, но я был своим собственным пленником, ибо моя идея побывать во всех странах Европы и увидеться с братом Александром крепко жила во мне, а семья явилась бы тормозом в этом деле моей мечты.

Вместе с нами в больнице работали молодые муж и жена Горшковы — он фельдшером, она акушеркой, а через несколько лет жена окончила мединститут, а он зубоврачебную школу. Хорошими знакомыми были старичок лесничий и его молодой помощник Варенников и местные жители бывший матрос Безбородников, Кочетков и Злодеев из села Добрино, и дорожный мастер станции Дымка.

Изредка ездил в Бугуруслан, где заведывал уездздравом мой однокурсник врач Дорохин, и там же работал в вендиспансере мой старый друг и товарищ врач Котов.

Заработная плата в то время настолько была мала, что за двухмесячную зарплату смог купить себе в Бугуруслане только простые кожаные сапоги, а потому приходилось питаться «подаяниями за благодарность» от больных.

Так как не единым хлебом сыт человек, то в часы досуга поневоле организовали культкружок. Местный сельсовет охотно предоставил нам здание бывшей школы. Своими силами сделали ремонт, сцену и кулисы. Здесь наши лекции и спектакли пользовались у населения большим успехом. Так разнообразили сельскую жизнь.

Так как многие мои однокашники работали в городе, то меня потянуло поближе к городу. Для увольнения с работы требовалось подать заявление за две недели, и никто не мог задержать. Уволился и поступил на работу в семи километрах от города Бугульмы в Крым-Сарайскую участковую больницу⁴³. Здесь моими помощниками оказались односельчанка, акушерка-фельдшерица Бубнова и ее муж фельдшер Казанцев, и еще один фельдшер. Поскольку энергии в нас было много, то и здесь организовали культкружок на зимнее время. Особенно активное участие принимали в нашем кружке местные жители Лыков Родион, Панарины кузнец и портной, и братья Стуловы. Читались лекции по атеизму, по медицине, и ставили спектакли. Параллельно нашему кружку имелся узаконенный кружок при избе-читальне и, когда наш кружок завоевал своим авторитетом население, то прежнее либеральное отношение клубного кружка избы-читальни перешло во враждебное: население к ним не шло. Уговаривали нас слиться с ними в один кружок, но члены нашего кружка категорически отказались: не захотели находиться под казенным руко-

⁴³ Согласно протоколу опроса М.П. Бубновой в подтверждение трудового стажа С.Н. Чекина, он работал врачом Крым-Сарайской больницы Татарской АССР с апреля 1924 по март 1926 (приложение к письму Отдела социального обеспечения Бауманского района г. Казани от 11 сентября 1959 г. за № 1891).

водством, лишиться добровольного самоуправления. Тогда избачи начали создавать нам различные препятствия.

Однажды я послал члена кружка санитара Астафьева расклеить объявления о лекции-беседе на антирелигиозную тему, но случившийся в селе секретарь райкома — волисполкома запретил расклеивать объявления, а расклеенные посрывал и велел санитару передать мне, что без его ведома делать лекции нельзя. Это значило, что я должен ходить к нему за разрешением на право проводить лекции. Так закончилась моя «внештатная» культработа, а вскоре самораспустился и культкружок при нашей больнице. [...]

За годы работы на участке я в совершенстве научился делать сложные патологические акушерские операции, и всегда с благо-получным исходом, порой и сам удивлялся «легкости руки» своей. Да и во всей универсальной врачебной работе наступила практическая ясность, и мне казалось, что ничто теперь, никакой случай заболевания не поставит меня в тупик.

Когда я работал в Коровинской участковой больнице, ко мне на практику прислали студентку пятого курса из Саратовского университета Вишнякову. Она поместилась на жительство в одной из комнат моей врачебной квартиры. Работа и быт, да и молодость сблизили нас, и мы стали жить мужем и женой. В конце августа уехала оканчивать университет в Саратов, без определенной ясности наших взаимоотношений. [Эта ясность наступила позднее, когда в Саратове родилась наша дочь].

Здесь я впервые увидел курные избы — топку по-черному, времен крепостного права — в селах мордвы и чуваш. Об этих курных избах я знал только по рассказам бабушек да из книг. А теперь воочию убедился: дом, на крыше которого виднеется большое деревянное дупло — это курная изба.

В марте месяце я переехал на работу в Урицкую участковую больницу, что в ста двадцати километрах от Кустаная. От Кустаная до Урицка дорога шла бесконечной степью. Ехал я с местным ямщиком и видел, как в степи, покрытой глубоким снегом, вдали от дороги, стадо лошадей ногами разрывает снег, за ними шло стадо рогатого скота, а позади его — овцы. Это они сами себе добывают из-под снега корм, степной ковыль, подобно северным оленям, в тундре добывающим мох из-под снега.

* * *

Мой отец никогда не болел, и я не знал и не слыхал, чтоб он когда-либо обращался в больницу. Роста среднего, кряжистый, длинные волосы под кружок с проседью; все зубы целые, белоснежные. Летом я приезжал в отпуск, отец ни на что не жаловался, и думалось, что проживет до глубокой старости. Но по приезде в Урицкую больницу получил неожиданно извещение от брата Дмитрия, что отец умер, а я так надеялся, что он долго будет жить!

Потом я узнал, что умер он отчасти по своему неведению и изза невнимательного отношения врачей Большекаменской и Новобуянской больниц, где катетером дважды выпускали ему мочу. У него было воспаление шейки мочевого пузыря. Надо было немедленно и в третий раз поехать к врачу или съездить за врачом, но отец никуда не поехал, надеялся превозмочь болезнь и умер от уремии. Досадно мне было, что не мог помочь ему в беде, и что лечащие врачи строго не предупредили его, что при повторной задержке мочи следовало немедленно обратиться к ним за помощью.

С тех пор, когда приезжаю в Старый Буян, посещаю и оправляю могилу отца. Поставил металлический памятник — крест и металлическую надпись, при помощи племянника Вити, электросварщика. Теперь рядом с отцом и могильный холм старшего брата Павла. Оградка деревянная, но мечтаю со временем поставить железную. На могилах родных посадил березки, тополя, многие без ухода погибали, но в каждый приезд продолжаю сажать новые. [...]

Лучшие годы детства прошли в материнской и отцовской заботе обо мне и всех братьях моих. И не только у меня и других братьев хранится добрая память о нашем отце и матери, но все односельчане чтут их при воспоминании, что на многие годы является нерукотворным памятником для них.

* * *

Урицкая больница типовая земская, хорошо оснащена на двадцать пять коек, со всеми подсобными постройками, удобными квартирами для медработников, а поэтому и работалось приятно, тем более штат средних и младших медработников вполне достаточный: три фельдшера, акушерка, завхоз и другие. Большая аптека, по соседству ветпункт с врачом и фельдшером. С первых же дней я подружился с ветврачом, его женой и трехлетней дочкой. Но недолго пришлось здесь жить и работать 44.

В мае месяце я поехал вместе с завхозом больницы, на своей больничной лошади по району своего участка — фельдшерским пунктам, а председатель волисполкома Сидоренко поручил мне выяснить причину смерти внезапно умершего гражданина в селе на берегу реки Ишима, так как ходили слухи, что его отравили. «Хорошо — я выясню и вам сообщу». И на второй день выехал.

По приезде на место обратился к председателю сельсовета и с его ведома и в присутствии его и понятых извлекли труп из могилы. Там же на кладбище я сделал и вскрытие и установил отравление алкоголем, о чем составил патологоанатомический акт, и по приезде передал его предволисполкома Сидоренко.

Дня через три во время приема больных в амбулатории пришел милиционер, предъявил мне ордер на арест и предложил идти вместе с ним в кабинет районного прокурора. Прокурор учинил по всей строгости закона допрос и предъявил мне обвинение в самовольном вскрытии трупа без представителя следственной власти.

Я объяснил, что вскрытие производил не судебно-медицинское, а патологоанатомическое с диагностической целью, к тому же и по просьбе председателя вика Сидоренко. Мои доводы ока-

⁴⁴ С.Н. Чекин был заведующим Уйским медучастком Троицкого окрздравотдела Кустанайской области с 25 марта по 27 июня 1927 г. (архивная справка из Государственного архива УМВД по Кустанайской области от 7 февраля 1957 г. за № 89 со ссылкой на «ф. 39, оп. 1, д. 227, св. 8; св. 6, д. 132, л. 61об»).

зались неубедительными для прокурора, и он приказал отвести меня в местную тюрьму-каталажку.

На второй или третий день моего заключения открывается дверь камеры, и не верю своим глазам: входит старший мой фельдшер, Катурга, в солидных годах, коммунист-марксид и тоже арестованный — по обвинению за соучастие в отравлении одного из больных в стационаре больницы. Оказывается, что когда-то, еще до моего приезда, на излечении в больнице находился лет восьмидесяти старик. Его приходила навещать его жена старушка и всегда что-нибудь приносила ему из дома покушать.

Как-то она принесла ему пирожков. Больной муж кушать их не мог, не хотел, и дня через три-четыре попросил санитарку убрать их из тумбочки, выбросить. Одна из санитарок съела часть прокисших пирожков, ее стошнило, а через несколько дней больной умер. Санитарка по своей медицинской неграмотности где-то на селе сказала, что больной старик отравился пирожками, что приносила ему старуха жена.

Этот слух дошел до ушей прокурора, и вот теперь он вспомнил и предъявил фельдшеру Катурге, как временно заведующему больницей, обвинение в том, что он об этом не сообщил следственным органам. Дня через два Катургу отпустили, а потом отпустили и меня под расписку о невыезде из района. Прокурор пытался посадить и председателя волисполкома, но не имел на него права по занимаемой им должности.

Когда я находился в каземате, питание приносили сотрудники больницы, а также и молодая чета, ветврач и его жена. Прокурор вскоре им отомстил за их сочувствие мне.

В день рождения ветврача в числе других был приглашен и я, но не был приглашен прокурор и его соратники, что он посчитал оскорблением своей персоны. Тогда он подослал пьяного гражданина вызвать ветврача к заболевшему животному на дом. Ветврач вместо себя предложил сходить своему помощнику ветфельдшеру, но гражданин от его помощи отказался, стал скандалить, требуя, чтоб пошел ветврач, и с тем ушел. Часа через два явился милиционер и объявил, что по распоряжению прокурора велено арестовать и доставить к нему ветврача. Именинный вечер прервался, и гости разошлись. Вместе с ветврачом пошел и я. Мне не

хотелось его оставлять. Да и то подумал про себя, если прокурор уж такой отъявленный самодур, то ничего ему не стоит посадить в каталажку обоих врачей, медицинского и ветеринарного, и оставить людское и скотское население без лечебной помощи. Может быть, тогда и призовут Фемиду к порядку, что через некоторое время и совершилось.

Милиционер доставил нас в кабинет прокурора и, когда вошли, прокурор по-ефрейторски гаркнул: «Почему сам не пошел, а послал фельдшера к заболевшему животному? Что, некогда было, именины справлял?!». Ветврач и я разъясняли ему, что первую помощь мог оказать фельдшер, а потом, если потребовалось бы, пошел бы и врач. Но богиня правосудия изрекла, обращаясь к милиционеру указывая перстом на нас: «Посадить обоих! Милиционер, отведи!».

Так я попал второй раз в каземат. Продержав нас одну ночь в каземате, Фемида прозрела и приказала отпустить нас на работу.

* * *

Шел май месяц. Всюду пробуждалась в природе жизнь. Солнце ласково, величаво и спокойно совершало свой путь над землею, наполняя ее светом радости и нежно-любящим теплом матери, посылая живительные лучи свои добрым и злым людям, животным, птицам, насекомым, деревьям и травам, не требуя себе взамен никакой награды от людей и всего сущего на земле. Только солнце оставалось моим добрым гением в эти безрадостные дни жизни, да сочувствие близких знакомых.

Никто из власть имущих в районе не подал мне руку помощи. Все в окрестности знали о беспробудном пьянстве, взятках, изнасиловании женщин прокурорско-уголовными властями — этими современными опричниками Урицкого района. Оставалось одно: уехать на работу в другую больницу области и избавиться от нетерпимого произвола властей. Нарушив подписку о невыезде — уехал в облздрав Кустаная со всеми своими небогатыми вещами.

Там доложил докладной запиской о происшедшем и категорически заявил, что на работу в Урицкий район не вернусь, попро-

сил предоставить место работы в другой участковой больнице, а пока дать мне отпуск. Дали отпуск, и я выехал на родину в Старый Буян и в Саратов к Вишняковой.

Побывал в своей Мекке, съездил в Саратов, и вместе с Вишняковой выехали с четырехмесячной дочкой в Кустанай. Когда я явился в облздрав, то мне сообщили, что прокурор, начальник милиции и уголрозыск Урицкого района арестованы и посажены в городскую тюрьму за пьянство, взяточничество, вымогательство и изнасилование, и что я могу спокойно работать в Урицкой больнице вместе с женой, от чего я отказался, и мы уехали на работу в Львовскую бывшую земскую участковую больницу, что на реке Тоболе 45.



От Кустаная до Львовской больницы дорога шла то вдоль Тобола, то близ его – от села до села ехали на обывательских подводах более ста километров. Кругом бескрайняя степь, простор и ширь ковыльная, без полей, лесов и гор. Жители Львовки говорили нам, что они только три года на целине сеют хлеб-пшеницу, а потом переходят на другое цельное место, так как более трех лет земля целинная не дает урожая.

Шел двадцать седьмой год — год расцвета нэпа, и здесь, в селе Львовка, в августе такая была обширная ярмарка-торжище, что невозможно было за день обойти. Десятки тысяч лошадей, верблюдов, рогатого скота, овец покупались и продавались оптом и в розницу во все районы России и Сибири в течение семи дней. Такого ярмарочного богатства нет и, пожалуй, никогда не будет — все заменено машинами, принадлежащими государству.

Львовская участковая больница, как и все бывшие земские больницы, благоустроенная. Та же работа: утренний обход больных в стационаре, затем амбулаторный прием больных до трехчетырех часов дня. Дневные и ночные срочные выезды к больным

 $^{^{45}}$ Даты работы заведующим Урицким врачебным участком – с 27 июня 1927 г. по 1 января 1928 г. (та же архивная справка).

на дом если случались не каждый день, то и не так редко. В свободное время от работы я уходил на Тобол и отдыхал там за рыболовством или с ружьем охотился за утками.

Как-то из поселка в ста шестидесяти километрах от больницы муж привез жену на рыдване с сеном, с запущенным двухдневным поперечным положением плода, с вколоченным плечиком и выпавшей ручкой. Ребенок был мертв. Я с помощью жены приступил к операции расчленения и извлечения ребенка по частям. Операция продолжалась не менее двух часов, а через семь дней больная уехала домой здоровой в свои бескрайние степи.

В медфаке студенты практики не имели, лишь изучали теорию, да издали смотрели на операции своих руководителей. И здесь, на участке, не только знание теории, не только «легкая рука» давали удачные исходы. Важную роль играл закаленный в тяжелом труде и житейских невзгодах организм сельских тружеников. Мне не раз приходилось разрешать сложные патологические роды и всегда благополучно, с хорошим исходом если не для ребенка, то для матери там, где я и не предполагал.

* *

В Львовской больнице не было штатного места второго врача, и жена числилась нештатной единицей фельдшера. Такое положение нас не устраивало, а поэтому, заранее списавшись, решили переехать на Урал, где нам обоим предоставлялось место работы. Морозным декабрьским днем на двух санных подводах выехали до станции Каратала и далее поездом через Троицк, Челябинск, Свердловск и Нижний Тагил. Вначале работали в Серебрянской, а потом в Нижнетуринской больнице 46.

 $^{^{46}}$ Даты работы заведующим Нижнетуринским врачебным участком 2 сентября 1928 г. — 20 августа 1929 г. (архивная справка из Нижнетагильского филиала Государственного архива Свердловской области от 15 марта 1957 г. за № 605 со ссылкой на ф. 1, д. 292, 296, 289, 286, 291), переведен с должности врача Серебрянской больницы (архивная справка из Нижнетагильского филиала от 17 июня 1957 г. за № 1146 со ссылкой на ф. 1, д. 286).

Если в Кустанайской области были степи бескрайние, то здесь, на Среднем Урале, горы и тайга. Население на Урале более грамотное, жизнь и быт культурнее степняков, и их поселки имеют более рабочий характер. В большинстве из них заводские предприятия, и в массе своей население связано так или иначе с заводами.

Я видел, что население требовательнее относилось к медицинским работникам. Им нужнее иметь врачей узкой специальности, а этого у меня и жены не было, чем создавалась неудовлетворенность в работе. Приходилось испытывать и не всегда лояльное отношение к врачам со стороны власть имущих, даже со стороны своих медицинских руководителей.

Как-то приехал ко мне врач соседнего участка и рассказал, что ему предложили переехать на работу в другой врачебный участок на живое место, где продолжал работать с земских времен другой врач около сорока лет, но кому-то там не стал нравиться. Здравотдел не мог его уволить, не имея для этого основания, и дал назначение другому врачу, чтоб он занял собою место опального врача.

«Когда я приехал со всей семьей, — продолжал мой сосед по участку, — на ближайшую станцию и позвонил в назначенную больницу, чтоб прислали за мной лошадей, то тамошний врач сообщил мне по телефону: Здесь работаю я. Как же вы едете работать на мое место, а куда мне деваться?!». Мой сосед ответил: «Назначение дал в вашу больницу здравотдел и не сказали, что место врача занято вами, прошу извинения — на живое место я не поеду! Честь, совесть, врачебная этика не позволят мне быть хамом!». Сообщил о своем отказе в здравотдел, вернулся на работу в прежнюю больницу, но впал в немилость за ослушание начальства, начались придирки, гонения, и ему вскоре пришлось на работу уехать в другую область. Перед отъездом он приехал ко мне повидаться и рассказал этот печальный эпизод. [...]

Еще с древних времен врачи более других были свободны в своей работе. Врачебное искусство в равной степени применялось у постели богатого и бедного больного, ни перед кем врачи не раболепствовали и не идолопоклонничали. Пожалуй, из всех профессий умственного труда врачи самые рациональные и сво-

бодолюбивые. Для врачей никаких идолов не существует, врачебная наука и практика космополитичны, интернациональны. Им чужда расовая, национальная и прочая дребедень звериного свойства. Врачебная наука и практика видят в каждом больном человека с большой буквы без мундиров, чинов и званий.

Вот это-то положение часто и приводит к конфликту с существующей действительностью, которая вынуждает иметь разный подход к больному человеку, по занимаемой должности и чину, как будто они имеют патент на право быть лучшими, чем миллионы их собратий. [...]

Здесь на Урале в Серебрянке родилась вторая дочь. Если географически Урал интересен, то климатически плох: длительные осенне-весенние дожди, густые туманы и влажные испарения отразились на мне обострением хронического бронхита, и мы решили уехать на работу в степной район, Сине-Шиханскую больницу золотых приисков Оренбургской области. Это было мое последнее место работы в районе, в степях, прекрасных летом и ужасных в зимнее время, когда едва не пришлось погибнуть от степного бурана.

В феврале я и приисковый возница выехали на паре лошадей, запряженных в сани, на соседний прииск в пятидесяти километрах от Синего Шихана. На пути ближайшая казачья станица в тридцати пяти километрах. Через час поднялась небольшая метель. Короткий зимний день заканчивался заходящим красномедным холодным диском солнца. Впереди нас, в ста метрах по дороге бежала мелкой рысцой стая, шесть-семь, степных волков.

Увидев их, мы с ямщиком стали советоваться, что предпринять: ехать ли вперед или повернуть назад. С собой у нас было дробовое ружье и топор. Посовещались и решили ехать вслед стаи волков, а если они нападут, ружье и топор помогут нам отбиться. Однако волки свернули с дороги в степную балку, скрылись из вида, и мы без тревоги продолжали свой путь. Начали сгущаться сумерки.

Метель быстро усиливалась. Все покрылось белой пеленой. Земля и воздух побелели и посерели во мраке ночи. Быстро замело след санной дороги. Лошади начали сбиваться с дороги в подветренную сторону. Не видя дороги, ямщик не правил лошадьми,

а предоставил им самим находить твердь. Ехали шагом. Но лошади часто сбивались.

Мы останавливались, ямщик вылезал из саней и начинал кружить, разыскивать, вернее — нашупывать ногами дорогу. Находил, ехали и снова сбивались. Когда убедились, что заблудились окончательно, то остались стоять на одном месте, чтоб не уехать еще далее от дороги в бескрайнюю снежную степь. Нами овладело состояние тревоги и безнадежности. Ночевать в степи до утра? Но метель еще сильнее разгулялась, и, возможно, продолжится она двое или трое суток.

Это тяжелое раздумье продолжалось двадцать-тридцать минут, и вдруг слева от нас появился бело-серый силуэт верблюда, за ним второй, третий... Это шел обоз казахских подвод, и, чтоб не сбиться с дороги, казахи вели верблюдов в поводу. Мы выехали на дорогу и через час добрались до казачьей станицы, где на заезжей заночевали. Трудно предположить, что бы с нами и лошадьми произошло, если б не казахский обоз.

Если раньше из книг Мамина-Сибиряка я знал о причудах приискателей, то здесь убедился на практике. Один из старателей в степи нашел кустовое золото и сдал его в банк что-то тысяч на тридцать пять. Поехал в Орск, нагрузил две подводы водкой и загулял у себя на приисковом поселке Кумак так, что все пьющие в поселке бражничали трое суток. Затем через всю улицу, от одного порядка до другого плотной цепочкой-стеной наставил бутылок с водкой, чтоб никто не мог проехать или пройти, не искусившись живительным бальзамом. И каждый, кто шел или ехал по этой дороге, останавливался и принимал участие в торжестве по случаю счастливой находки золота. Потом счастливый приискатель продал свою заявку богатому казаку, который понес большой убыток, «золото ушло».

Работа участкового врача меня и жену больше не интересовала. Почти семилетняя жизнь и работа в участковых больницах убедили меня в том, что необходимо получить узкую специализацию. С начала врачебной работы меня интересовали акушерскогинекологические и кожно-венерические болезни, а жену глазные болезни.

Надо было уезжать в Самару на специализацию, чтоб потом остаться на работе в городе. Начали настойчиво хлопотать об

увольнении с работы, но никто увольнять нас не хотел. Тогда я сдал больницу фельдшеру и обратился в свой профсоюз за содействием об увольнении по собственному желанию, так как я заранее, за два месяца предупредил администрацию о своем уходе с работы и считал вправе оставить работу. Но этот приводной ремень администрации вынес решение: уволить по шестому пункту кодекса, без права поступления на работу в течение шести месяцев. Так раньше, во времена Салтыкова-Щедрина и Чехова неугодных увольняли по седьмому пункту, а теперь по шестому.

С таким документом ехать на работу в город, да еще поступать на курсы специализации я не мог и вынужден был «через сгибание спины перед старшим писарем полка» получить справку, что уволен по собственному желанию.

В марте тридцать первого выехал в Самару. Семья же пока оставалась на месте до устройства с квартирой в Самаре.

По приезде остановился на квартире у старых моих хозяев Паляевых на Крестьянской улице. Пошел в горздрав с просьбой назначить меня в областной кожно-венерологический диспансер на работу стажером-субординатором и предъявил требуемые документы, со справкой с последнего места работы. Мне учинили формальный допрос, как обвиняемому: «Как это вас могли уволить по собственному желанию, что, там врачи не нужны?!». И отказали мне в моей просьбе, видимо, потому, что не захотелось мне быть крепостным. Говорили со мной надменно, с высоким превосходством чиновничьего тщеславия. Такие чиновники имеют успех, почет и продвижение по службе.

Неудачная попытка закрепиться в городе через горздрав вынудила идти на поклон в облздрав. Там предложили заключить договор: отработать по окончании стажа один год в районе — на что я охотно согласился, так как другого выхода не было. Через год смогу остаться в городе с узкой специальностью. Вскоре приехала и моя семья. Жена поступила на стаж по глазным болезням.

В областном кожно-венерическом диспансере [я работал] вместе с другими шестью стажерами. Наша специализация проводилась по кабинетам кожному, сифилитическому, гонорреи острой, хронической и женской, под руководством ординаторов и дирек-

тора диспансера Неймана. Хорошая светлая память сохранилась о моих учителях: докторе Петрове Сергее, Громове Владимире, Мореве и других. Жизнерадостные, критически мыслящие — мы все вместе составили медицинский сатиро-юмористический журнал, имевший успех у сотрудников диспансера.

Среди врачей особенно энциклопедическими знаниями обладал Петров Сергей. К нему обращались за теоретической и практической консультацией. Давно жизнь подтвердила, что чем большими знаниями обладает человек, тем человечнее он относится к сотрудникам по работе и к каждому человеку в обществе.

По приезде в Самару я пошел первый раз в столовую. При входе мне дали ложку, прошел к кухонному окну, отдал чек, получил на обед полусилосные щи и кашу, поел и пошел к выходу, но в дверях меня задержали и потребовали от меня отдать ложку, которую дали мне при входе, но я не знал, что ее надо было возвратить при выходе. Только вмешательство зава столовой и мое звание врача освободило от подозрения в хищении ложки, которую после обеда, по моем уходе от столика кто-то быстро стащил. После этого случая с ложкой в столовой не расставался.

Другой случай произошел с веником. На Троицком рынке случайно купил камышевый веник и нес его на виду подмышкой. Шел многолюдной Ленинградской улицей, и вот начались возгласы вблизи и вдали: «Гражданин с веником! Где покупали?», отвечаю, через одну-две минуты снова: «Гражданин с веником – где покупали?». Мне эти возгласы стали надоедать, тогда я спрятал веник под полу пальто и спокойно пришел домой.

* * *

Окончилась шестимесячная стажировка. Нейман провел с нами семинар, нашел, что мы достаточно подготовлены к самостоятельной работе, и направил в распоряжение облздрава. В облздраве я получил направление в Байтуганский район заведовать соцотрядом – кожно-венерологическим и глазным – по борьбе с венерическими и глазными трахоматозными заболеваниями. Два врача, две медсестры и две санитарки выехали из Самары и по

совету местного участкового врача обосновались в русском Байтугане — центре трахомы, сифилиса и гонорреи. Два месяца проводили подворные обходы-осмотры в селах района, затем развернули лечебную работу в приспособленном доме раскулаченного крестьянина. Работа в соцотряде узкоспециальная, и даже в условиях района она имела большое преимущество перед универсальной работой участкового врача.

Там, в районе, я сделал попытку выяснить, возможно ли поехать на свидание с братом Александром в Югославию. Подал заявление в Самарский облисполком. Оттуда мне сообщили, чтоб я обратился в Бугурусланский отдел исполкома. Вскоре [туда] приехал районный уполномоченный НКВД, «опекун духа и мысли». Хотя и чуя, что его допрос не к добру, я поехал в Бугуруслан. Когда я говорил с чиновницами отдела, они непрестанно спрашивали: вы русский? — да русский — подождите, и так отвечали мне несколько раз. Потом сказали, что уполномоченный выехал в район — зайдите через два-три дня. Ждать не стал и поехал в Самару.

Встретился там с другом Котовым. Он решительно посоветовал оставить попытки съездить к брату ввиду неблагоприятной внешней обстановки, и с того времени мечта моя о поездке к брату была погребена на многие годы, до шестьдесят второго.

Лечебно-обследовательская работа продолжалась более года. В конце тридцать второго года соцотряд расформировался, и мы с женой возвратились на работу в город Самару. Вначале работал в поликлинике венамбулатории центральной больницы. В то время модным было посылать на некоторое время врачей города в район, и мне как молодому врачу предложили поехать на год-другой. Вызвали в горздрав, предложили поехать — я отказался. Тогда специальным прошением сняли меня с работы с явкой в распоряжение горздрава. Таким образом я оказался без работы, а, следовательно, и зарплаты. Когда же я обратился к своему шефу, профессору Зенину, тщеславному чиновнику, чтоб он помог остаться мне на работе, то чинуша заявил: «Нет, поедете». — Нет, не поеду, — сказал я.

Мне стало ясно, что другого выхода нет, как искать работу где-то помимо горздрава. Тяжело было сознавать эту отчужден-

ность собратий по профессии, разделение на привилегированных и обездоленных в правовом и материальном неравенстве. Начались поиски работы.

В железнодорожной поликлинике доверенным врачом дороги работал мой однокашник врач [Ваня] Малов. Малов хорошо знал меня и сказал, что есть место врача медпункта вагонного завода, «а потом, когда познакомишься с сигнализацией заболеваемости, можешь принять заведование поликлиникой, так как сейчас нет у них на эту должность кандидата более достойного». Я с благодарностью принял его предложение. Через два месяца лечебносанитарным отделом дороги был назначен по его рекомендации начальником поликлиники.

Профессор Зенин в то время жил небогато и имел часы консультанта в железнодорожном вендиспансере. И вот однажды явился в канцелярию поликлиники за получением заработной платы. Знал ли он или не знал, что я работаю начальником поликлиники, но, встретившись со мной, начал восклицать: — Вы здесь работаете, а мы вас как венеролога потеряли, неужели вы порвали со своей специальностью... вы заходите ко мне поговорить... полагаю, что не оставите свою специальность! Я поблагодарил за сочувствие и пожелание и сказал бухгалтеру, чтоб он выдал побыстрее ему зарплату. Так Магомет поклонился горе.

Оставаясь начальником поликлиники, я одновременно начал работать вечерами в вендиспансере на полставки. Встречаясь на работе, я держался с Зениным лояльно, зная, что в дальнейшей жизни придется работать под его шефством. От прежнего его гонора не осталось и следа. Тон разговора и выражение лица имели дружеский, товарищеский характер, а не тот — прежний — поедете! Такая артистическая метаморфоза произошла потому, что я от него не зависел и просто мог закрыть его консультацию в диспансере, лишив его части заработка. Так материальная зависимость меняет характер человека.

СЫН

Прошло несколько лет с тех пор, как Таня, ее отец и мать были отправлены из Старого Буяна на ссылку. Несколько раз в разное время разыскивал их, но поиски были безрезультатными. А чувства первой, юной любви оставались с Таней. Порой ярким, пламенным желанием воскрешалась любовь и снова подавлялась тоской безысходной. Говорят, что любовь, как и вера, без дел мертва. Да, время сглаживает остроту чувств, но желание того, что когда-то переживалось всем существом, не может забыться. При всех условиях жизни остается отрадное отдохновение воспоминаний, радостно-тоскливое, мучительное, вечное стремление к тому очаровательному прошлому, которое осталось жить в душе и сердце.

Ее со мной не было, но в душе жила сокровенная мечта о встрече с ней. А совместная жизнь с женой с первых лет не ладилась. Она трижды инсценировала уход и трижды возвращалась. Предвиделся распад семьи [...].

В начале тридцать пятого года, перед поездкой в Казань на курсы усовершенствования, у меня произошла с женой очередная глупо-унизительная ссора. Из одного учреждения, которое режимит общество, неожиданно уволили племянника Николая, и он оказался без средств к жизни. Я сделал ему небольшую материальную помощь: у него не было брюк под ботинки, я отдал ему из своих одни брюки, и этого достаточно было для взаимных унизительных оскорблений. Много раз предупреждал ее, что если не изменит своего отношения, то разлад окончится тем, что я уйду от нее, на что она отвечала: «Я не держу, уходи». «Что же не уходишь?» — говорила на второй и на третий день. Любила ли она меня? Любила, и много, о чем я узнал впоследствии, когда произошел окончательный разрыв.

В течение многих лет я знал издалека подругу племянницы, студентку Петриченко. Вместе они учились в фельдшерско-аку-

Сын 127

шерской школе, затем в мединституте. Ходили часто к моей сестре на дачу, там отдыхали в выходные дни. Бывая у сестры, я иногда встречался с ними, но каких-либо видов на любовь к подруге племянницы не имел, тем более не имели их сестра и племянница

И вот, будучи уже в Казани на курсах усовершенствования, неожиданно получил от нее письмо. Она писала, что знает о моей неприятной семейной жизни с Вишняковой и сочувствует мне. Писала о своих дружеских теплых чувствах, на что я ответил ей письмом, что ее хорошее отношение ко мне явилось светлым лучом в моей неудавшейся семейной жизни. Она снова написала более откровенное письмо, второе, третье и так далее, на что я восторженно отвечал.

В этот год она заканчивала мединститут, и предстояло ей по разверстке ехать на работу куда-то в края отдаленные. Я начал идеализировать ее отношение ко мне, как искреннее чувство любви. [...] Мечты о взаимной счастливой жизни будущего захватили нас обоих, как и всех других, мечтающих пройти жизненный путь в любви вечной. Я не знал, что только исключением из общего правила являются Волконские, Трубецкие, Раевские, любящие сверхчеловеческой любовью при всех невзгодах жизни. [...] Их «не от мира сего» ничтожно мало, и только в будущем, в каком-то столетии их станет в вольном обществе большинство. И тогда исчезнет в людях всякое небесное или земное рабство духа и тела.

Каждый окончивший врач обязан был по разверстке проработать три или чаще более лет там, где укажут власть имущие. Перед окончанием мединститута Петриченко получила путевкуназначение на работу на Дальний Восток в сельский район. Через месяц по моем приезде в Самару, в начале тридцать пятого года, началась наша совместная жизнь, и началась переписка с Министерством об отмене путевки-назначения ввиду замужества. Из центра последовало «милостивое решение» передать ее в распоряжение облздрава, а этот направил ее за двести пятьдесят километров в участковую Старо-Кряжимскую больницу Пензенского района, и никакие доводы-хлопоты не смогли оставить ее на работе вместе со мною в Самаре, как мою жену. Начались мои по-

ездки к ней и, нашей общей радости, она забеременела. Мы были счастливы, что на четыре месяца она получит декретный отпуск, приедет ко мне в Самару, и как-нибудь найдем выход, чтоб зацепиться на работе в Самаре.

Комната, где я с ней жил до ее отъезда в район, оказалась совершенно непригодной для зимнего жилья — вся заплесневела. С большим трудом нашел и снял комнату в восемь метров, побелил, покрасил полы, окна, а в феврале тридцать шестого года привез жену в Самару. Комната в восемь метров нас устроить не могла, а чтоб достать большую, надо было иметь деньги. Одна служба не могла дать средств для накопления. Я начал работать на двух-трех службах без выходных дней, чтоб через несколько лет скопить некоторую сумму денег на обмен-покупку большей квартиры.

Ранним апрельским тихим и теплым солнечным утром жена сказала, что время идти в родильное отделение, а на мое предложение поехать отказалась — я хочу идти пешком. По дороге несколько раз просила остановиться во время болей. А утро было такое ласковое, улыбающееся, да и мы оба были солнечно-ласковые душой и сердцем. Благополучно пришли в родильное отделение центральной больницы. Простились. В ночь, двадцать первого апреля, родился сын. Сбылась моя многолетняя мечта иметь сына!

Когда я утром пришел навестить их, то она запиской сообщила, что сын просит принести ему модных в то время папирос «Пушки». Я хотел назвать сына Александром, но жена настояла на Сергее. На седьмой день мы шли из родильного отделения, я нес сына на руках и поддерживал под руку жену. Счастливые рождением сына и счастливые друг другом, мы не знали судьбы своей, что через пять лет она разъединит нас.

Через месяц после родов жена заболела маститом — грудницей. Два месяца пролежала в железнодорожной больнице вместе с сыном, и я каждый день два раза, утром и вечером приходил навещать их, посидеть у кровати жены или побыть с ней и сыном в больничном садике час-другой.

Окончился декретный отпуск жены. Пришло время возвращаться с грудным ребенком на прежнее место работы: хоть три

Сын 129

года она обязана там отработать. Как говорится, свет не без добрых людей. И такой человек нашелся: в аппарате горздрава работала врач — однокурсница по мединституту. Они хорошо знали друг друга, и это помогло жене поступить «по бумажке» от горздрава сверхштатным ординатором-стажером на работу в акушерско-гинекологическую больницу Института охраны материнства и младенчества. Через три месяца ее зачислили в штат, и с того времени работа ее в городе стала прочной, началась наша спокойная служебная и семейная жизнь.

Квартирные условия оставались те же. Три года работы со всеми совместительствами дали возможность обменять комнатукартиру на большую. Обменяли, но через год сделали второй обмен, на квартиру в тридцать восемь метров. Теперь вся заработная плата расходовалась на самих себя. Жизнь стала лучше, отраднее. Каждый год на время летних отпусков мы уезжали в Старый Буян, в мой отчий дом, где в то время жила – с тридцать второго года — жена брата Наташа с четырьмя детьми дошкольного и школьного возраста Шурой, Сережей, Витей и Лидой, после гибели брата моего Дмитрия на канале Москва-Волга, куда на десять лет отправил его за три пуда хлеба Иосиф Кровавый.

Дети свою мать звали мамакой, а потому и наш сын стал тоже звать ее мамакой. Когда приезжали с Сережей еще в грудном его возрасте, клали его в зыбку, а Витя, за ком сахару, укачивал его и тонким голосом пел — ии.. ии.. ии.

Днями и вечерами мы гуляли по берегам Кондурчи, купались, закаливались, ловили рыбу, собирали лесные ягоды. Сын с раннего детства был подвижной, энергичный, неугомонный, но послушный — радовал нас обоих. Когда стал постарше, ловил с Витей пескарей маленьким бреднем под нашим наблюдением. Все это всех нас радовало, а однажды жена так была увлечена радостью жизни, что искупалась вместе с ручными часами.

В Самаре поздней осенью, после работы или в выходной день вместе с сыном, а иногда и женой ходили рыболовить большим бреднем в озера и баклуши за реку Самару. До Хлебной площади ехали трамваем, по пути заходили за знакомым фельдшером и шли километра два пешком. По дороге до места рыбалки два-три раза сажал сына себе на спину, что он любил, а через некоторое

время он снова бежал впереди нас. Походы наши всегда были удачными – без рыбы домой не возвращались, и часто рыбок Сережа относил в свой детсадский аквариум.

А однажды ранней весной в разлив мы с сыном стояли на берегу Волги по Некрасовскому спуску. Смотрели на ледоход и на весь окружающий нас мир. Вдруг в мутной воде, у самого берега появился всплеск воды и часть самой рыбы. Быстрым движением руки, вместе с водой я выбросил налима на берег. Насадили его на кукан, сын сам нес всю дорогу до дома, а там жена поджарила, и сын с большим аппетитом съел. В то время ему было около трех лет, и, кажется, он этот случай запомнил.

Некоторое время моя мать жила в Самаре то у меня, то у дочери на даче, где ее муж Иван Матвеевич работал конюхомсторожем. Здоровье матери стало слабеть, и с лета тридцать шестого года мать слегла в постель — началось общее увядание организма. Сознание почти до конца жизни она не теряла. Ей было семьдесят восемь лет. Умирание, наступление смерти трагически тяжело переживается каждым, но мать умирала с верой в будущую жизнь. Что же! Эта вера морально поддерживала ее [...]. Все лучшие события в ее жизни были связаны с религией, и в ней находила она забвение и утешение от житейских и душевных невзгод, от экономической и моральной несправедливости в жизни людей и общества.

Вечером тринадцатого августа тридцать шестого года, в воскресенье во время моего дежурства на Скорой помощи, приехал на станцию муж сестры Марии Иван Матвеевич и сообщил: — Мамаша скончалась. Я тут же отпросился, сдал дежурство, зашел домой известить жену и уехал на всю ночь к дорогой и любимой, верной и неизменной матери.

В жизни много было любви к другим и от них ко мне, но никогда не было от них истинной, всепрощающей, преданной, душевной материнской любви. Я предвидел неизбежный конец и ждал со дня на день, но когда закончился ее путь жизни – я почувствовал, что она с собой унесла и часть моей жизни. Ведь лучшие годы детства прошли с ней, семейные и общие переживания, что разделялись нами вместе одной душой и одним сердцем.

Сын 131

В течение двух дней хлопотал об оформлении похорон, извещал родных и все ночи находился при матери. В день похорон собрались все родные, кто мог. Я ни одной слезинки не проронил до выноса матери из дома сестры. Но как только взяли из дома гроб с матерью, неудержимым потоком полились слезы. Жена стала утешать меня и сама расплакалась. Так часто человек в тяжелом горе вначале все видит, знает и понимает, но истинное познание случившегося проявляется с особой ясностью и силой через какой-то промежуток времени.

Похоронили мать на городском кладбище в Самаре. Перед опусканием в могилу кладбищенский священник пропел вечную память. Дважды в год, весной и осенью в течение пяти лет я посещал могилу матери вместе с женой, а иногда вдвоем с сыном. Но в декабре сорокового года я был отправлен в тюрьму, а потом в концлагерь на десять лет. А вскоре началась всемирная человеческая бойня — война, и она дошла до кладбища: деревянные памятники истреблялись на дрова. Когда я возвратился из сталинского концлагеря и пошел на могилу матери, найти ее уже не мог — кресты спилили.

* * *

Шли дни, годы. Сережа рос и развивался. В городе много преимуществ для детей: библиотеки, театры, цирк, зверинец, музеи, храмы, парки, десятки учебных заведений, клубы и многое другое, чего нет и не будет в сельском быту. Но в городе познание природы ограничено, видеть и чувствовать ее можно только в селе. Поэтому каждый год брали отпуск в летние месяцы и все вместе уезжали в Старый Буян на простор мысли и мечтаний, в поля, леса, на Кондурчу. Возможно, тогда еще сын полюбил природу, почему впоследствии и стал геологом.

А в Самаре в выходные дни уезжали к сестре и ее мужу на дачу четвертой просеки, где они в то время жили. Между нами установились дружески-доверительные отношения. Они радушно нас встречали, и никто не знал, что жена оставит меня в годы бед и несчастий в тяжелой судьбе. А было тогда прекрасное время.

Когда еще жива была моя мать, она брала Сережу на руки, держала на коленях и была счастлива нашим общим счастьем.

До трехлетнего возраста сын оставался дома с няней, а потом до школьного возраста — в детсадике, и часто, идя на работу, я отводил его, а идя с работы, заходил, и шли домой, где нас ждала и радостно встречала моя жена и мать сына.

Несмотря на большую занятость «хлебами насущными», находилось время побыть вместе с товарищами и друзьями по медфаку и с друзьями по революционным идеям. Все мы, молодежь, во время революции и гражданской войны впитывали в себя все новое, революционное. Мы ясно поняли, что все, что угнетает человека и общество, должно исчезнуть в России теперь же, сегодня, а впоследствии и во всем мире. [...] Мы были молоды и полны решимости создавать всеобщее равенство среди людей на одной шестой части планеты Земли.

Но потом, в последующие годы, начался разлад. Одни в меньшинстве начали жить в лучших хлебах, другие, большинство, в худших, и чем больше крепло государство, тем значительнее и бессовестнее шло расслоение общества. [...] Общество разделилось на управителей – господ чиновников, и управляемых – тружеников сел и городов.

Скудность в хлебах побудила меня вопреки моим убеждениям заняться частной практикой, и с этого времени прекратилась изнуряющая низкооплачиваемая работа на двух-трех совместительствах. В доме появился материальный достаток. Стало больше свободного времени, появилась возможность мечтать о поездке на берег Черного моря весной или летом будущего года всей семьей.

* * *

Шел сороковой год. Радостно было осознавать, что жизнь материальная становилась светлей. Все мы были счастливы, и казалось нам, что никогда так много не было любви между нами в семье. Окружающая жизнь и люди стали казаться солнечнее.

Сын 133

Стремление к лучшей жизни каждого человека начинается со дня его рождения и продолжается всю жизнь, но только меньшинство, стоящее во власти и у власти, достигает границ сытых хлебов, а все прочие остаются при малых хлебах, С начала частной практики я тоже стал переходить от малых к большим хлебам.

В декабре начали готовиться к Новому Году. Купили елку и украшения к ней. Но неисповедимы пути богов земных, господствующих и властвующих, в руках которых находится судьба человека и общества. И вот в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое декабря сорокового года ⁴⁷ произошла трагедия в моей жизни, а, следовательно, и в жизни семьи и моих родных. Исчезла семья, родные, знакомые, работа, елка и поездка на берег Черного моря. Исчез и я. [...]

⁴⁷ В оригинале «сорок первого».

APECT

В годы студенчества я и многие другие увлекались идеями нового быта, исканием других, еще неизведанных путей, ведущих к обетованному раю на всей Земле. Многие из нас во время революционного разрушения старого и созидания нового мечтали об осуществлении в ближайшем будущем равенства экономического, политического и морального. Всей душой приветствовали Октябрь, как начавшуюся зарю солнечной жизни в роде человеческом. Нашему увлечению не было границ. Мы со всей страстью юношеской энергии обрушились на все религии мира, неизменно вели борьбу на диспутах, утверждая, что не Бог, а человек создал богов по образу своему и подобию. Посещали все клубы всех партий, митинги, диспуты, лекции, с юношеским пылом воспринимали все революционное, прогрессивное и добавляли из книг и брошюр, свободно покупаемых в магазинах и книжных ларьках города Самары.

Часть книг с того времени сохранилась у меня в личной библиотечке, там же находились книги Бухарина о политэкономии, Кнорина «Азбука коммунизма» 48 и другие, по которым велось преподавание в медфаке и других учебных заведениях до тридцать пятого года. Тогда же я написал стихотворения о порочности земных и небесных властей. Обе книги-тетради также находились в библиотечке. Имелось еще десятка два книг о создании безвластного коммунистического общества — Бакунина, Кропоткина, Цоколли, Себастьяна Фора, Прудона, Штирнера и других. Тогда же студент Котов, мой товарищ, дал мне несколько килограммов печатного шрифта для дроби. Вместе с ним мы распространяли листовки о Кронштадтском мятеже в медфаке.

Но промчались годы студенческой жизни, окончен медфак, много лет пролетело во врачебной работе. Другие интересы, запросы, хлопоты и заботы пришли и утвердились, оставив былое

⁴⁸ Кнорин – историк партии. Авторами «Азбуки коммунизма» были Бухарин и Преображенский.

Apecm 135

в воспоминаниях. И вот, когда через двадцать лет я вспоминал изредка в кругу знакомых былое в годы революции — в этом кругу оказался агент-осведомитель.

Казалось, что бы особенного в том, что во времена давно минувших лет я и многие другие посещали клубы, диспуты, доклады, митинги, преимущественно крайне левых направлений. Что было особенного в том, что политэкономию изучали по Бухарину, а азбуку коммунизма по Кнорину, по приказу этих же власть имущих марксидов, и что шрифт израсходован на дробь, и что распространял правдивые листовки Котов при моем содействии, и что особенного в том, что имелись книги Ю. Стеклова о Бакунине, Бакунина, Кропоткина, Прудона, Цоколли, Себастьяна Фора и других, изданные после Октября Когизом, и, наконец, что особенного в том, что имелись стихи, зовущие к конечной цели общества — безвластному коммунизму.

Оказывается, у власти марксидов выросли рога — она превратилась в черта и частично пожрала сама себя и своих создателей. А поэтому можно было читать и иметь у себя только те книги, которые содержали библейское сказание марксидов от Иосифа Кровавого. Все же, исходящее не от него, являлось преступлением и истреблялось. Бывший семинарист, а потом марксид, Иосиф Кровавый усвоил из семинарии завет Иеговы [...] и применил этот завет в реальном человеческом обществе: «Я есть бог твой, да не будет тебе другого бога, кроме меня! Если же у тебя будет другой бог и поклонение ему — то смерть тебе и богу твоему!». Психоз истребления достиг такого размаха, что каждый ложившийся спать сегодня дома не знал, где будет находиться через час или через день, на работе или в застенках опричников.



Накануне трагедии тихо и спокойно текла жизнь. Как и всегда встал в семь утра, включил электрочайник, умылся, вскоре встала

и жена, довольная тем, что чай был готов. Позавтракали. Затем проснулся сын, присоединился к завтраку. Позавтракав, жена ушла на работу, а я пошел проводить сына в детсад, а оттуда к себе на работу.

Домой возвращался раньше жены, а потому зашел в детсад за сыном и вместе шли домой. Через час-другой пришла жена, готовила обед, после обеда и короткого отдыха пошли гулять. После прогулки чем-то занимался с сыном, потом вел прием больных. А накануне все ездили на дачу к сестре, где хорошо отдохнули.

Часов в десять поужинали всей семьей. Вначале сын, а потом жена легли спать [...]. Дома была приготовлена елка и елочные украшения для встречи Нового года, и хотелось тихих радостных дней в будущем.

Мне спать не хотелось: неясное, тревожное предчувствие овладело мной. Что-то неспокойно было на душе. Мысленно стал проверять сегодняшний день на работе, в семье, прошедшие недели, месяцы и годы своей жизни и жизнь окружающих людей и ни в чем не мог найти причину тревожного состояния. Начал читать медицинскую книгу — отложил, что-то не читалось, взял беллетристическую — тоже не читалось. Появившееся душевное беспокойство продолжало усиливаться. Я оставил чтение, прошелся много раз по комнате в своем кабинете и так и не мог определить причину беспокойного тревожного состояния.

Время подходило к двенадцати часам ночи. Разделся, выключил свет и лег вместе с женой. Говорят: полежишь — уснешь, зная, что сон лучший врач недугов духа и тела, но сон не шел, а наступило забытье, когда человек сознает, что он не спит, и в то же время не бодрствует.

И вот увидел я себя то идущим полем, то по росистому, цветному лугу, озаренному лучами заходящего солнца, то по лесу, в сгущающихся сумерках, то вдруг поднимаюсь и лечу по воздуху, радуюсь и славлю высь поднебесную и лучи заходящего солнца. Славлю жизнь свою, родных, и знакомых, и друзей, и людей всего мира — так радостно и светло стало в душе моей.

Исчезло понятие о неравенстве в хлебах между людьми — это зло всех времен и всех народов, и осталась на земле одна радость добра в людях, одетых в серебряные одежды, с лицами, сияющими всеми цветами радуги. Исчезли границы между народами во

всем мире... Исчезли люди с оружием: некого стало угнетать и некого защищать, ибо каждый был сытым и одетым. ... Все орудия, средства и продукция производства принадлежали самому народу, народу, самоуправляющемуся через статистическо-экономические и культурные бюро.

Исчезло зло господства одних и рабства других, пороки и вражда человека с человеком. Не было больших и малых, угнетателей и угнетенных на всей земле. Никто не имел больше того, чтоб быть сытым и одетым...

Слышался голос земли: славьтесь, славьтесь, солнечные люди и солнечная земля, ибо зло земли — Власть умерла!

Но вот в небесной выси начали сгущаться черные тучи, и начались грозные раскаты грома. Молнии прямыми стрелами пронизывали небесную и земную твердь... Померкло Солнце, и всюду наступила тьма непроглядная и бесконечная... Взвилась страшная буря и прибила меня к земле. Тысячи тысяч людей приближались ко мне с воем и скрежетом и лясканьем зубовным. Вот они совсем уж близко, идут, ползут... От их зловонного, смрадного и хриплого дыхания я начал терять сознание и... все исчезло – я проснулся.

В коридоре за дверью послышался топот нескольких ног и звонок в квартиру. Встать и открыть дверь мне не хотелось: во втором часу ночи никого к себе не ждали. Встала жена, включила свет, накинула на себя халат и на вопрос: кто – услышала знакомый голос соседки – откройте.

Я приоткрыл веки и увидел неожиданных ночных посетителей: взошли двое в военной форме, один в штатской, и двое знакомых по дому с перепуганными лицами, как выяснилось потом — понятые. Трое неизвестных назвали себя сотрудниками МГБ.

Здесь живет Трудников Сергей Николаевич? — спросил в штатской форме. — Да, здесь, это я. Я приподнялся в кровати и спросил — Что вам угодно! — Оденьтесь, мы пришли по нужному нам делу.

Слез с кровати, оделся.

Мне непонятно было, зачем они пришли, но чувствовал и знал, что их посещение несет с собой горе и несчастье: их произвол так свирепо начался еще с тридцатого года, о чем знал стар и мал. Жена бледная, испуганная безмолвно сидела на краю кровати. Один из сатрапов позвал меня в кабинет и предъявил мне два ордера: один на обыск, а второй на арест. С дрожью в голосе, со слезами на глазах, побелевшими губами жена спросила: За что? — Не знаю — ответил я, да я и знать не мог, что в чем-то неблагонадежен пред святейшей инквизицией опричников.

Затем один из них поставил стул к стене, указал пальцем и злобно прохрипел: «Садись, со стула не вставать, ты арестован!». Я молча сел на указанный мне стул и продолжал сидеть во все время обыска. Холодный пот выступил на моем лице, а по бледному лицу жены с посиневшими губами катились слезы. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами и спрашивала: «За что? За что?».

Я знал, что, начиная с тридцать четвертого года, по ордерам и без ордеров многие тысячи тысяч арестовывались по ночам из квартир и днем из учреждений, и почти все они безвестно и безгласно исчезали.

Понятые молча, окаменело стояли у входной двери. Один из сатрапов закрыл все окна газетами сверху донизу. Обыск продолжался. Книги, мебель, матрац, чемоданы, табуретки — все перевернули вверх дном. {Отобрали несколько книг в отдельную стопку, перевязали бечевкой. Это были книги Бухарина «Полит-экономия», Кнорина «Азбука коммунизма», Троцкого «Уроки Октября», Прудона, Бакунина, Кропоткина, Штирнера и другие по теории анархизма}. И в это время я вспомнил, что когда-то жена говорила мне уничтожить эти книги, ставшие теперь моим несчастьем. Тогда я не соглашался с ней и не считал их недозволенными, а теперь из мухи будет создан слон обвинений меня во всех воображаемых преступлениях. И это ослушание жены еще мучительнее угнетало мое сознание.

Обыск закончился, отобрали документы, книги и предложили взять с собой пять пар белья и что-нибудь поесть ⁴⁹. Я встал, простился с женой и остановился у кровати безмятежно спящего сы-

⁴⁹ ИИ: «Взять с собой пять пар белья и на два дня продуктов питания! Зачем пять пар белья, изумленно сказал Иван Иванович, ни к кому не обращаясь. Все же жена положила две пары белья и продуктов в сетку».

Apecm 139

на. Придется ли увидеться с ним и с женой? Останется один с матерью без отца, будет расти, жить многие годы, не согретый заботой и любовью отца, и много лет будет вместе с матерью нести голгофский крест.

А завтра же, ради страха иудейского, сослуживцы и знакомые жены и мои будут только втайне сочувствовать нашему несчастью, но явно избегать всякого сочувствия. Я ранее знал из рассказов других о страшном произволе в годы коллективизации, с тридцатых годов, что взятые в сталинские застенки назад не возвращаются, а если и возвращаются, то с чертой оседлости и с практическим лишением прав.

Перед выходом из квартиры жандарм в штатском задержался у кровати сына и, обращаясь к жене, сказал: уберите ребенка в другое место. Жена молча перенесла сына на нашу постель. Сатрап-жандарм перевернул постель кровати и все разбросал по полу. Затем спросил жену: Есть ли дровяник, погреб, покажите. Двое сатрапов и понятые ушли в дровяник, разбросали дрова и вернулись, третий же сатрап сторожил меня в квартире.

Ну, теперь пойдем. Жена в последний раз спросила: — За что? — Не знаю, — ответил я. [...] В крайнем нервном возбуждении я встал со стула, еще раз простился с сыном и женой. В это время сатрап гаркнул: быстрее, без церемоний, бери связку книг и выходи. Во дворе жандармы подхватили меня под руки. Там у дома ждал Черный ворон. Один жандарм сел с шофером, а два другие втолкнули меня в машину и сели по бокам со мною... и вспомнилось царское: «... конвойные сбоку сидят».

* * *

В третьем часу ночи машина остановилась у здания сталинского областного синода МГБ во весь квартал. /Многие достоверно утверждали, что в тридцать седьмом и тридцать восьмом годах здесь в подвалах расстреливали и по ночам отвозили на кладбище близ села Воскресенки, что за городом, и там зарывали/. Двери Черного ворона открылись. Выходи — послышался грозный сиплый голос того, кто был в штатском. Я вышел с книгами в руках,

снова подхватили под руки сатрапы и повели на третий этаж своего департамента — Главного областного политического управления МГБ.

Ввели в большой кабинет с множеством ковров, массивных столов, диванов, кресел, стульев и черными портьерами на окнах, подвели к большому столу и указали на стул. Я сел. Подошел мордастый лет тридцати пяти сатрап. Его хмурое, сонно-серое обрюзгшее лицо хронического наркомана, его взгляд мутных глаз — смотрел на меня как бы спросонья — предвещал физические и моральные истязания и тяжелый исход предстоящих допросов.

- A, это ты, Сергей Николаевич! Давно тебя ждал. Я – начальник следственного отдела Селезенкин 50. Ну, наша работа с тобой будет еще впереди, а пока подпиши эти свои книги, что хранил их у себя – эту антисоветскую литературу.

На каждой книге расписался, да и не думал отказываться от них. Несмотря на трагическое душевное состояние от случившегося, я нашел в себе силы и решимость сказать — эти книги издавались не мною, а Госиздатом в первые годы Октябрьской революции, когда уж существовала Советская власть, и эти книги свободно продавались и покупались в Самаре и других городах.

«Но об этом поговорим», прервал меня Селезенкин. «Я тебе покажу, кем эти книги изданы» – и уставился на меня взглядом удава. «Отвести в комендатуру арестованного». Подошли два сатрапа. – Ну, пошли!

Повели длинными коридорами прямо, потом налево, а направо и налево комфортабельные следственные кабинеты, а во дворе их, соединенная коридорами, мрачная внутренняя тюрьма, со всех четырех сторон окруженная четырех этажными строениями. Там сдали меня под расписку дежурному коменданту.

Небольшая квадратная комната, решетчатые окна. /На скамейках вдоль стен полукругом сидело шесть надзирателей в военной форме МГБ. Один из них, с красным лицом мясника⁵¹, вышел на средину комнаты и начал отрывисто выкрикивать/: – Разденься!

 $^{^{50}}$ TP: «начальник следственного отдела майор Печенкин», ИИ: «начальник отдела капитан Печенкин».

⁵¹ ПТ: «дежурный комендант», ТР: «мордастый молодой старшина».

Apecm 141

Я снял верхнюю одежду — шляпу, пальто, пиджак — кругом ни стула, ни скамейки — положил на цементный пол. И вопросительно смотрю на своих мучителей. — Раздевайся совсем! Этого я не мог понять: ведь я разделся. Снова грозный окрик: — Раздевайся! еще раздевайся, донага.

Теперь я понял. Снял рубашку, брюки, нижнее белье и предстал пред их грозными очами в адамовом виде, до грехопадения с Евой. Жду, что будет дальше. Снова окрик: — Подыми ногу одну, другую, нагнись, стоять; подними руки вверх, опусти! В это время другие сатрапы прощупывали и перебирали мою одежду. Когда был закончен обыск одежды и тела, последовал окрик: одевайся. /Часы в комендантской тюрьме показывали пять утра/. Оделся и жду, что будет дальше. Явился тюремный конвой, повел куда-то полутемными коридорами и у одной из дверей остановился. Открыли замок, отодвинули железный засов, открыли дверь, и — окрик: заходи.

Я вошел, железная дверь закрылась, загремел засов, щелкнул замок, и увидел себя в большом каменном мешке — лабазе без окон. Тускло падал свет от электролампы у входа в камеру вверху на потолке. В одном углу цементного пола груда мусора — земли и крысиные норы, в другом — куча соломы. На стенах облезлые с выбоинами кирпичи. Невольно мелькнула мысль: здесь, наверное, расстреливают озверевшие инквизиторы. Грязный, захламленный пол; ни скамейки, ничего, на что бы можно было сесть или лечь.

Отошел на середину лабаза-камеры, подальше от крысиных нор, снял и положил на пол пальто и шляпу, мешок с бельем и пирожками, что дала жена при аресте, постоял минут десять и сел на вещи. Спать не хотелось. Мысли неустанно неслись к жене, сыну, к их ужасным переживаниям и несчастной судьбе. Как я для них, так и они для меня потеряны на многие годы, а может быть и навсегда. {А ведь с женой мечтали еще иметь два-три сына, а по работе нам в мае обещали дать путевки на курорт 52}. Мысли неслись, соединяясь в одно целое, расходились и снова

 $^{^{52}}$ ИИ: «на работе в следующем году Ивану Ивановичу обещали дать семейную путевку в санаторию в Крым».

возвращались: жизнь прошлая, до ареста, отрадная, настоящая скорбная и будущая во мраке неизвестности. [...]

В течение трех суток не хотелось спать и пять суток — есть. Неотступно мной владела одна мысль — дума: почему, зачем, кто виноват, «пастухи» или «стадо»? Почему добро является злом и зло добром? Кто так зло смеется над человеком и человечеством во имя рабства сытых хлебов? В таком состоянии прошло какоето время. Послышались глухие шаги над потолком камеры. Решаю про себя, что надо мной имеется второй этаж.

Началось позднее зимнее утро. Мне почему-то стало холодно. Надел шляпу и тут же увидел в верхней решетчатой части двери половину головы человека с большим носом и блестящими глазами. Не могу понять, что бы все это значило. Тут же услышал: «Сними шляпу». Я молча, не отрывая глаз от головы, снял шляпу, и голова в двери молча исчезла. Что бы это значило — думал и не мог решить. Чувствовал общую слабость и упадок сил физических и моральных.

Вскоре открылась в двери камеры форточка. Лунообразное лицо надзирателя предлагало мне взять пайку хлеба. Я отказался. {Зачем мне хлеб? У меня есть пирожки из дома. Есть я не хочу}. Надзиратель настойчиво предлагал взять, я отказывался. Кажется, он понял мое состояние и ушел, а часа через два в двери камеры послышался лязг и скрежет железного замка и засова, дверь приоткрылась, появился надзиратель и предложил идти за ним.

Прошли коридором прямо, потом повернули направо и очутились в замкнутом стенами внутреннем дворе тюрьмы. Вошли в небольшой каменный пристрой. Здесь парикмахер машинкой остриг волосы. Перевели в другую камеру, где старичок фотограф фотографировал и снимал отпечатки пальцев. /Два снимка, в профиль и анфас, и тут же намазал голландской сажей пальцы правой руки, положил их на лист чистой бумаги, надавил, повертел и сказал: — А вы не волнуйтесь, и отсюда возвращаются домой, — стараясь придать своему лицу добродушное выражение/.

Закончив дела в фотографии, надзиратель повел в душевую, а из нее в камеру внутренней тюрьмы, соединенной коридорами со следственными кабинетами с громадными четырехэтажными зданиями, окружающими внутреннюю тюрьму. С улиц города видны только фасады этих зданий, а тюрьма как бы спрятана,

Apecm 143

замкнута этими зданиями. Горожане знают это ужасное учреждение, и редко кто отважится пройти близ него.

Подошли к двенадцатой камере⁵³. Надзиратель передал меня дежурному под расписку, тот принял. Открыл замок камеры, отодвинул железный засов двери и рыкнул: — Заходи.

Я вошел, дверь захлопнулась, лязг засова и замка [...]. Камера в три шага длиной, полтора шириной, под потолком одно небольшое окно с железной решеткой и наглазником, из которого через узкие щели видна полоска серо-белого зимнего неба. Желтый свет электрической лампы. В камере ни стола, ни стула. В продольной стене приклеплены две деревянные полки-лежанки. Камера рассчитана на двоих /— две подъемные нары одна над другой/, а при надобности, при «большом урожае» набивают до отказа: только стоять и сидеть. У двери камеры в углу стояло железное ведро — параша для ночных и дневных дел по малому и по большому.

Ежедневно с утра до вечера выводили заключенных во двор внутренней тюрьмы на десять-пятнадцать минут подышать свежим воздухом в калде⁵⁴, под дулом ружья стрелка с вышки. На завтрак – в открытую форточку двери пайка хлеба в двести граммов и кружка горячей воды. В обед – немного тюремного супа, ложки четыре каши и двести граммов хлеба, а на ужин тоже двести граммов хлеба и кружка горячей воды, а иногда горсть магарной баши. В короткое время от такого питания наступало хроническое истощение и дистрофическое изменение тканей организма, чем и достигалось медленное истребление арестантов. Чувство голода арестантов не оставляло ни днем, ни ночью, и только во время допросов забывался голод и все, что осталось за тюремными стенами.

Когда я вошел в камеру, там находился молодой паренек, лет семнадцати-восемнадцати 56 . Познакомились. Приятное, еще без-

 $^{^{53}}$ ИИ: «номер тринадцать» (зачеркнуто «семь»). ТР: отвели в камеру под номером шестьдесят три. В ПТ и ИИ в шестьдесят третью камеру Трудников попадает через три месяца.

⁵⁴ Скотный двор, загон (самарское слово, из чувашского).

⁵⁵ Магара (магар) – семенная кормовая трава.

⁵⁶ ИИ: «лет пятналнати».

усое лицо, доверчивый взгляд начинающего познавать жизнь юноши. Узнаю, что он из городка Самарской области 57 , их в тюрьме четверо ребят, рассаженных по разным камерам. Обвиняют в антисоветской деятельности. Во время очередных выборов в Советы депутатов они, четверо товарищей, озорничали и безвредно хулиганили 58 . Так ли это было или нет — я не знаю, но мне было ясно одно, что это не какой-либо политический деятель, а просто молодой парень, порой не знающий, куда деть свою молодую силу-удаль и, конечно, никаким сознательным антисоветским деятелем не мог быть.

Летом работал трактористом, а зимой сельским киномехаником. Рано лишился отца, жил с матерью и двумя младшими сестрами и являлся их кормильцем. Он часто говорил с болью, что некому теперь без него позаботиться о них: кто теперь купит им муки, привезет дров?! Как-то само собой, без сговора он стал называть меня дядей и Сергей Николаевичем, а я его — сынком и Колей.

Коля был арестован раньше меня на два месяца. Сначала сидел со своими товарищами в тюрьме своего городка, а потом там решили их, как государственных преступников, передать на расправу в тюрьму МГБ.

Оба мы находились в состоянии невыносимого психического возбуждения, и явилась непреодолимая потребность что-то делать, двигаться, ходить до предела физической усталости, чтоб на какое-то время дать отдых нервному состоянию, забыться от зримых и незримых страданий. А потому мы с Колей установили очередность хождения по камере: если ходит один, другой, чтоб не мешать, стоит у стены. Сначала ходит один минут пять-семь, затем другой три шага вперед, три назад, и так попеременно та-

⁵⁷ ТР: «из Мелекесса».

⁵⁸ ИИ: Один из нас рассказал анекдот про колхоз. ... Да анекдот-то пустяшный. Когда Калинин приезжал в наш уезд в засушливый год, то говорил на митинге: чтоб был хороший урожай, то поле надо поливать водой из бочек и, кажется, в местных газетах было об этом напечатано. Не правда ли, дядя Ваня, как смешно. На митинге говорили Калинину, что надо на поля провести воду через мелиоративные устройства, а он говорит, бочками да ведрами поле поливать.

кое хождение продолжается час-другой. Появляется физическая усталость, желание посидеть. Тогда уменьшается, тупеет острота переживаний обо всем, что осталось за стенами тюрьмы. Первые два дня полностью прошли в камере, а потом дни и ночи делились пополам: половина в камере и половина в кабинете следователя на допросе.

В восемь часов вечера мы с Колей поужинали магарной кашей, до усталости походили по камере гуськом. Я молчал, а Коля в десятый раз рассказывал мне о своем безотрадном детстве, о бедности его матери и сестер, что они там, без его помощи еще более бедствуют, и все повторял: — Кто им будет покупать хлеба, дров.

Десять часов вечера. [...] Только что начали забываться в полусне, как в открытую форточку слышится настойчивый шепот: «Трудников, оденься!». Это значит надеть брюки, пиджак, ботинки и обязательно что-нибудь надеть на голову, заложить руки назад и ждать открытия двери камеры. Лязг замка, засова и окрик шепотом: «выходи». Надзиратель ведет коридорами тюрьмы, по каменной лестнице на второй этаж в помещение следственных кабинетов. У двери одного из кабинетов конвойный остановился, постучал и на голос: войдите — открыл дверь. Вошли вместе, я впереди, надзиратель сзади. Получив расписку, что сдал меня следователю, ушел. Здесь я должен соблюдать дикий звериный этикет: поклониться своему мучителю-следователю и сказать — здравствуйте!

В огромном кабинете четыре письменных стола с красным сукном, кресла, стулья, диваны, ковры, громадный сейф. На стенах в рост портреты вседержавного царя Иосифа и его подручного заплечных дел Берия. За столами и сбоку столов, в креслах, на стульях и диванах в позе древних римлян-сенаторов восседали девять следователей разного возраста, роста, полноты и худобы, цвета волос, причесок и без причесок, с разными физиономиями, с застывшими глазами рыб и удавов, одетые в штатскую и военную форму.

Один из них среднего роста, с серо-зеленым лицом, опухшими веками с бесцветными застывшими глазами ходил по кабинету,

косо вбок бросал взгляды, как бы готовясь к прыжку, чтоб половчее растерзать и проглотить намеченную жертву. В то же время другие восемь пар глаз смотрели в упор безотрывно. Тот, что ходил по кабинету, как я потом узнал, был старший следователь отдела дознания — капитан Потрохов.

Походив по кабинету молча, взял стул, поставил у дверного косяка и сказал: — Садись. Ну, Сергей Николаевич! Рассказывай нам о своей антисоветской деятельности, а, следовательно, и о контрреволюционной. Но раньше назови всех родных, знакомых, родителей, кто, где и кем работает теперь и раньше до Советской власти, и о целях хранения контрреволюционных книг.

Я вкратце рассказал свою биографию, отца, матери, братьев, о своем увлечении крайне левым революционным движением более двадцати лет тому назад. А по книгам Бухарина и Кнорина учили нас на медфаке и всюду до тридцать седьмого года, до их расстрела. И книги их по случаю оставались у меня в числе других книг, и нигде не сообщалось о необходимости их уничтожения. Работу мою вы можете видеть по трудовой моей книжке, где за последние десять лет имею несколько премий и благодарности за хорошую работу.

Едва окончил я повествование о родителях, себе, родных и знакомых, как началось вавилонское столпотворение. Все девять следователей разом заговорили, задвигались, некоторые повставали и наперебой начали кричать мне в лицо: — Не прикажете ли извинение принести и домой на машине отправить — яростно кричал главный из них. — А если б попался в тридцать седьмом-восьмом году, с тобой бы и разговаривать не стали. Почему держал антисоветские книги, почему вел антисоветские разговоры, рассказывая о студенческих годах? Почему брат остался за границей, почему другой где-то скрылся, почему третий в колхозе украл два пуда хлеба себе на еду? Куда девал типографский шрифт? — И так далее, и тому подобное изрекали опричники Иосифа, и один перед другим изощрялись в матерной ругани. [...]

- У вас все село Старый Буян контрреволюционное со времен девятьсот пятого года — это у вас всех в крови осталось.

Я сидел на стуле, молча слушал и думал: — Разве это Советская народная власть, разве это правое и скорое следствие — нет, это следствие произвола и насилия, расстреляют или сгноят в тюрьме и концлагерях, — мне стало холодно. То по очереди, то одновременно трое-четверо задавали вопросы и отвечали за меня сами в таком «вежливом» тоне, что меня и расстрелять мало. Так продолжалось часа три-четыре. Вначале я отвечал, защищался, а потом замолчал. Видимо, надоело и им, циркачам — устали. Старший нажал кнопку, явился надзиратель. — Уведи, сказал он охрипшим голосом, а когда я пошел, то один из них прокричал: ему бы морду набить надо.

Было два или три часа ночи, когда надзиратель привел в камеру. Сынок Коля не спал, а ходил по камере — ждал моего возвращения. «Ну что, дядя Сережа, что там было, тяжело, грозили, ругали, били?». Нет, Коля, бить не били, но грозили и матерно ругали. За всю жизнь нигде не слыхал такой мерзкой матерщины. Видимо, они специальную такую школу проходят, академию психологической матерщины. А в заключение сказали, что меня и расстрелять мало.

Эта атака опричников предрешала исход. Нервы не выдержали. Потекли слезы, и я зарыдал тяжело и неутешно. Коля со страданием смотрел и, сам страдая, говорил мне юношеские слова утешения – дядя Сережа, может, и не расстреляют.

— Может и это быть, но ясно одно, Коля, что жизнь моя кончилась. Будет не жизнь, а просто существование, с вечным клеймом неблагонадежного под негласным и гласным надзором, с ограничением в правах, работе и месте жительства. А может, не придется дожить ни до того, ни до другого. Ведь закон-то у них, Коля, в кармане, а потому и беззаконие для них — закон.

Вспомни, Коля, годы коллективизации, тридцать четвертый, тридцать седьмой, восьмой, да все годы с тридцатого года — массовое истребление мирных неповинных людей. Ни одна история народов Земли не знала такого массового истребления народов, тружеников общества, как история нашего народа в стране опричников Иосифа. Ведь он — шизофреник — провозгласил: чем ближе к коммунизму, тем больше врагов! Так шизофреник провозгласил, а два миллиона его соратников — верноподданные — радуются и торжествуют, хотя он и их самих порой не милует.

* *

Изредка я, Котов, Смеловский, Смирнов и другие товарищи по медфаку и близкие знакомые собирались и за чашкой чая и рюмкой вина вспоминали свои студенческие годы, увлечения революционными идеями - всем тем, чем была богата бурлящая молодость. А года за три до ареста на этих вечеринках иногда бывал вместе с нами некто по фамилии Смирнов 59 – платный агент МГБ, как это выяснилось еще до ареста, по его безобразному лабозному 60 хулению Советской власти. Он был знакомый одного из моих товарищей, который и приглашал его с собой на наши вечеринки, как хорошего своего знакомого. А оказалось, что зарабатывал он деньги тем, что письменно сообщал о нас в Самарское МГБ, от себя добавляя о нас всякие антисоветские небылицы. [...] Это и стало моим обвинением и моих товарищей техника Кроля, учителя Смирнова и Котова. И вот за давно минувшие дни, за мысли объявили государственным преступником, как были объявлены преступниками миллионы людей во всей стране. {Обвинение предъявляли по статье пятьдесят восемь, часть первая, пункт десятый и одиннадцатый, со сроком заключения от шести месяцев до десяти лет, но опричники стремились навязать еще статью о террористических высказываниях, вплоть до расстрела \.

Начались бесконечные повторные допросы об одном и том же. То вызывают на допросы подряд несколько дней и ночей, то неделями оставляют сидеть в камере, то снова вызывают на допрос без пристрастия или с легким пристрастием, без скулокрушения, но так, чтоб белое становилось черным, а черное белым. Все эти допросы сопровождались отборнейшей омерзительной десятиэтажной матерной руганью, настолько отвратительной, что, сидя на допросе, я молча смотрел и думал: ведь этот зверь, наверное,

⁵⁹ ТР: агент МГБ «Соколов».

 $^{^{60}}$ Местная форма слова лабазный, в данном случае в значении «низкий, вульгарный».

имеет семью, жену, детей, мать, отца, и как только может иметь их! $[\dots]$

Кто не знает сказку про белого бычка, советую узнать. По этой сказке велись и ведутся допросы опричниками царя Иосифамарксида.

В продолжение двух недель ни меня, ни Колю на допросы не вызывали, и мы как-то рады были этому. Дни шли за днями. Утром в шесть подъем и выход – вынос в общую уборную ночного ведра, там же умывальня, снова камера, кусок хлеба и кружка воды на завтрак, иногда до обеда или после обеда вывод на десятиминутную прогулку в тюремном дворе. В обед щи или суп, каша и пайка хлеба сто пятьдесят граммов. На прогулке мы с Колей старались больше надышаться: в камере была настоящая жара, вызывающая вялость и утомление физическое и моральное.

Вечером под Новый год на ужин нам дали синюю кашу из магары в виде плотного студня, а когда Коля стал вынимать ее из миски, она выскользнула из рук и упала на грязный пол камеры. С сожалением смотрели на загрязненную кашу, но все же решили очистить от грязи и съесть.

Было десять часов вечера. Неожиданно открылась дверная форточка камеры, появилась голова надзирателя — Вот тебе, Трудников, передача — получай! В этой неожиданной передаче жена прислала табак, масло, сыр, сахар и еще что-то. Где и как сумела она достать и на какие средства — не мог понять. Видимо, помогли добрые люди. Дорога была передача, но еще дороже проявленная забота родного человека, тоже страдающего морально и физически. В то же время посылка принесла с собой еще большую тяжесть душе и сердцу: с новой силой нахлынули воспоминания непоправимого ужасного горя. Как ни тяжело нам было с Колей, но встреча Нового года передачей нас обоих радостно умилила.

На второй день вечером неожиданно открылась дверь камеры, и надзиратель, обращаясь к Коле, сказал — собирайся с вещами. Коля надел шапку, полушубок, взял в руки узелок, посмотрел на меня доверчивыми юношескими глазами, проговорил: — Прощай, дядя Сережа. — Прощай, Коля.

Дверь камеры закрылась. Проходит неделя, вторая, третья — ко мне никого не помещают — это одиночка. Стало тяжелее на душе. Долгое одиночество мучительно без общения с другими собратьями по несчастью. Начинаю чаще и дольше ходить по камере. Устаю, отдыхаю и снова хожу до усталости, и так изо дня в день. Тяжко гнетут думы, и все их надо переживать в самом себе. А они неустанно гнетут с утра до вечера и с вечера до утра за тюремной решеткой. [...] Воспоминания обо всех близких душе и сердцу приходят, уходят и возвращаются вновь. [...]

*

* *

Месяца через три перевели тоже в одиночную камеру второго этажа, шестьдесят третью, и в первую ночь, после длительного перерыва — начались допросы. /По режиму внутренней тюрьмы МГБ днем/ спать или просто отдыхать-лежать запрещалось. Разрешалось только сидеть, а сидеть не на чем — лежанка-кровать высоко отстояла от цементного пола.

/Глазок в камерной двери неслышно открывается и закрывается дежурным надзирателем каждые десять-пятнадцать минут, а с десяти часов вечера заключенный должен лечь спать головой к двери/. Только что начал забываться в дремоте наступающего сна, как слышу настойчивый шепот: — Трудников, соберись, оденься! Открываю глаза и вижу в форточке двери лицо дежурного надзирателя. Оделся, щелкнул замок, лязгнул железный засов, и открылась дверь камеры. Надзиратель бесшумно ведет по знакомым уже коридорам и в одном из них останавливается. Он стучит в дверь, а нас там уже ждут, и голос: — Заходи!

Это кабинет начальника следственного отдела Селезенкина. Огромный, со многими столами, диванами, креслами, стульями, коврами. Получив расписку от Селезенкина, что я сдан ему — надзиратель уходит, дверь автоматически закрылась. Оставшись с глазу на глаз с Селезенкиным, я стою близ порога кабинета. Селезенкин некоторое время ходит по кабинету, круто поворачивается и молча бросает на меня косые взгляды, молча смотрит на портрет царя Иосифа исступленно-фанатично, а затем на меня ненавидящим взглядом мутных глаз.

Берет стул от одного из столов, подносит ко мне и говорит: — Садись. Настороженно с тревогой молча сел и жду «скорого и правого» пролетарского следствия. На Селезенкине военная форма МГБ, на плечах погон еще нет — они с рукавов переползли сначала на воротники, и только во время войны переползли на плечи, когда царь Иосиф жаждал иметь маршальские погоны на своих божественных плечах. А пока по шейным знакам отличия виднелся старший лейтенант. Селезенкин продолжал ходить по кабинету молча, молчу и я.

- Ну, сказал Селезенкин, о твоей антисоветской деятельности нам известно больше чем наполовину, а теперь об остальном расскажи сам. Село, где ты родился эсеровское, а значит, контрреволюционное. Это там у вас была Старобуянская республика в пятом году. При царе бунтовали это хорошо, а теперь пакостят нам. Какая у тебя связь со Старым Буяном, и кого там знаете? Кто Андреев Леонтий, вернувшийся из Сибири с вечной ссылки, какая связь с сыном Просторова Ильи, что поджег дом председателя совета в селе Новый Буян?
- Мне в девятьсот пятом году было восемь лет, а потому я не мог иметь какого-либо отношения к эсерам. В годы гражданской войны разделял взгляды большевиков и анархо-коммунистов, которые в первые годы Октябрьской революции не преследовались властью большевиков. Я стоял на платформе Советской власти, имея в виду, что марксизм является переходным этапом к анархическому бесклассовому обществу, без частного и государственного капитализма, и что Советское государство временное и преходящее, ибо государство и коммунизм взаимно исключают друг друга. В те годы два моих брата служили в Красной Армии, а когда закончилась гражданская война они погибли в концлагерях. Об Андрееве Леонтии я слышал, что такой есть, но никогда с ним не встречался, точно также сына Просторова Ильи не знаю⁶¹. [...]

⁶¹ В Книге памяти Самарской области упоминается Просторов Андрей Ильич (1904, с. Новый Буян – 1939) русский, б/п, колхозник, арест: 1939.07.21, осужд. 1939.08.11 военным трибуналом ПРИВО, приговорен к 10 голам заключения в ИТЛ.

- Назови всех своих родных, друзей и знакомых по службе и быту 62 . А кто это твой друг Котов, как он настроен к Советской власти?
- Котов в восемнадцатом году был членом Бугурусланского Совдепа, был партизаном по борьбе с генералом Дутовым на Уральском фронте. Вместе с ним учились в медфаке, и думаю, что он предан Советской власти.
- $-\,\mathrm{A}$ почему он часто стал бывать у твоей семьи после твоего ареста?

Я молчу. Дорогой друг Коля! Здесь я узнал, что ты часто заходишь к моей семье узнать что-либо о моей судьбе, что ты глубоко опечален и разделяешь постигшее меня горе. Несмотря на то, что за моей квартирой установлена агентурная слежка, добрые твои чувства оказались сильнее произвола МГБ.

- Говори все то, что знаешь, если хочешь уменьшить свою вину перед Советской властью, рявкнул Селезенкин. Снимай с себя антисоветский груз и раскладывай его на других, на всех.
- Нет у меня такого груза, и мне нечего раскладывать, и я не считаю себя виновным. Если в юношеские годы, двадцать лет тому назад интересовался всеми политическими партиями, то с тех пор, по окончании гражданской войны я знаю только работу-службу и семью.

Во время допроса лицо Селезенкина делалось серее, злобнее, глаза округлялись, левое веко заметно начинало дергаться, губы кривились, шаги делались больше и чаще. Я видел приближение невменяемости.

Вдруг Селезенкин прыгающей походкой подбежал ко мне, схватил за руку, рванул, отбежал и снова подбежал, рванул. – Тебе на колени надо встать перед Советской властью, – и тяжело ударил по лицу, голове. Я упал вместе со стулом на пол. На какое-то время потерял сознание. Из носа и рта шла солоноватая

 $^{^{62}}$ ИИ: «Иван Иванович назвал родственников и кого помнил за восемнадцать лет своей службы сослуживцев и знакомых. — А что, они советские или антисоветские? — Да, они советские. — Как же ты можешь за них ручаться и так утверждать! За печку да за сивого мерина можно ручаться! Иван Иванович молчал и думал: так зачем же меня об этом спрашивать».

кровь. Открываю глаза и вижу злобное лицо надзирателя. – Вставай, пойдем в камеру.

Поднялся на ноги, вытер рукавом рубахи кровь с лица и, уходя с надзирателем от Селезенкина — услышал его глухой голос: — Узнаешь Советскую народную власть, контра. — Спасибо, — почему-то неожиданно для себя сказал ему и медленным шагом пошел впереди надзирателя в свою камеру.

Через щели наглазника окна и решетки виднелось бледное, серое утро. Мысли путались: то я видел себя в семье отца и матери в детские годы, то себя среди своей семьи, то вновь видел прыгающего и угрожающего мне следователя. Вот он поднялся и шагает в кабинете по воздуху... смеется, манит к себе и дразнит, высунув мне язык: — Ну, что — узнал теперь Советскую власть! Сознание исчезло. Наступил сон.

Чувствую во сне, кто-то толкает меня в плечо, но я никак не могу проснуться, придти в себя. Вставай, вставай, не притворяйся, ночью выспишься. С трудом открываю глаза, вижу в камере надзирателя. — А что, собираться идти на допрос? — Не собираться, а вставать во время. Хватит для тебя и ночи спать, поспишь в кабинете следователя. Я встал. Надзиратель вышел, гремя в замке ключами. Сел на пол, прислонившись спиной к стене камеры, и просидел весь день до вечера, грустно размышляя о дальнейшей своей судьбе и семье. Есть не мог, не хотелось, и только вечером вспомнил, что на мне еще не смыта запекшаяся кровь.

Умылся над парашей, щупаю — лицо припухло. Является надзиратель — собирайтесь, и повел на допрос к следователю.

Вхожу в кабинет следователя и думаю горькую думу, что еще будет он делать со мною. Готовлю себя ко всяким неожиданностям, мучениям и издевательствам.

 А, Сергей Николаевич! Проходи, садись, пожалуйста, закури!

Я молча сел на стул.

- A почему со мной не здороваетесь? Я поздоровался, вы не слыхали, тихо ответил ему.
- Ну скажите: хорошо ли мне тебя обижать, ругать, а лучше давай по-хорошему все расскажи о своей антисоветской деятельности, и делу конец. Ведь время работает на нас, и чем дольше будешь запираться, тем хуже будет для тебя.

- Мне нечего вам говорить.
- Так, так ну, хорошо. У тебя нет, зато у нас есть. Ты знаешь, что Максим Горький сказал: если враг не сдается, то его уничтожают, а если сам покаешься перед Советской властью, то это будет учтено и принято во внимание, уменьшится наказание.

Я молчу. Проходят десятки минут. — Ну, надумали, что говорить? — Нет! — Подумайте еще.

Я молчу. Стенные часы в кабинете показывают двенадцать ночи. Селезенкин делает вид, что он чем-то занят, перебирает в папках ящика стола какие-то бумаги, часто открывает и закрывает ящик стола.

Начинает поламывать спину от долгого неподвижного сиденья. – Ну, что, надумал? – Нет! – Думай!

Тихо в кабинете, только слышно монотонное тиканье больших стенных часов, и вдруг послышался душу раздирающий, женский плачущий крик — это где-то в одном из кабинетов следователей ведется допрос с рукоприкладством. Сижу в кабинете советского следователя, вижу его лицо садиста. Вот они, эти воскресшие инквизиторы-звери сидят в сотнях следовательских кабинетов Самары и творят свое гнусное, черное, жестоко-зверское дело по истреблению тех, кто кажется им отступником от их символа веры.

– Ну, надумал? Что там, в камере, тебе не думается, так здесь подумай. – Мне нечего думать и говорить. Я все сказал обо всем, что было в мои студенческие годы, много раз повторил, десятки раз записано вами в протоколы дознания.

Следователь молчит, что-то перебирает у себя в ящике стола. Проходит двадцать, тридцать минут, час, и снова: — Ну, будешь говорить?! Я молчу, молчит и господин следователь... Через пять-десять минут снова: — Ну, говорить будешь о своих сообщниках и единомышленниках? Я молчу, молчит и господин следователь. Снова: — Ну, надумал? — еще грознее кричит инквизитор, уставившись в мое лицо своими мутными фарами глаз.

Так продолжалось пять дней и пять ночей по шесть-восемь часов днем и столько же ночью, причем дневного следователя сменял другой ночной, но я оставался бессменный днем и ночью.

Часы показывали четыре утра. Взошел бесшумно надзиратель. Селезенкин, видимо, тоже устал — служба собачья. — Иди и еще

подумай в камере. Открылась и закрылась дверь камеры, а через час подъем. Устал, хочется спать, а ложиться уже нельзя. Сажусь на пол камеры, время от времени встаю, хожу и снова сажусь. Силы физические и моральные слабеют в тоске о свободе, родных, от изнуряющих допросов днем и ночью без сна, от всего того, что называется тюрьмой.

В десять вечера ложусь спать — законный час, желанный час забвения арестанта от мучений. И только что погрузился в дремотный сон — слышу шепот: вставай, оденься. Открылась и закрылась дверь камеры. Шестые сутки без ночного и дневного сна и отлыха.

Я в кабинете следователя. – Ну, что, надумал, нет, вот садись и думай!

Чтоб прекратить попугайство, я решил молчать. Молчал и Селезенкин. Молчание длилось час-другой. Мысли далеко-далеко витали за пределами этих стен, там, на воле, среди родных, друзей, товарищей и сослуживцев, там, где свободное солнце свободно и величаво озаряет всю землю и дает жизнь всем добрым и злым, не требуя себе взамен наград и поощрений.

Я погрузился в созерцание жизни человека и человечества за пределами тюремных и следовательских стен. Меня ненавидят инквизиторы, которым никогда я не сделал зла. Кто дал им право распоряжаться моей, а мне их судьбой? Да, кто это так зло смеется и издевается над судьбами человека и общества? Не тот ли тщеславный прохвост, пролетарский кот — в лице [...] царя Иосифа! Да и все господа диктаторы-государственники, поработители человека и общества, в какую бы краску ни красились, стоят друг друга.

Во время этих размышлений следователь превратился в постороннего человека, не имеющего ко мне отношения. Но грозный окрик – говорить будешь – вернул меня к действительности.

Я пошел на крайность, чтоб избавиться от почти шестисуточного сидения на стуле и резко ответил: — Нет, не буду! Такого ответа Селезенкин не ожидал, вначале как-то растерялся, а потом подошел, размахивая кулаками перед моим лицом — прохрипел: — Ты еще у меня будешь говорить.

Пришел надзиратель и увел в камеру, и с этого времени окончилось мое сидение на стуле, и только через две недели вызвали на допрос. Господин инквизитор называет фамилии неизвестных мне людей и предлагает признать их и мое участие с ними в каких-то преступлениях не то политических, не то бандитских. Как из рога изобилия сыплется из уст инквизитора никем не превзойденная, многоэтажная нецензурная ругань.

Все же это были цветочки, «благодать божья» по сравнению с тридцать седьмым-восьмым годами. Тогда просто избивали, скуловоротили. Если приводили из камеры на своих ногах, то после допроса с пристрастием уводили под руки или уносили в камеру на носилках. Большинство заключенных не выдерживало пыток и подписывало то, что хотели господа инквизиторы. [...]

В сороковых годах инквизиторы перешли к более утонченному способу производства допросов. Так, например, во время допроса приказывали держать руки на коленях. Один из инквизиторов подходил, хватал за руки, сбрасывал с колен, снова заставлял держать на коленях, вновь подходил, хватал и сбрасывал, и так в течение часа-двух. Другие во время допроса с отборной матерщиной и проклятиями налетали петухом, топали ногами, вертели перед лицом кулаками, брызгали и плевались слюной, убегали к своему столу, брали разгон, подбегали с поднятыми кулаками, прыгая, топая вокруг своей жертвы.

Иные господа садисты увещевали: — Покайся чистосердечно, и тебе простится сорок смертных грехов — на что я отвечал: — Мне не в чем каяться, никаких преступлений я не совершил и не совершал в прошлом. Но инквизитор возражал: — Это по-твоему так, а по-нашему не так.

Из допросов мне стало ясно, что не только инакомыслящие, а просто критически относящиеся к явлениям быта, работы и прочему — являются для марксидов преступниками, «врагами народа» — Советской власти.

Старший инквизитор прочитал мне статью обвинения. В нее входило: хранение книг, сочинение, распространение, печатание, агитация, анекдоты. Все это преследовалось наказанием до десяти лет в тюрьме и концлагере в мирное время, а в военное — до расстрела. Но господам инквизиторам было мало того, что пред-

решили мне десять лет. Им нужно было подвести обвинение под расстрел. А поэтому они состряпали показания одного из заключенных ранее, о моих якобы террористических высказываниях в отношении коммунистов.



В Первую мировую человеческую бойню попал в плен чех Кроль молодым солдатом и по окончании войны остался в России на жительство. Женился и много лет работал в Самаре техником Горкомхоза, {жена его работала фельдшерицей в клинической больнице}. Года три тому назад мы единственный раз были вместе с ним на именинах у общего знакомого. Во время всего вечера никаких разговоров друг с другом не имели и никогда более не встречались.

Кроль по радиоприемнику иногда слушал передачи со своей бывшей родины Чехословакии {и делился впечатлениями о передачах с дворником дома, а дворник весь разговор со своими добавлениями передавал в МГБ. Кроля арестовали и особым совещанием осудили} на десять лет концлагерей⁶³.

Ночь. Надзиратель приказывает встать, одеться. Открылась и закрылась дверь камеры. В коридоре следственных кабинетов встречает один из молодых следователей и приказывает повернуться лицом к стенке и стоять. Через несколько минут приказывает идти по коридору и вводит в один из кабинетов следователя. Сажают у входа на стул. Вижу, напротив меня по другую сторону двери у стены сидит какой-то незнакомый мне плохо одетый, обросший, истощенный, лет за пятьдесят гражданин.

В кабинете за столом в разных позах сидят четыре следователя и одновременно задают мне и этому гражданину вопросы, узнали ли мы друг друга. Я смотрел на него, а он на меня, и искренне им сказали, что мы друг друга не знаем. Снова и снова начинаю всматриваться в лицо незнакомого гражданина, и мне показалось, что где-то с ним встречался, кажется, у знакомого, Тарасова.

⁶³ ТР: «восемь лет».

– Скажите, вы не были ли года два тому назад на именинах зимой у Тарасова? – Да, был, но вас не помню, – отвечает он. Я говорю следователям, что будто бы видел его на именинах, но не уверен, что там он был. Минуту или две смотрим друг на друга. Все восемь глаз следователей неотступно наблюдают за нашими лицами, движениями.

Один из них говорит: — Да, времени прошло много, посмотрите еще, а может быть признаете друг друга. Снова смотрим. Нет, точно друг друга не признаем. Я припоминаю: пришел на вечер поздно, часов в десять, когда уже все гости были в сборе. Я сделал общий поклон и сел при входе в конце стола, а на другом конце, кажется, сидел этот гражданин. Фамилию его не знаю и за весь вечер ни о чем с ним не говорил и после никогда с ним не встречался.

— А какие террористические разговоры вел он с тобой? — показывает на меня кивком головы один из следователей. — Нет, я с ним ни о чем не разговаривал. Я даже не помню, что он был на этом вечере. — Ну, хорошо. Тогда скажи, что ты слышал, как Сергей Николаевич с другими говорил о терроре. — Нет, ничего не слышал, да никто о политике не говорил, — отвечает неизвестный мне гражданин.

Такой исход очной ставки не удовлетворил опричников царя Иосифа. Явился надзиратель и отвел меня в камеру, и только на суде и уже будучи осужденным, в камере Ульяновской тюрьмы я встретился с эти неизвестным гражданином и узнал его фамилию – Кроль, [... и то, что его] из концлагеря привезли на очную ставку со мной. [Вот что он мне рассказал:] «После очной ставки с вами, Сергей Николаевич, меня отвели в подвальную жаркую камерупогреб. Воздуха для дыхания не хватало, мучила жажда, есть ничего не давали восемь дней. Появилось сильное головокружение, тошнота, головные боли, шум в ушах. С каждым днем силы падали. На восьмой день я не мог подняться на ноги. Умирать не хотелось — дома жена, дети. Хотелось жить и верить во встречу с ними в будущем.

В камеру-погреб на восьмой день пришли два следователя, взяли меня под руки и повели на допрос. Там, в кабинете следователя, начали требовать от меня, чтоб я подписал протокол о ва-

ших, Сергей Николаевич, террористических высказываниях в отношении коммунистов-марксидов. От подписи я отказался. Тогда они написали другой протокол, что якобы я слышал, как вы, Сергей Николаевич, говорили с другими о терроре против марксидов, и я под этим ложным протоколом подписался, чтобы спасти себя от смерти, и после этой моей подписи, которую делал следователь моей рукой, ибо я настолько ослаб, что не мог сделать сам свою подпись — меня стали хорошо кормить и больше на допросы не вызывали».

Об этом мошенническом трюке — что следователи так подводят меня под расстрел — я тогда не знал. И только на суде узнал, какую жестокую участь готовили мне опричники марксиды — «друзья народа». Но Кроль категорически заявил, что подписал протокол ложного обвинения, чтобы спасти себя от смерти, и этим отвел более жестокий удар по моей судьбе. Жив ли ты, Кроль, и вернулся ли к семье своей, или погиб в концлагере во славу царя Иосифа и его кровожадных опричников? Я с благодарностью вспоминаю тебя, Человека с большой буквы, твою благородную родину Чехию — родину Иоанна Гуса.

* * *

Длительное время находился в камере вместе со мною, как потом выяснилось, тайный агент МГБ под видом железнодорожного служащего, дежурного по станции Кинель, якобы арестованного за служебный саботаж. /Вошел он в камеру весело и бодро — здравствуйте! Уверенно прошелся по камере, положил свои вещи на верхние нары. [...] Он тут же весело начал рассказывать, что за три года сидения в разных камерах он многим заключенным помог облегчить их участь тем, что они признались/ в том, что приписывают им следователи. /Что он многих посадил за решетку из своих сослуживцев, облегчая свою участь, и что он посажен за саботаж по работе/. Он проповедовал, что сопротивление бесполезно, что лучше быстрее получить путевку в лагерь, где легче жизнь, чем в тюрьме. /Среднего роста, белесый, с рачьими глазами, юркий и настороженный. Говорил, что дома осталась у него

мать старушка, а жена арестована и тоже сидит здесь где-то в камере/. Он часто получал усиленное питание — больничный паек, хотя ничем не болел, часто вызывался на следствие и еще чаще сам вызывал дежурного надзирателя и просил отправить его к следователю, что тот охотно выполнял. Безнаказанно вступал в пререкания с охраной. /Как-то лежа поздно ночью на своих нарах, не то во сне, не то наяву вслух говорил: еще не арестованы шесть знакомых сослуживцев-железнодорожников, а семьдесят уже сидят в тюрьме/.

Пробыли мы вместе около трех месяцев, и возможно, что дольше бы оставались вместе, но как-то я в шутку назвал его камерным королем за почти трехлетнее нахождение в следственной тюрьме без особых причин, по его малому «делу». Он как-то весь встрепенулся, заходил по камере, его бесцветное лицо, глаза выражали беспокойство. Он перестал со мной разговаривать. Ночь лежал молча с открытыми глазами. Рано утром попросил надзирателя отвести его к следователю и по приходе в камеру тут же собрался с вещами и исчез в другую камеру, а может быть на этом «срок его службы» закончился.

А через полтора-два месяца снова поместили такого же, под видом агронома, с беспечным настроением. Этот ни о чем не расспрашивал — его интересовала игра в шахматы. Но через месяц куда-то и его увели. Мне кажется, что каждый, кто заключен в тюрьму по-настоящему, всегда находится в угнетенном, безотрадном состоянии, тогда как ненастоящий заключенный долгое время не может исполнять свою роль.

Самыми тягостными днями в тюрьме были дни получения передач от родных — жены и сестры. Ноющая скорбь по близким, родным, знакомым, по свободе, по потерянной жизни и беспросветному будущему переходила из хронической в острую. Не было сил оставаться на одном месте. Нервно-психическое состояние становилось крайне напряженным, и я начинал быстрее ходить по камере: два шага вперед — два назад десять, двадцать, тридцать минут, а может быть и час, до изнеможения физических и моральных сил.

Передачи приятны, дороги — эта забота о несчастном, запертом на замок на долгое время, оторванном не только от родных

и близких, общества, но и от всей природы — единственного вечно-верного друга человека. И в то же время передачи тяжелы: они воскрешают во всей полноте жизнь и быт родных и близких, с которыми связаны годы радостей и печалей, и это рождает мучительную тоску обо всех и всем, что осталось по другую сторону тюремной решетки и замка.

Нередко страдания души доводят впечатлительного человека до самоубийства, особенно в весеннее и осеннее время года. В мае месяце в соседней камере удавилась неизвестная заключенная. В том же месяце одна заключенная сошла с ума, и несколько дней были слышны ее безумные, дикие слова и выкрики, и битье стекол своей камеры.

Один молодой заключенный паренек целыми днями пел приятным тенором песни и читал стихи Некрасова. Я видел его, когда шел коридором тюрьмы и почему-то посмотрел в открытую дверь его камеры. Красивый, лет восемнадцати юноша сидел на полу. Надзиратели сажали его во все камеры тюрьмы, но юноша продолжал петь своим сильным и приятным тенором.

В течение десяти месяцев велись допросы об одном и том же, исписано сотни листов в четыре тома. Писалось о всех близких и дальних родственниках, о знакомых близких и дальних, семейных и служебных, и все это десятки раз. Бог земной марксидский, как и бог небесный объявил всех инакомыслящих своими врагами и проклял отцов и детей их до седьмого колена. Дела никакого не было, а его надо было создать, и вот все, чем увлекался я в студенческие годы, двадцать лет тому назад — следователи перенесли все это на нынешний день, как будто было все сейчас, вчера, а потому все даты в протоколах относились к данному моменту. [...]

{Было отчего сходить с ума: изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год на следствии пилили, давили, усовещивали, долбили об одном и том же: сознавайся, признавайся в несовершенных преступлениях. Один глухонемой арестован за то, что кулаком будто бы пригрозился в колхозе на портрет царя Сталина, а другой восьмидесятилетний колхозник во время колхозного собрания заснул, и приснилось ему, что его кто-то душит, он и закричал: «Караул!» и тотчас был отправлен в тюрьму МГБ}.

Я знал, что отсюда путь один — тюрьма и концлагерь, что здесь скорее можно погибнуть, чем в концлагере — из своих когтей они меня не выпустят, и решил подписать несколько протоколов. Перед праздником первого мая в мою одиночную камеру пришли два надзирателя, сделали обыск, проверили на крепость оконную решетку, имея в виду — не подготовился ли я к побегу. Все оказалось вне подозрения. [...]



/На третий день после Первого мая [...] надзиратель отпер дверь камеры и повел меня по коридорам тюрьмы в здание следственных кабинетов. Постучал в дверь одного из кабинетов, и на голос: войдите, ввел меня в кабинет и вышел. В отдалении от двери за столом сидел следователь {капитан} Зайцев с трубкой в зубах, волосы на голове острижены ежиком, усы жандармские, как у «отца родного», лицо продолговатое, быстро бегающие по сторонам маленькие колючие глаза. На втором столе в тарелках остатки ужина из буфета МГБ и коробка папирос «Казбек». Следователь медленно встал из-за стола и так же медленно стал ходить по кабинету, дымя трубкой в зубах/. Невысокого роста, коренастый, с {кошачьей} походкой: медленной, тихо крадущейся – копирует повадки царя Иосифа. «Ну, подходи, подходи, вот садись сюда к столу – будем работать. Вот лист бумаги. Напиши мне все, что знаешь о Котове, своем товарище». Я написал, что знал о нем: принимал активное участие в Октябрьской революции, был депутатом Бугурусланского совдепа, потом воевал красным партизаном на Дутовском Уральском фронте⁶⁴.

«Ну, прочти». Я прочел. Но оказалось, это показание Зайцеву не понравилось. «Ура! еще напиши», злобно вскрикнул Зайцев и сел на диван. «Порви», – мне не хочется вставать. Я молча сижу и не рву показания о Котове. «Порви, тебе говорю»! Ну, что же – если вы так хотите – порву.

Вот ты написал стихи о черте, нищем, о Горьком и другие – кого в них изображал? – Во всех случаях я имел в виду социаль-

⁶⁴ ТР: «на Оренбургском фронте».

ную несправедливость. – Так, так! Я продолжаю молчать и понимаю, что мои объяснения его не устраивают, они ему не нужны. Во время допроса голос Зайцева все повышается, потом переходит на истерические выкрики. Он уже не ходил, а бегал по кабинету.

Подбежал ко мне, размахивая кулаками — Тебя и хлебом не надо кормить. Ты на кого руку поднял, — показывая на портрет царя Иосифа, зло рванул за руку, как ранее Селезенкин, и ударил по лицу. Посыпалась одноэтажная и многоэтажная матерщина. Зайцев бегал по кабинету, кричал и брызгал слюной, с трубкой в зубах. Подбегал ко мне, грозил и махал кулаками перед лицом, хватал за руки. Я смотрел на его беснование и ясно видел — садист, и опять еще одна мысль — ему лет сорок-сорок пять, и возможно, что этот садист имеет семью, детей, и как он может быть мужем и отцом детей. [...]

Ну, что скажете о распространении листовок о Кронштадтском мятеже? — Скажу то, что и раньше говорил: листовки в аудиториях двадцать лет тому назад были распространены кем-то из студентов, привезли их из Ленинграда. — Нет, ты мне скажи, кто тебе их давал и кто распространял. — Этого я не знаю. — Так, так, — прорычал Зайцев. Подожди, все скажешь, отца-мать забудешь, а скажешь.

Ну, а уж заодно скажи: где взял шрифт и где он сейчас находится? — Об этом я уже говорил: купил студент Дорохин на рынке, и перелили его на охотничью дробь. — Хорошо, на эту тему у нас будут еще разговоры, и я добьюсь, что признаешься во всем.

Пришел надзиратель и увел меня в камеру.

Начались беспрерывные вызовы на допросы к Зайцеву. Сотни раз заставлял и требовал от меня рассказывать об одном и том же. Зайцев время от времени подбегал ко мне, махал кулаками, брызгал слюной. «Я тебя загоню, где Макар телят не гонял». Такие ночные допросы продолжались около трех недель. Физические и моральные силы все больше слабели. Видимо, не мытьем, так катаньем решил Зайцев добиться моего обвинения.

СУД

[Летом сорок первого года] мне объявили, что следствие закончено, и вскоре должен быть закрытый суд, ибо открытым судом не за что было судить.

Перевели в подвальную камеру без окон, со слабым электрическим светом и голым цементным полом. У потолка камеры проходили паровые трубы, закрытые побеленными досками. Железная дверь камеры плотно закрыта. В камере было так жарко, что через десять минут я сделался весь мокрый от обильного пота. Вначале разделся до белья, а потом донага, оставшись в одних кальсонах. Но пот градом катился с лица, не хватало дышать воздуха, дыхание становилось чаще, поверхностнее. [...] {Я тихонько нажал на дверь камеры, и появилась щелка в коридор. Значит, теперь не задохнусь. Сел голый на каменный пол и почувствовал облегчение.

Открылась дверь камеры, охранник принес мою зимнюю одежду}: «Вот ваши вещи, возьмите», – и вышел из камеры, закрыв дверь. Я недоумевал: почему это вдруг в конце июля принесли мне зимние вещи, да еще в камеру с температурой свыше тридцати градусов. Потом я стал догадываться – решили куда-то отправить, но куда, не мог знать. Поздно вечером, когда на землю спустилась теплая и тихая июльская ночь – загремел замок и железная задвижка, дверь открылась, и надзиратель приказал собраться со всеми вещами. Пошли. Вывел во двор тюрьмы, {где находилась уже партия заключенных десять-двенадцать человек}. Вижу темно-голубое небо и далекие мигающие звезды. С наслаждением вдыхаю бодрящий ночной воздух и радуюсь, что могу им дышать и видеть просторы вселенной. Подошла машина Черный ворон, и всем находящимся во дворе тюрьмы скомандовали: «Садись в машину!».

Всматриваюсь в измученные исхудалые бледно-серые лица — ни одного знакомого. Битком набили машину заключенными, закрыли двери, загудел мотор, и выехали со двора тюрьмы. Минут через пятнадцать машина остановилась, открылась дверь, и команда: «Выходи». Вышел, осматриваюсь. Узнаю в ночной тьме двор и лабазы товарного двора станции Самары, а невдалеке железнодорожную поликлинику, где когда-то работал заведующим. Стало тяжелее на душе. А вокруг вся группа заключенных окружена плотным конвоем и немецкими овчарками. До рассвета два Черных ворона вывозили заключенных из тюрьмы и добавляли к нам. Как потом выяснилось — разгружали Самарскую тюрьму для эвакуированных заключенных московских тюрем.

Утром подошли вагоны на товарный двор, и несколько сот заключенных погрузили в вагоны. {Вместе с нами ехали в Сызранскую тюрьму четверо заключенных, приговоренных судом МГБ к расстрелу – их везли в наручниках}.

Отъезжая со станции Самары, мы увидели через решетки окон вагона яркий плакат с надписью: «Все как один на защиту Отечества». Кто-то из нас спросил стоящего в коридоре вагона охранника: – Что означает эта надпись? – Как будто не знаете, – ответил он, а из соседнего отделения вагона через коридор послышался голос: – Началась война с Германией. Это известие нас не обрадовало и не опечалило: у каждого была своя несчастная судьба тяжелее, чем война, которая казалась второстепенным делом, как и все прошлые войны народов Земли.

Поезд шел на запад, прошел Сызранский мост и остановился вблизи белокаменной Сызранской пересыльной тюрьмы. Ввели во двор и развели по камерам, битком набитым арестантами. [...] Через две недели вместе с группой заключенных снова отвезли в Самарскую внутреннюю тюрьму на суд, под охраной автоматов и собак-овчарок. В камере нар для всех не хватало, и большинство разместилось на полу.

Был конец июля. Теплые, солнечные дни и ночи все более волновали, и хотелось простора жизни за тюрьмой. В один из таких вечеров раскрылась дверь камеры, и к нам втолкнули с посохом в руке белого как лунь древнего старца лет восьмидесяти-

девяноста, с большой седой бородой во всю грудь, с мутными белками глаз. {Кто-то сказал: Да ведь он же слепой, товарищи. И тут же подошли к нему и довели до свободного места на полу.

Ведь это представитель земли Русской! Начались расспросы: ну, за что ты, дедушка, сюда к нам попал? — Да милые мои, я и сам не знаю, за что на меня Господь обиделся. Вышел я в воскресный день на завалинку своего дома погреться на солнце. А тут подошел кто-то и завел речь про войну и спрашивает меня: ну, как, дедушка, победим немца? — победим-то победим, отвечаю, но трудновато будет, хитер он, немец-то. А потом через десять дней приехали и увезли вот сюда к вам}.

Жалел об одном, что не придется помереть на родной земле. Как сложилась его судьба, да и всех других нас — неизвестно: осудили, вернее, надавали всем разные сроки концлагерей, а может, кого и расстреляли. Оставшихся в живых развезли по необъятным концлагерным и тюремным просторам России строить города, заводы, шахты, железные и шоссейные дороги и многое другое, что могут творить люди труда, одетые в черные арестантские бушлаты.

На второй день к нам в камеру втолкнули крепкого, коренастого мужчину лет сорока, грузчика по профессии с улицы Обороны города Самары. Следствие его еще не закончилось, но он лишился всякого покоя: днем и ночью ходил по камере, подходил поочередно к каждому из нас, двадцати семи человек, и неизменно говорил тихо и печально: меня расстреляют.

- $-\,A\,$ что же ты сделал, что должны тебя расстрелять, $-\,$ говорили ему.
- А то, отвечал он, напившись пьяным, в своем дворе, где я проживаю, встретился с давним врагом моим завхозом, всячески обругал его, а поскольку он коммунист, то ругая его, сказал, что таких коммунистов вешать надо. На меня он составил акт, что будто я сказал, надо вешать всех коммунистов, а за это полагается расстрел, о чем мне заранее сообщили на следствии.

Все мы старались его успокоить, что мол, если приговорят к расстрелу, то может Москва не утвердить, заменит тюрьмой и концлагерем. Через несколько дней грузчика из камеры увели.

В ночь {на второе августа} накануне суда я увидел сон. […]⁶⁵ Темно-серое мутное небо, в воздухе туманная мгла, скрывшая горизонт. На крутую гору черная лошадь тяжело везет огромный воз соломы, а за возом иду я в тревоге за силы черной лошади, {и со мной мой умерший отец}. С трудом черная лошадь вывезла воз на вершину горы и остановилась – я тоже остановился и услышал: «Трудников, соберись на суд!». Сон исчез. Та же душная, полумрачная камера, мрачные лица людей и мрачная жизнь – я стал собираться на суд.

* *

В сопровождении охраны вышел из камеры во двор тюрьмы, где уже стоял Черный ворон. Одного за другим приводили заключенных. Набив ими машину до отказа, выехали со двора тюрьмы. Через несколько минут Черный ворон въехал во двор областного суда. Построили цепочкой в затылок друг другу с охранниками через одного заключенного и повели в здание суда.

Здесь впервые за десять месяцев я увидел жену и сына, стоящих вблизи меня. Жена держала в руках пачку табаку и что-то еще. Когда я поравнялся с ней, идя в колонне — она протянула мне руку и хотела передать пачку табаку, но конвой грозно прикрикнул на меня, вырвал из рук моих эту пачку и отбросил в сторону. Как милы и прекрасны жена и сын. [...]

Черным ходом ввели нас в общую камеру ожидания заключенных до вызова в судебную комнату. Здесь находилось до тридцати человек, обвиняемых в разных преступлениях. Был день субботний 66. В нашей стране все политические суды производились втайне от народа, скрытно — настолько считали их опасными для своего господства-произвола патриархи марксидов.

 $^{^{65}}$ Этот сон пересказывается и в ТР. В ПТ добавлен пространный сон о мировом дереве, представляющий собой аллегорию исторического развития государства.

^{66 2} августа 1941 г.

В ожидании судилища к нам в камеру, к тридцати мужчинам, ввели молодую женщину из села Алексеевки. Она провожала со станции на фронт мобилизованного мужа и, переживая ужасную насильную разлуку, возможно, что навсегда – она имела неосторожность сказать среди провожающих - вот, наших мужей забирают на фронт, а других мордастых 67 оставляют, потому что они партийные. Тут оказались шпионы-марксиды, взяли двух-трех свидетелей, забрали эту женщину, отвели куда следует и там предъявили ей обвинение в терроре против коммунистов. Рассказ ее прервался вызовом в судебную комнату. Не прошло и часа, как ее привели обратно в нашу камеру, бледную, в полусознательном состоянии. Задыхаясь от волнения и рыданий, она говорила нам: «Дали десять лет, а прокурор требовал расстрела». Мужа на фронт, на защиту отечества – жену в тюрьму и концлагери, а дети?! Как сложится их судьба без отца и матери, кто их приютит и согреет, приласкает и накормит и помоет – ответа нет. [...]

*

* *

Сквозь решетчатую клетку-камеру в здании суда вдали по коридору я видел заплаканные лица сестры и жены. Они не знали, за что я арестован и буду осужден. И вот какими-то неведомыми путями сестра и жена узнали о дне суда и пришли хоть издали увидеться со мною. Слабый дневной свет и дальность расстояния, на десятки метров, позволяли видеть только общие очертания лиц.

Перед началом закрытого суда в камеру вошел казенный защитник и обратился ко мне с предложением: не желаю ли я дать согласие взять его защитником на суде. Я знал, что если обвиняемых по сталинской статье защитник будет защищать в их пользу, а не по-сталински, то ему самому грозит тюрьма и в лучшем случае изгонят с работы. Я ответил: если эта формальность нужна для суда — не возражаю.

В небольшой комнате в два окна начался суд. Вокруг стола, покрытого красной материей – деревянные скамейки. За столом

⁶⁷ ТР: «толстомордых».

судья, два заседателя, справа прокурор, слева защитник, секретарь суда, а сзади, у дверей, с автоматами два конвоира. Судья Черепанов, с плотно сжатыми тонкими бескровными губами, с глазами, смотрящими в пространство, с окаменелым бесстрастным лицом скопца. Понуро-смущенно сидят, как будто на похоронах, две молоденькие женщины-заседатели, смотрят перед собой на стол {во все время суда, видимо, совесть еще не потеряли}. Свирепо, решительно и властно запрокинувшись назад, сидит за столом прокурор — {обрюзгшая толстая} женщина лет сорока. Она заранее предвкушает торжественную победу над обвиняемым. Казенный защитник — {тощий, с запуганным выражением в лице}. Спокойны и безучастны к судебной комедии два молодых действительной службы конвоира МГБ. Они выполняют устав и с нетерпением ждут окончания срока бессмысленной службы и возвращения к своим отцам, матерям и родственникам.

{Все встают. «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...»}. Началось так называемое судебное следствие: те же пункты обвинения, перенесенные с тысяча девятьсот восемнадцатого-двадцать второго года в тысяча девятьсот сороковой год.

«Признаете свои показания на предварительном следствии», говорит судья. — Да, частично признаю, если в этом есть моя вина: те книги, что имел, напечатаны и изданы в свое время Советской властью, и я их читать никому не давал, не распространял и не печатал. А что касается типографского шрифта, около двух килограмм, так я и мои товарищи еще двадцать лет тому назад переделали на охотничью дробь. К распространению листовок о Кронштадтском мятеже имел не прямое, а косвенное отношение. Что же касается того обвинения, что я восхвалял немецкую армию — совершенно неверно. Правда, сам был участником Первой мировой войны и знаю, что их армия оснащена вооружением лучше нашей, почему русские войска несли тяжелые поражения.

{«Вы нам здесь философию не разводите, а отвечайте точно: признаете себя виновным?»}. Во время суда, который начался поздно во второй половине дня, и на второй день ни заседатели, ни защитник не задали ни одного вопроса. Только изредка зада-

вала вопросы мужеподобная прокурорша. Судья один вел все так называемое судебное следствие.

Снова Черный ворон, камера тюрьмы, бредовое воскресенье. В понедельник в девять часов утра Черный ворон привез около двадцати заключенных на продолжение комедии во двор суда, а во дворе уже ждала жена и четырехлетний сын. Снова цепочка заключенных через одного вперемежку с конвоем. Смотрю вокруг и вижу вблизи стоящих сына, жену. Печально и грустно смотрит на меня жена и малосознательно сын – ему еще непонятно все происходящее, и хорошо, что он пока не знает ужаса случившегося.

«Направляющий вперед», — слышится команда, и колонна заключенных с конвоем пошла в здание суда. Только глаза мои смотрят налево, на жену с сыном до самого входа в здание суда. Ни слова приветствия жене и сыну — дано предупреждение конвоем: идти молча, руки назад, не разговаривать, по сторонам не смотреть.

И нет жены и сына. Ввели в судебный кабинет. Суд в том же составе. Но вот вводят чеха Кроля и сажают на скамью подсудимых рядом со мною, но как свидетеля обвинения. Я полагал, что после очной ставки с ним никогда не увижусь. Судья обращается к Кролю: «Подтверждаете вы свои показания, данные на предварительном следствии?».

- Нет, не подтверждаю, они были ложными!

И вот здесь-то я и узнал о страшном обвинении меня в терроризме, ведущем к статье расстрела. Начались препирательства судьи и прокурора с Кролем.

- Вы подписали показания о террористических высказываниях Трудникова?
 - Да, я!
 - Значит, это верно?
 - Нет, не верно!
- Так почему же, вы ведь подписали свои показания, а теперь отказываетесь?
- Да, я подписал, потому что, гражданин судья, я был полутруп, полуживой! Меня под руки привели к следователю Зайцеву, и я подписал, потому что не хотел умирать.

- Значит, это верно?
- Нет, не верно! Меня заставил следователь Зайцев подписать протокол о том, чего не было. Гражданина Трудникова я не знаю, и никогда никаких разговоров у меня с ним не было. На вечере именин я сидел за одним концом стола, а он за другим, и за весь вечер я не мог слышать каких-либо его разговоров. Это следователь Зайцев сочинил, что будто я слышал террористические высказывания Трудникова с другими гостями на вечере, а я подписал.
- Так почему же вы подписали протокол дознания, а теперь отказываетесь. Что, вы в одной камере сидите с Трудниковым, договорились?
- Нет, вместе мы не сидели и не о чем мне с ним договариваться, даже если б и сидели в одной камере вместе. На очной ставке я видел его второй раз в жизни и не мог узнать, припомнить. Когда я отказался подписать ложный протокол дознания, то следователь {Зайцев приказал посадить меня в одиночную камеру, не давали мне десять дней никакой пищи, а только одну воду по кружке в день, и я настолько ослаб от голода, что не мог уже вставать ⁶⁸}. Тогда пришли два человека, взяли меня под руки, полуживого привели к Зайцеву, и он приказал мне подписать протокол ложные показания. Мне не хотелось умирать в тюрьме, и я подписал, с тем, чтобы потом отказаться на суде.
 - Значит, ваша подпись на протоколе?
 - Да, моя.

Не менее часа продолжались эти объяснения Кроля с председателем суда и дача ответов на вопросы прокурора. Такие показания Кроля не входили в расчеты судьи и прокурора. Они десятки раз спрашивали Кроля, но желательного для себя обвинения меня в терроризме не достигли. Благодарю тебя, Кроль, за твою честность и мужество!

Бесследно прошло мое последнее слово обвиняемого о фактической моей невиновности. Защитник молвил десяток слов о моей

 $^{^{68}}$ ПТ: «Зайцев велел посадить меня в подвальную жаровую камеру. Там не давали мне пить и есть семь дней. На восьмой день я начал умирать».

первой судимости и о частичном признании в хранении антисоветской литературы. Зато уж мать прокурорша поусердствовала. Потребовала от марксидско-комедийного суда десять лет тюремного заключения и пять лет поражения в правах.

Во время судебной комедии жена с сыном находились во дворе и смотрели в полуоткрытое окно второго этажа, где шло шемякинское судилище, смотрел и я на них временами, когда стоял, но как садился на скамью — не мог их видеть через высокий подоконник. Это увеличивало мое волнение и напряжение.

В ожидании приговора вывели в коридор под охраной двух конвоиров, а Кроля, как свидетеля и уже отбывающего срок заключения, отправили в концлагерь. Когда шло совещание суда о мере наказания, прошел мимо меня в суд следователь Зайцев, а через полчаса вышел. Тут в коридоре девочки провели ко мне за дверь сына. Я взял его на руки, посадил на колени, прижался к нему, смущенному необычной обстановкой, а два солдата-конвоира, допустившие ко мне сына, сочувственно смотрели, а минут через десять вежливо попросили отпустить сына за дверь к жене — строго запрещалось свидание с родными всех возрастов.

Вскоре снова ввели в комнату суда слушать приговор. «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... такой-то... обвиняется в том – идет перечень преступлений – ... на основании изложенного... что предусмотрено статьей пятьдесят восьмой, часть первая, пункт десять, Спецколлегия Самарского уголовного областного суда приговорила... к десяти годам тюремного заключения и пяти годам поражения в гражданских правах». – Вам понятен приговор суда? – Да, понятен. – Распишитесь в трех экземплярах приговора.

Таковыми оказались «профилактические» мероприятия диктаторского партийного суда, о чем мне говорил в первый день следователь Селезенкин, что мы изолируем вас, Сергей Николаевич, профилактически⁶⁹. И... изолировали.

⁶⁹ В ТР Печенкин (т.е. Селезенкин) говорит об этом не в первый день, а «на первом допросе» «через семь-десять дней» после поступления С.Н. в тюрьму. «Расстрелять мы тебя не расстреляем, но посидеть придется профи-

Суд 173

Подошли конвойные, вывели во двор к Черному ворону. Было уже темно, а потому жену с сыном, стоящих в глубине двора, ясно видеть не мог, а они видели меня в полосе света от окон здания суда. Так издалека в последний раз виделся перед десятилетней тюрьмой и концлагерями с женой и сыном. Тогда я и думать не мог, что за время моего заключения жена уйдет к другому, а у сына будет вечное двойственное отношение к отцу и матери. [...]

лактически. Мы не знаем, когда здесь начнется война, — сказал Печенкин, показывая на географическую карту, на границу с Германией. [...] Ведь тебе известно, что значит слово профилактика — вот мы и посадили тебя профилактически, как политически неблагонадежного для Советской власти». Примерно то же рассказывается и в ИИ. В ПТ первый допрос проводит группа следователей во главе с Потроховым, и другие высказывания Потрохова и Печенкина в основном совпадают.

ЭТАПЫ

После суда через неделю вторично направили в Сызранскую пересыльную тюрьму в числе сотен осужденных за эти дни. Шел август месяц. Стояли теплые, нежно-ласкающие предосенние дни, но в душе у каждого заключенного жила грусть и скорбь безысходная. Вся жизнь личная и общественная осталась в воспоминаниях прошлого в потустороннем мире, а в настоящем были мрак, и скорбь, и стенания. Погрузили в специальные столыпинские вагоны на товарном дворе Самарской железной дороги ночью, скрытно от народа, а на противоположном конце станции, на воинской площадке, грузили на фронт ратников запаса, так же, как и нас, отправляя в неизвестное будущее. Родные и близкие провожали их с плачем, рыданиями, причитаниями и прощались с ними, как с заживо погребенными. Их участь была подобна нашей, заключенных, и это всех нас роднило. Многие из тех, кого везли под ружьем, и тех, кто ехал с ружьем, назад не вернулись. Одни остались навечно на полях сражений, другие в концлагерях и тюрьмах. [...]

Две недели продержали в Сызранской тюрьме. Заключенных так много было в каждой камере, что многим было негде сесть. Днем стояли, а ночью, не имея сил стоять, валились один на другого на полу. Нары брали с бою и счастливы были те, кто занял место под нарами на грязно-черном полу. Дней через десять все заключенные были завшивлены. Питание давалось два раза в сутки настолько скудное, что силы таяли с каждым днем. Бледные, истощенные, обросшие, грязные, кто с возбужденным, кто с безразличным лицом, стоя, сидя, лежа — все сто шестьдесят человек, загнанные в одну камеру, напоминали обреченных животных на калле-бойне.

На седьмой день я заболел поносом. Тюремная медсестра направила в тюремную больницу. Там в палате находилось двадцать заключенных больных с разными заболеваниями. Одни уми-

Этапы 175

рали здесь от туберкулеза, другие от дизентерии, третьи от разных других хронических болезней. На пятый день поноса не стало. Выписали из больницы в ту камеру, где и на полу места не было. Пришлось поместиться под низкими нарами, вползая туда и выползая оттуда на животе, и это было счастьем, что можно лежать на холодном, грязном полу, и имелась возможность растянуться ослабшему телу.

В конце августа заключенных стали развозить по другим тюрьмам и концлагерям. Все мы с нетерпением ждали тяжелого этапа в концлагерь, где можно хоть дышать свежим воздухом, видеть солнце, где можно иметь место для отдыха и сна после изнуряющего подневольного труда и нравственного мучения. Но почему-то до этапа в концлагерь нашу партию в двести человек в течение трех месяцев провезли по трем тюрьмам: Ульяновской, Уфимской, Сызранской (где я побывал в третий раз), и только после этого отправили в Печорский концлагерь на постройку железной дороги от Кожвы до Воркуты.

По пути этапа в Ульяновскую тюрьму, в трехэтажных столыпинских вагонах, разместили в отсеках каждого вагона по двадцать – двадцать восемь человек. Вместе с «политическими» везли уголовников – воров-рецидивистов и бандитов. Пока шел этап от Сызрани до Ульяновска, уголовники успели обобрать всех, кто был «не их веры» – хлеб, одежда, обувь перешли к рецидивистам. На наши жалобы конвой не обращал внимания. На нас смотрели как на государственных преступников, врагов народа, а рецидивистов и бандитов считали «друзьями народа». Лишенные всех человеческих прав, все мы с момента ареста находились вне закона.

Во дворе Ульяновской тюрьмы в ожидании размещения по камерам всех нас сгрудили у тюремной стены, /и мы увидели такое количество клопов, что никому и во сне не могло присниться: клопы ползли лавиной, сплошным потоком, переливаясь коричнево-красноватой волной/. Они шли к нам на запах человеческих тел от середины двора, от вынесенных из камер на санобработку столов и досок с нар. Клопы стремились к нам, чтобы быть с нами в камере.

Поздно вечером нас разместили по камерам. Здесь каждому из нас тридцати человек предоставили место на нарах. Можно было лежать, спать, сидеть и ходить. На середине длинные дощатые столы, две скамьи, а в углу у двери камеры неизбежная спутница тюрьмы параша — деревянная кадушка, опоражнивалась она два раза в сутки утром и вечером, во время выхода всех арестантов камеры в общую уборную в конце тюремного коридора.

В камере, особенно вблизи деревянной параши воздух крепко был насыщен аммиаком и сероводородом. Одно небольшое окно за железной решеткой у самого потолка почти не пропускало лучей солнца. Вентиляции никакой — ни оконной, ни печной. Кто имел табак, курили. И этим табачно-аммиачно-сероводородным воздухом неделями, месяцами, а некоторые годами — дышали.

/Тайные агенты МГБ имелись и среди заключенных. Не прошло и пяти дней, как из камеры начали некоторых заключенных вызывать на допросы за антисоветскую агитацию. Первым был вызван на допрос осужденный на 15 лет концлагеря и пять лет ссылки Ульянов, однофамилец или дальний родственник Ульянова Владимира. Молодой, лет тридцати, полный жизни и здоровья, возмущался дикостью шемякинского суда, о чем из камеры сообщалось недремлющему оку, оперуполномоченному по тюрьме. И здесь, в застенках, Ульянову оперуполномоченный пришивал новое обвинение — второе дело сверх пятнадцати лет.

Наша камера ежедневно пополнялась вновь осужденными из города Ульяновска и районов по пятьдесят восьмой статье. Однажды после суда/ привели в камеру арестанта рабочего судили на шесть лет за то, что он в разговоре сказал что-то о «гоге-магоге» и был обвинен в агитации против Советской власти. Он подал кассационную жалобу. Через несколько дней к нему пришел защитник и через форточку камерной двери передал ответ. Все тридцать пять человек окружили кольцом получателя ответа на кассационную жалобу, и один из нас начал читать вслух. Все затаили дыхание. Там говорилось: «Свидетельские показания по обвинению противоречивые, а потому считать обвинение недоказанным... но приговор суда оставить в силе». Точно

⁷⁰ В ИИ приводится фамилия рабочего: Петров.

Этапы 177

по шемякинскому суду. У власти закон – закон, и беззаконие – тоже закон.

/В числе заключенных находился пенсионер по труду Андреев из Кинеля. Солидный пятидесяти пяти лет рабочий, он имел 10 лет и пять лет поражения в правах. Очень горевал и сокрушался, что дома в Кинеле осталась сиротой его десятилетняя дочь. Мать ее умерла от разрыва сердца во время его ареста. И до того он тяжело переживал потерю жены, дочери, что помешался умом: ему казалось, что вот-вот придут и куда-то его заберут. А поэтому молча залезал под нары и часами лежал на голом полу в черной грязной рубахе-косоворотке. В камере относились к нему сочувственно, но он упорно прятался под нары, и часто были слышны тихий плач и тяжкие вздохи и стоны. За три дня до нашей отправки по этапу Андреев умер под нарами. О его смерти сообщили надзирателю тюрьмы. Пришли двое рабочих из заключенных с носилками и вынесли Андреева из камеры. Так Андреев получил истинное освобождение от своей родной пролетарской власти/.

В Ульяновской тюрьме подержали нас месяца полтора. Видимо, надоело начальству возиться с нами, и в дождливый октябрьский день всех заключенных из нашей и других камер собрали в большой этап, погрузили в столыпинские вагоны и повезли на восток. Это значит в Сибирь, решили мы. Через решетки окон вагона на полях мы видели почерневшие скирды хлеба и хлеб на корню, и ни одного человека или машины, которые бы занимались уборкой хлеба. Только изредка кой-где виднелась подвода с одной-двумя женщинами у погибающих в полях хлебных скирдов.

На Уфимском вокзале конвойные нас вывели из вагонов /и приказали сесть на землю. Проходивший мимо красноармеец в распахнутой шинели вступил в разговор с заключенными. Конвой грубо потребовал от него не разговаривать, но красноармеец не спеша прекратил разговор и отошел/. Нам прочитали дорожную молитву: «Идти молча, руки назад, по десять человек вряд, шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой применяет оружие без предупреждения». Поздно вечером наш этап сдали в уфимскую тюрьму.

В большой камере Уфимской тюрьмы поместили восемьдесят человек, /среди которых было около тридцати человек рецидивистов-уголовников/. Я долго не мог заснуть, только глубокой ночью начал засыпать. Но сон был не крепкий: услышал сдержанный, отрывистый разговор. Открываю глаза и вижу при тусклом освещении на противоположных нарах группу воров, что-то живо обсуждающих. Вот четверо из них отделились, подходят к спящему арестанту, тихо, вежливо толкают в бок или просто выдергивают из-под голов скудный арестантский вещевой мешок, вытряхивают на нары все, что там есть, перебирают, и что находят подходящее для себя – забирают. И так обходили всех «не своих» от одного к другому и в течение двух часов грабили всех, кто не принадлежал к их корпорации, и поделили между собой под руководством своих вождей по принципу социализма: от каждого по способностям – каждому по труду.

/Кричать о помощи нельзя — у них в руках ножи, подойти к камерной двери и заявить надзирателям тоже невозможно: к двери уголовники никого не допускают... В камере тишина, коридорная охрана спокойна: тюрьма спит, а грабежи продолжаются. Вот на одном заключенном им понравилась новая рубаха, и тут же сняли рубаху; грабеж идет тщательно, не спеша/.

Мне надоело смотреть на их операции, и я заснул. Когда я проснулся, то обнаружил, что «друзья народа» забрали у меня табак и несъеденную оставленную на утро пайку хлеба. Я попросил их главарей вернуть мне хоть часть взятого. Они пообещали, но не вернули. Когда утром вся камера проснулась, начались пререкания с грабителями, что не стыдно мол грабить своих же собратий по заключению — арестантов. Пререкания перешли в ссору, взаимные оскорбления, и могла начаться драка. Начали с обеих сторон вооружаться досками с нар. Страсти разгорались. В это время на шум пришли тюремные надзиратели, часть воров перевели в другую камеру, и этим предотвратился переход камерной холодной войны в горячую 71.

⁷¹ ИИ: «Близ Ивана Ивановича спал чечен, а по другую сторону инвалид войны: свою деревянную ногу он отстегивал и хранил рядом с собой. Когда бандиты подошли и начали грабить безногого бойца, то проснувшийся по-

Этапы 179

А наутро снова в этап. Под конвоем с автоматами, собаками привели нас на станцию, погрузили в те же вагоны, которыми привезли, и поезд пошел обратно на запад по Волго-Бугульминской дороге. Та же унылая картина полей. На станции Мелекесс в нашу вагонную камеру ввели средних лет мужчину⁷². Видя его возбужденное состояние, расспросами его не одолевали, а потом он нам рассказал следующее.

— Работал я и жил ранее в Ленинграде. В двадцать первом году мне пришлось выехать в Мелекесс, чтоб избежать ареста во время разгрома и гонений на ленинградских анархистов. Поступил работать столяром на кирпичный завод близ Мелекесса, потом стал там же счетоводом. В Мелекессе женился, сейчас трое детей⁷³. Директор завода приезжал на лошади в город и часто бывал у меня в доме-семье в гостях. И вот по дороге на завод, при кучере и директоре рассказал два-три анекдота {про царя Сталина}. Этот директор и кучер сообщили в МГБ. Через несколько дней меня арестовали, а /два часа тому назад/ областная выездная сессия приговорила к расстрелу.

Вид его был ужасный. Блуждающий мутный взгляд, /сократовский лоб покрыт глубокими морщинами. Табаку у него не было — заключенные делились с ним последними папиросами и,/ чем могли, старались облегчить его страдания. За три анекдота — Смерть! Знай наших! Помните, потомки, что Россией правит обер-бандит от марксидов, царь Иосиф Кровавый. На станции Ульяновск его высадили в Ульяновскую тюрьму, и какова была

томок Хаджи Мурата схватил деревяшку инвалида и начал яростно избивать грабителей. На помощь грабителям сбежались другие уголовники, но чечен, размахивая деревяшкой, наносил сокрушительные удары направо и налево. Это единоборство чечена подняло на ноги всю камеру; та и другая сторона начали срывать с нар доски. На крики и шум сбежалась к камере тюремная охрана, но уже рецидивисты были побеждены, загнаны в угол камеры. Охрана уголовников увела в другую камеру. Так чечен, защитник прав слабых, избавил заключенных от грабежа и помог вернуть часть вещей их владельнам».

 $^{^{72}}$ ИИ: «лет пятидесяти пяти, белокурого блондина, с начинающейся лысиной, обросшего и усатого».

⁷³ ИИ: «жена работает в столовой, а две дочери учатся». Приводится фамилия смертника: Ильин.

его дальнейшая судьба, знают только архивы МГБ. Где и когда расстреляли, или погиб ли в концлагере, если Москва заменила расстрел сроком заключения.

* * *

Эшелон остановился у Сызранской тюрьмы. Снова переполненная камера. <Надзиратели сняли замки, отодвинули железные ржавые засовы, раскрыли обитую железом дверь в камеру, и старшой из них грозно прокричал: «Освободить места в проходах между нарами, потесниться!»>. Сто двадцать человек стоят, сидят, лежат на нарах, под нарами и в проходах на полу. <[Те, кому доставались] бесплацкартные места под нарами, были более счастливы, чем другие, не имевшие лежачего места, да на полу и клопы, любители тепла, меньше нападали в ночное время. [...] В ожидании отправки в этап наша и другие камеры в течение трех недель три раза пополнялись вновь прибывшими арестантами>.

<В камере стоял глухой шум, подобный встревоженному пчелиному рою: кто-то кому-то наступил на ногу, руку или задел по лицу, толкнул в бок, кто-то кого-то опередил занять место на нарах, на полу и под нарами, кто-то кого-то в тесноте и давке облил в обед и ужин полученной порцией баланды и сам лишился части скудного питания. Но все настолько были подавлены моральным и физическим истощением, что никому не хотелось тратить силы на громкие и длительные пререкания и разговоры, да они были ни к чему: все знали, что не по своему желанию и не по своей вине заключены в тюрьму, а насильно в угоду Иосифа Джугашвили и его соратников, истинных марксидов>.

< Вот здесь в углу камеры несколько больных. Они каждое утро подходят к дверной форточке-волчку камеры, просят помочь им от поноса, им дают порошки. Но с каждым днем они слабеют – доходят, и надо полагать, что через несколько дней они не смогут подходить к дверному окну и волчку камеры и просить о помощи>.

Этапы 181

<За дверью камеры по тюремному коридору слышится глухой металлический шум. Дверь камеры раскрылась, и четверо заключенных в сопровождении двух надзирателей в двух баках на палке внесли в камеру обед. Староста камеры приступил к раздаче обеда. Заключенные выстроились в порядке живой очереди перед длинным и грязным дощатым столом. Староста черпаком на длинной ручке черпал и вливал каждому в подставленную миску по четыреста-пятьсот граммов жидкой тюремной баланды.</p>

Все получили по тощей порции баланды и синей жижицы, именуемой магаровой кашей, но изголодавшимся заключенным и эти порции были в радость. Более объемистые и густые порции получили уголовные заключенные-бытовики, к которым принадлежал староста камеры, и которым тюремное начальство благоволило — отдавало предпочтение перед заключенными по пятьдесят восьмой, за чем строго следил тюремный чиновник госбезопасности. Трое заключенных по болезни не могли стоять в очереди. Староста сам отнес им обеденные порции.

Обед ели заключенные без хлеба. Пайки в четыреста граммов были съедены утром с кружкой теплой воды, именуемой чаем. Редко кто отваживался преодолеть чувство голода и оставить кусок хлеба до обеда или ужина. Да и оставленный кусочек хлеба кто-либо из уголовников мог увести и съесть.

Некоторые из заключенных ложек не имели и ели баланду и кашу через край мисок при помощи языка, губ и пальцев с придыханием в себя. Все же после съеденного черпака баланды и каши в животах у заключенных теплело, и исчезало на какое-то время сосущее чувство голода под ложечкой. Но общее голодное состояние оставалось прежнее, как и до скудной обеденной еды. [...]

Никто не имел тюремных постельных принадлежностей, и каждый заключенный укрывался той одеждой, какая имелась во время ареста. В этом отношении были счастливее те, кто арестовывался зимой или осенью в теплой одежде, а многие были арестованы летом или весной. Вот этим-то заключенным и было горше всего испытывать жесткость деревянных нар и полов под нарами и между нар пересыльной тюрьмы. А потому все хотели отправки

в этап на работы в концлагерь: хотя концлагерная жизнь тяжелая, но тюремная тяжелей>.

<В открывшуюся форточку камерной двери просунулась голова надзирателя — отбой, спать! За неимением места, где можно лечь, многие сели на корточки и прогрузились в дремотно-тревожный сон с бесконечно-назойливыми думами заключенных о безотрадной своей и родных судьбе и о многом другом, что в тюрьме, и о том, что там, в том мире жизни за тюремной стеной, и постепенно через час-другой все, кто где мог, приземлились на сон грядущий. Только кое-кто с трудом пробирается до параши по естественным надобностям, стараясь не наступить на какую-либо часть тела собрату по заключению. [...] Бесшумно надзиратель всю ночь, то открывая, то закрывая волчок, наблюдает за камерой>.

Кольшинство заключенных толкалось по камере днями и ночами, стоя или сидя на корточках дремали, засыпали, и наяву в полудремоте, и во сне виделись тяжелые и кошмарные сны живой действительности обреченных на безмерные мучения за себя, свои семьи и родственников. С этими мыслями засыпали и с этими мыслями пробуждались, и они не оставят их во все годы заключения>.

Во все дни, недели и месяцы в Самарской, Ульяновской, Уфимской, Сызранской и снова Сызранской тюрьмах мысленно я оставался жить со своей семьей, родными, близкими и дальними друзьями, товарищами. Жизнь моя оборвалась с того дня и часа, когда объявили мне, что я арестован, и так продолжалась она оборванной почти десять лет в муках и тревогах за настоящее и будущее. [...]

* *

Шел ноябрь месяц сорок первого⁷⁴ года. Снова этап: двести заключенных погрузили в два столыпинские вагона. Точно никто не знал куда, в какие везут лагеря, но рецидивисты, побывавшие

⁷⁴ В оригинале «сорок второго».

Этапы 183

во всех лагерях страны царя Иосифа, утверждали, что везут в Печорские концлагеря строить железную дорогу, где почти «двенадцать месяцев зима – остальное лето».

Этап шел медленно: движение поездов, их регулярность и точность резко нарушились войной. {Везли нас в течение двух месяцев. В этапе каждому заключенному выдавалась одна соленая селедка и четыреста граммов черного хлеба на сутки, но выдача хлеба и селедки иногда прерывалась}. Как-то пятый день заключенные, и без того истощенные тюрьмой и допросами с пристрастием, не получали паек хлеба. Начался ропот, постепенно он перешел в бунт. Многие заключенные настолько обессилили, что когда их выводили в уборную в конце вагона, они еле шли, придерживаясь руками за стены коридора, чтоб не упасть на пол.

На станции Арзамас наши вагоны загнали куда-то в тупик на товарный двор, где они стояли двое суток в ожидании прицепления к поезду, идущему на север. В сумерках первого дня в Арзамасе мы увидели и услышали стрельбу из зенитных орудий по немецким самолетам-разведчикам. Охрана-конвой моментально выбежали из вагона и залегли за насыпью железнодорожного полотна, опасаясь бомбежки с самолетов, мы же оставались за решетчатыми дверями под замком.

Когда немецкие самолеты удалились, и прекратилась стрельба из зениток — по предложению рецидивистов все двести человек обоих вагонов начали требовать от конвоя хлеба. Конвой обещал дать нам хлеба еще в дороге, но не дал, и теперь его обещаниям не верили. И вот, чтоб добиться от конвоя хлеба, все заключенные в один голос от дискантов до октав начали кричать мольбу о хлебе: хлеба... хлеба... погибаем... погибаем... погибаем... хлеба... хлеба... хлеба... тогибаем.

Этими криками о помощи надеялись обратить внимание железнодорожных рабочих и служащих, проходящих вблизи граждан и солдат, чтоб они услышали о нашей гибели – гибели людей, хотя бы и заключенных. Так мы обратились к общественности, единственно правомочной разрешать все вопросы бытия человека и общества.

В начале нашей забастовки конвой стрелял из пистолетов в крыши вагонов, рассчитывая этим устрашить нас, требуя прекратить «бунт». Но мы знали, что в вагоне, за решеткой и замком стрелять в нас не будут, а потому на стрельбу и окрики конвоя не обращали внимания, а продолжали кричать о помощи: хлеба, хлеба... погибаем... Что-то тревожное и жуткое, обидное и бессильное овладевало душой каждого... У некоторых на глазах появились слезы, а крики мольбы о помощи все продолжаются.

Старший конвоя начал уговаривать нас, чтоб прекратили «бунт», что поехали за хлебом и часа через два привезут. Согласились. Ждем час, другой, а хлеба все не везут. Раздаются голоса: — Нас обманывают. Давайте раскачивать вагон, чтоб свалить его набок вместе с командой конвойных.

И вот все сто человек встали, уперлись руками в боковую стену вагона и по команде: раз, еще раз, еще раз и... действительно, вагон начал давать опасные наклонения. Конвой выбежал из вагона. {«Везут, везут хлеб, сейчас выдадим за все дни!»}. В это время привезли хлеб, начали каждому давать по два кирпичика хлеба, и бунт прекратился. Нашли десяток зачинщиков, надели им наручники и посадили в холодную камеру вагона.

Каким милым, дорогим был хлеб! С наслаждением и радостью ел и не мог оторваться от кислого ржаного хлеба. Кажется, наелся, положил целый и недоеденный кирпичик в мешок, а через две-три минуты снова начал есть недоеденный кирпичик.

Все же даром наша мирная забастовка не прошла, несколько дней мы были сыты хлебом. В нашем купе-камере помещалось двадцать четыре человека, осужденных по пятьдесят восьмой статье вместе с уголовниками. Среди нас были и польский военнопленный солдат, и два узбека, и десяток бандитов и рецидивистов. Эти последние были хозяевами вагона и камер. Они из рук вырывали хлебные пайки у других во время раздачи и грабили по ночам.

Особенно издевались бандиты над бывшим польским солдатом и узбеками. Если они сразу не съедали хлебную пайку, то рецидивисты набрасывались на них, а те, защищая свой кусок хлеба, получали синяки на лице и руках и лишались хлеба. Когда

Этапы 185

грабили у них пайку, они кричали, сопротивлялись, просили защиты, но конвой оставался безучастным к их мольбам. Несчастный польский солдат и узбеки к концу этапа не могли стоять на ногах. И надо удивляться, как они могли остаться живыми и доехать до Печорских лагерей, не умерев от истощения физических и моральных сил.

Среди нас был /плотный, коренастый лет сорока пяти/ инженер Кириллов, /с проседью в густых черных волосах головы и бороды/ — работник управления Самарской железной дороги, осужденный по пятьдесят восьмой на десять лет [заключения] и пять лет поражения в правах. Всю дорогу в этапе он сокрушался до слез и говорил: «Если б был жив Ильич, то не было бы произвола и врагов народа». Дома у него остались жена с /тремя/ детьми и матерью старушкой без средств к существованию. Через два года я узнал, что он умер от воспаления легких в Печорском лесокомбинате, где работал инженером-строителем⁷⁵.

Шел декабрь месяц. Поезд медленно, но упорно вез нас на север. Проехали Арзамас, Горький, Киров и, чем дальше на север, тем холоднее, снежнее и морознее становилась зима. Изнуренные допросами, тюрьмой и этапом арестанты физически настолько ослабли, что некоторые выходили в уборную по стенке вагона. От сознания, что везут нас на север, ближе к Ледовитому океану, заранее все мы ощущали ледяной холод долгой полярной зимы. Сбылось желание опричника Зайцева: загнать туда, где Макар телят не пасет.

⁷⁵ ОП: «Когда [инженер] Кирилов заболел, то охрана четыре дня не давала конвоя, чтоб отправить его на лечение в лазарет, и он умер в бараке. Приехал на колонну оперуполномоченный и узнал от фельдшера медпункта колонны, что больному Кирилову для отправки в лазарет охрана четыре дня не давала конвоя – посмотрел в формуляр, увидел на нем пятьдесят восьмую и цинично заявил: собаке – собачья смерть. [...] Лагерный возчик сколотил из досок продолговатый ящик, заключенные положили тело Кирилова без белья, голого, и под охраной конвоя отвезли на кладбище в тундре, опустили в неглубокую яму-могилу, закопали землей и воткнули колышек с фанерной дощечкой, с написанным на ней номером акта смерти. А через полгода не останется никакого знака ни от номера, ни от фанерной таблички и от могилы».

/На больших станциях начали выносить умерших под видом заболевших. Этих «заболевших» по два-три дня скрывали, чтоб получать на них пайки хлеба и делить их между соседями. Так умер один заключенный в нашем купе вагона, и его три дня скрывали, получая его пайку хлеба, и сообщили конвою, только когда от него пошел смрадный дух. То же было и в других вагонах/. {За время этапа умерло шесть заключенных}.

На станцию Печора наш этап прибыл семнадцатого декабря⁷⁶. Была морозная ветреная с поземкой погода. Шел колючий снег. До пересыльного пункта надо было идти три километра, где конвой нас должен сдать в Печорский концлагерь. Одет я был в полуботинки, демисезонное пальто, в шляпе, а большинство заключенных были одеты по-летнему.

Когда вывели из вагонов и построили в колонну, {то конвой не пересчитывал, все ли доехали к месту назначения, и повел нас без арестантской молитвы: «Шаг в сторону – расстрел, идти молча, руки за спину!». Да кто убежит на верную гибель в тайге зимой!}. Многие не могли идти – их вели под руки. Еле передвигали ноги польский солдат и узбеки. Снег засыпался в ботинки, мерзли уши, лицо, пальцы рук и ног, а колонна шла по занесенной снегом дороге. Кругом завывала метель, содрогались от холода и голода двести человек заключенных, пробираясь к пересыльному пункту, главным воротам Печорского железнодорожного концлагеря.

 $^{^{76}}$ ИИ: «в полдень восемнадцатого декабря девятьсот сорок первого года, ровно через год после ареста».

КОНЦЛАГЕРЬ

{Пересылка огорожена тремя высокими заборами, куда и ввели этап заключенных}. В громадном пересыльном лагере сотни больших бараков⁷⁷. Теперь тесные тюремные камеры с решетками и железными дверями сменились на просторные бараки, огороженные высоким общим забором с колючей проволокой, вышками с охранниками и овчарками. Теперь здесь каждый арестант мог, когда хотел, напиться воды, сходить в уборную без конвоира в любое время, подышать во дворе зоны свежим воздухом. Написать родным письмо, чтоб пока поминали за здравие, а не за упокой.

Этой возможностью я воспользовался в первые дни — написал сестре, брату и жене, что жив, что солнце светит днем два-три часа, огненно красного цвета, светит, но не греет. А кругом вековечная тайга, угрюмая, холодная, мрачная. Может быть, тайга не казалась бы такой мрачной, но предвидение многих лет жизни — вернее, существования в условиях концлагерей настолько подавляет душевные силы, что вечно прекрасная природа и вселенная вызывает изнуряющую тоску, а не наслаждение — ибо арестант не может и не должен иметь веселого вида.

Только рецидивисты-уголовники чувствуют себя относительно хорошо, как дома, особенно когда есть возможность поживиться за счет грабежа — отнять кусок хлеба, рубашку, сапоги или валенки, шапку, теплую одежду, подушку, домашнее одеяло у собрата по заключению, не принадлежащего к их «корпорации».

После длительного тюремного заключения, допросов с пристрастием, суда, этапа, полуголодного питания и тяжелого морального угнетения – начался отек ног и одышка во время ходьбы почти у всех заключенных-этапников, и почти все оказались не-

⁷⁷ ТР: «Внутри пересылки два десятка деревянных бараков на сто – сто пятьлесят человек кажлый».

трудоспособными. Положили в лазарет на излечение до рабочего состояния. А привезли на постройку железной дороги на пополнение рабочей силы, к тем тремстам тысяч, что уже работали на трассе от Печоры до Воркуты.

Через две недели пришли лагерные хозяйственники, опросили каждого, кто какую имеет специальность, записали и через вторую часть — арестантский отдел кадров, по нарядам разослали по отделениям и колоннам. Меня, как имеющего специальность врача, отправили на работу здесь же в пересыльном лазарете. Дали обмундирование — валенки, ватный бушлат, ватные брюки, шапку-ушанку.

На пятый день работы в лазарете я делал утренний обход больных и на одной наре-вагонке в температурном листке прочитал свою фамилию. Кто бы это мог быть — будто никого из родных в Печорских лагерях ранее меня не было. Возможно, ктонибудь из дальних родственников или просто однофамилец, но фамилия моя редко встречается.

Передо мной на вагонке лежал мужчина лет за пятьдесят, обросший, исхудалый, с крупозным воспалением легких. В детстве, в Старом Буяне я хорошо его знал: он был товарищем моего старшего брата Александра. С первых слов я сразу узнал его и спросил: – Вы меня не узнаете? – Нет, не узнаю. Начинаю говорить ему: – Вы не из Самарской области, села Старого Буяна? – Да, из Старого Буяна. А скажите – я назвал имя и отчество отца – знаете его и его сына Сергея? – Это разве ты, Сережа! Ну, вот где довелось нам встретиться, четвероюродным братьям.

Когда-то в далекие годы молодости он жил в Старом Буяне, занимался крестьянским хозяйством, а с начала коллективизации уехал с семьей в Магнитогорск, где ко времени ареста работал старшим мастером. Он был осужден на шесть месяцев за мелкий служебный проступок — опоздание на работу. И вот с этим шестимесячным сроком был послан на работу за тысячи километров в Печорский лагерь, где проработал бригадиром два месяца и по окончании срока возвращался домой к семье в Магнитогорск. Вспомнили Старый Буян, родных, знакомых, житье-бытье далеких, но теперь так милых лет.

Через два дня меня отправили на работу в пятый лазарет, в трех километрах⁷⁸ от Печорского пересыльного пункта, расположенный на берегу реки Печоры в сосновом бору тайги. Договорились с Михаилом Ивановичем о встрече в лазарете по его выздоровлении и получении документов об освобождении, кстати по пути его маршрута на станцию Кожва, а далее в Магнитогорск.

Недели через две Михаил Иванович выздоровел, освободился и поздним темным морозным январским вечером зашел в лазарет проститься со мной, но охрана на вахте не разрешила ни пройти ко мне, ни повидаться на вахте, а разрешила только поговорить через железные решетчатые ворота. Я пожелал ему хорошо доехать до семьи в Магнитогорск, а он пожелал мне благополучно закончить срок и вернуться к своей семье. Мне хотелось пожать ему руку, передать ему немного продуктов на дальнюю дорогу, сообщить родным о нашей встрече, но закону насилия чужды всякие человеческие чувства, и мой собрат в ночь и мороз пошел пятнадцать километров глухой и темной тайгой до железнодорожной станции Кожва.



В лазарете врачи-собратья по заключению приняли меня радушно: доктор Попеляев, Янавичус, Смирнова и Ремпель — все старше меня на десять-пятнадцать лет. Я пробыл некоторое время на положении больного: отеки на ногах дошли до середины бедер, и я начал думать, что не конец ли пришел моему бренному существованию. Но месяца через четыре отеки стали исчезать. Как только стало улучшаться мое здоровье, мне дали один корпус на сорок больных ⁷⁹, а через неделю еще корпус на шестьдесят больных. Одновременно передали в мое ведение лечение всех кожновенерических больных.

 $^{^{78}}$ TP: «В четырех километрах от Печорского первого лазарета первого отделения».

⁷⁹ TP: «мне дали один корпус больных, а вскоре и второй на сто пятьдесят – двести больных заключенных».

Началась моя лечебная работа, продолжавшаяся все десять лет заключения. Это давало мне право на сытую жизнь – в отличие от тысяч заключенных. Но неотступно тяготила тоска по относительно вольной жизни до ареста, семье и родным, сослуживцам и всему тому, чем жил сорок три года. Будущее было покрыто мраком неизвестности. Удастся ли пережить заключение в концлагере. А после освобождения – черта оседлости и негласный надзор на всю жизнь. Все разрушилось! Особенно тяжко становилось в день получения писем от семьи и родственников. Снова и снова воскресали в памяти непрерывным потоком светлые, радостные годы жизни в прошлом. Они ярким пламенем жгли душу.

Все мечты и грезы юности, все верования зрелых лет в лучшую жизнь на Земле — исчезли на многие годы как мираж, утопия. Изменились формы, кое-что сделано новое, но основа основ осталась та же, что и при царях Романовых: — неравенство в хлебах, господство меньшинства над большинством, господство чиновников и тунеядцев и рабство трудовиков.

В бесконечные зимние вечера сижу у себя в комнате-кабинке лазаретного барака и предаюсь размышлениям о всякой всячине, о том, как надо было жить и мыслить. Критически разбираю трагедию своей жизни, других, окружающих собратий по заключению, то, что было, что есть, и что будет впереди. Ежедневно умирающие больные, напоминающие о бренности жизни, об истреблении одних людей другими. А ведь есть уже теперь человеческие общества, где Фомы неверующие не считаются преступниками, а их верования преступлениями.

Все это так, но факт остается фактом. Размышляй, не размышляй, а десять лет и черта оседлости. Начальствовала над нами врачами и лазаретом некто Кожевникова, весьма истеричная особа. Она систематически по очереди, без всякой обоснованной причины нападала то на одного, то на другого врача. Когда грызла врача Янавичуса, то мы знали, что через две-три недели будет грызть следующего, очередного. В дальнейшем к этим ее фокусам привыкли и серьезного значения не придавали, но все же это нас волновало. Любого из нас самовластно могла снять с врачебной работы в лазарете и отправить на колонну на общие земляные работы. Жаловаться на незаконные действия начальства —

это значило весь срок быть на общих земляных работах с десятичасовым рабочим днем зимой и двенадцатичасовым – летом. Редко кто мог вынести такой режим десять лет и остаться живым.

Каждый врач в своих бараках имел около ста больных. Работа начиналась с восьми часов утра — обход и назначения до двух часов дня. Перерыв на обед, и с четырех до восьми вечерний обход, затем ужин, и в десять часов вечера отбой на сон. Кроме этого, дежурный врач вел прием и распределение по баракам поступающих в лазарет больных с колонн. В каждом бараке по одному-два фельдшера, четыре санитара. Большинство фельдшеров и санитаров подготовлялись самими врачами из числа более грамотных осужденных по пятьдесят восьмой.

Почти вся медицинская лечебная и профилактическая работа в лагере проводилась заключенным медперсоналом. Весь вольнонаемный режимно-хозяйственный аппарат, их семьи {за неимением вольнонаемных врачей обращались к нам, заключенным врачам}. Вследствие этого медицинские работники — врачи и фельдшеры находились на привилегированном положении. {Работа заключенных врачей не оплачивалась, так же как и всякая работа заключенных, не учитывался и стаж работы}.

Каждый врач имел дневального из числа выздоравливающих больных.

Кроме работы в лазарете врачи периодически, один раз в три месяца по пропускам или с конвоем посылались на колонны для комиссовки, т.е. для установления с лагерным начальством категории труда заключенных, в соответствии с которой определялась норма выработки, а, следовательно, и норма питания.

Здания лазаретов и бесчисленных колонн полуподвального типа, крыша над зданиями является и потолком, стены бревенчатые или засыпные. День и ночь топятся железные печи «буржуйки» или приспособленные железные бочки. Больные лежали на набитых стружками матрацах, подушках, у большинства имелись простыни, одеяла. Питание трехразовое, достаточное по калорийности. А поскольку преобладали больные авитаминозами, то во всех лазаретах и концлагерных колоннах готовили хвойный настой, проращивали горох, рожь и выдавали порциями больным и здоровым.

Но в тяжелых климатических условиях Заполярья питание и обмундирование явно были недостаточными, и заключенные заболевали авитаминозами и просто истощением, почему тридцать — тридцать пять процентов заключенных в Печорском концлагере не могли выходить на работу на постройку железной дороги. Мне много раз приходилось видеть во время комиссовок на колоннах заключенных, проработавших на общих работах десять лет, крепких по телосложению, ничем не болевших, которые к сорока годам настолько старились, что им можно было на вид дать лет шестьдесят-семьдесят.

Особенно тяжело было первые год-другой. Острая, гнетущая день и ночь тоска, тяжелая, безысходная от сознания десятилетнего срока в неволе, а, следовательно, и невозможности видеть семью, родных и товарищей, от сознания возможности умереть здесь от болезни или просто быть уничтоженным при неблагоприятных обстоятельствах, и от сознания, что по выходе отсюда придется жить и работать в условиях черты оседлости, под негласным и гласным надзором опричников царя Иосифа, которые в любой день и ночь могут придти, арестовать и уничтожить.

Тяжелы мысли и думы о настоящем, безотрадны о будущем. Днем во время работы с больными, общения с медработниками эти мысли несколько рассеиваются, но с наступлением предвечернего времени, когда все работы закончены – я уходил в уединенное место за угол барака и погружался в свои невеселые думы. Мысли вереницей неслись туда, в Россию, к семье и родным, к годам детства, юности и зрелых лет. Прошлая жизнь до заключения, какова бы тяжела она ни была – здесь в концлагере кажется прекрасной, становится источником утешения, духовной силой. Теперь жизнь в прошлом казалась мне счастьем. Больно сжималось сердце, безмерно страдала душа, и часто порой в этот час невольные слезы текли по лицу. [...]

Поздно вечером в марте месяце нежданно-негаданно пришел нарядчик лазарета и объявил мне, чтоб я собрался с вещами для отправки на колонну на общие работы. За что, почему, что я сделал плохое начальству, – спросил я нарядчика. – Так распорядилась начальница лазарета. Дело в том, что я выдал справку за-

ключенной больной, так это делать без разрешения начальства нельзя. Больного надо отправить на колонну, а моя справка как врача препятствует отправке. – Собирайтесь и идите на вахту, там вас уже ждет конвой.

Собрал свой убогий скарб, потеплее оделся, попрощался с коллегами врачами, фельдшерами, санитарами и больными и уж готов был идти к вахте, но мой старший санитар — старый лагерник Шашлов, бывший железнодорожник, сказал мне: — Сергей Николаевич! Знаете, что я вам посоветую: сходите к начальнице на дом (она жила в домике в зоне лазарета), извинитесь перед ней, и вас она оставит на работе в лазарете. Я уже пятый год работаю здесь, изучил ее характер.

С малой надеждой на успех пошел. Вхожу. Рапортую: — Разрешите доложить Вам, что я в лагере недавно и не знал всех порядков, сделал заключение о болезни без вашего разрешения. А поэтому прошу вас великодушно извинить меня.

- Хорошо, я вас оставлю в лазарете, но скажите, почему вы и другие врачи не приходите ко мне со своими вопросами по работе, а являетесь только по моему вызову.

Думаю, что ей ответить, и надумал: – Не хочется вас беспокоить.

- Почему я коммунистка, получаю зарплату, и можете приходить ко мне не в рабочее время.
 - Хорошо, будут вопросы приду.

Так я был прощен и оставлен на работе в лазарете. Совет Шашлова избавил меня от общих работ.

Вечерами в свободное время, а чаще по воскресеньям все врачи собирались ко мне в кабинку, обсуждали диагнозы и лечения тяжелобольных, делились воспоминаниями о житье-бытье до лагеря, говорили о семьях, родных, о литературе, о лагерной жизни, о перспективах на будущее и о многом другом. Читали много книг: вольнонаемные медсестры хорошо к нам относились и охотно выполняли наши просьбы, брали книги в Печорской библиотеке Главного управления лагерей.

Врачи Янавичус и Попеляев оба были мне по душе, но более мне нравился Янавичус, поскольку мы оба оптимисты.

А Попеляев был пессимистом. {Ему было сорок пять лет, но вид имел семидесятипятилетнего}. До заключения он работал врачом коммунальником водоснабжающих сооружений. В семнадцатом году был членом городской управы от социал-демократов – меньшевиков. Через двадцать лет честной работы, в тридцать седьмом году, «вспомнили», что он был лидером меньшевиков, и приговорили по статье пятьдесят восьмой к расстрелу. Три с половиной месяца провел смертником, ожидая каждый час, минуту прихода охранников и вывода на расстрел, но Москва заменила расстрел десятью годами с поражением в правах на пять лет и ссылкой на пятнадцать лет после концлагерей. Полуживого привезли в концлагерь, и здесь через два года на севере диком он получил вечный покой и истинное досрочное освобождение и отдохновение.

Попеляев ни одного письма не послал жене и дочке в Ярославль, чтобы не подвергать их моральной травме. Они меня похоронили, рассуждал он, свыклись с мыслью о моей гибели, а тут снова напомню им о своем существовании, да и то надо иметь в виду, что мои письма могут повредить их жизни, да к тому же и надежды не имею вернуться отсюда, по возрасту и здоровью. Возможно, что он в этом понимании был прав. Но в шутку мы его про себя окрестили «чернокнижником».

Врачу Янавичусу некуда было писать: его родина Латвия была оккупирована Гитлером, а его два сына бежали в Англию, в доме оставалась одна жена. Янавичуса осудили по пятьдесят восьмой особым совещанием на восемь лет концлагерей, о чем дали ему прочесть приговор в коридоре тюрьмы и расписаться, что читал. Врачи Ремпель и Смирнова осуждены особым совещанием как члены семьи врагов народа — жены мужей, осужденных по пятьдесят восьмой. Им осталась неизвестной судьба их мужей и детей. Как их мужья, так и они сами никакого преступления не совершили.

Затем десятки фельдшеров, тысячи тысяч других заключенных всех специальностей, от колхозников до профессоров, невинно принимали мученические муки в концлагерях царя Иосифа. Только в одном Печорском лагере сотни заключенных врачей

по пятьдесят восьмой, а по всем бесчисленным концлагерям – десятки тысяч.

В нашем небольшом лазарете на четыреста больных умирало в месяц по сорок-пятьдесят человек. Доктор Янавичус обычно грустно и торжественно говорил: «Получил истинное и досрочное освобождение!».

В других лазаретах на девятьсот больных умирали не менее ста заключенных в месяц. А еще ранее, в первые годы постройки железной дороги через год на колоннах оставалось десять процентов заключенных. Умирали от эпидемических заболеваний — дизентерии, туберкулеза — а главным образом от истощения. Тяжелый земляной труд, скудное однообразное питание, тяжелые непривычные климатические условия, скученность, острая или хроническая психическая травма — все это быстро изнашивало организм заключенных и приводило к большой смертности.

На всем протяжении от Кожвы до Воркуты, четыреста пятьдесят километров строили и построили железную дорогу руками заключенных. Беспрерывным потоком шло пополнение заключенными на место умерших. Новые лазареты открывались, а часть старых закрывалась по мере продвижения постройки дороги к Воркуте. Врачи перемещались из одного лазарета в другой, а потому в течение десяти лет мне пришлось встречаться и работать с сотнями врачей и фельдшеров.

* *

[...] Я был единственным на юге Печорских лагерей специалистом по кожным и венерическим заболеваниям и имел практику у вольнонаемного состава охраны и режима, хозяйственно-административных чиновников и их семей. А так как надобности в деньгах не имелось, да и хранить их у себя не разрешалось, то одна из вольнонаемных сестер, Женя, согласилась делать периодически почтовые переводы моей семье. Ее муж находился в заключении на одной из колонн, осужденный на семь лет за то, что где-то сказал, что трудно воевать с немцами. Вольнонаемные работники подпиской обязаны не иметь частных отношений с за-

ключенными. Но они сочувственно относились к врачам, оказывали частные услуги, и мы, врачи, старались делать для них чтонибудь приятное. Впоследствии я помог ее мужу перевестись с общих работ на колонне в лазарет старшим санитаром, к себе в барак, где они могли встречаться.

Среди сотрудников лазарета и выздоравливающих больных имелось немало со средним и высшим образованием, и нам, врачам было предложено начальством возглавить организацию и постановку ряда спектаклей, декламаций, художественных чтений для сотрудников и больных лазарета. Я, Попеляев, юрист Черник, почти все фельдшера, медсестры и многие другие, преимущественно молодежь, приняли участие в художественной самодеятельности. Режиссировал Черник из города Шуши, отбывавший десятилетний срок заключения по пятьдесят восьмой, с тридцать восьмого года. Врач Янавичус не принимал участия в этом деле, он, да и многие другие смотрели на это дело, в условиях концлагеря, отрицательно. Я ограничился организационной частью.

Шел сорок второй год. Местный культорг и приезжее начальство заговорили о патриотической деятельности среди больных, выздоравливающих и отправляемых на колонны. Заключенных стали называть товарищами и подписывать на внутренний заем. Администрация лагеря время от времени собирала всех заключенных лазарета и колонн на общие собрания, призывала к трудовому соревнованию в работе во имя победы над Германией, обещая лучшим из нас досрочное освобождение из концлагеря. Некоторые новички, в том числе и я, хотели верить этим обещаниям, но старожилы подсмеивались над нашей верой. Проверка временем показала, что они были правы, ибо они уже многократно прошли через эти этапы обмана и надувательства.

В концлагере дают незначительную сумму денег, так называемое премиальное вознаграждение, ибо сатрапы царя Иосифа считают, что заключенные не работают, а отбывают срок заключения. А тридцатого года заключенным платили полностью зарплату, и к концу срока заключения накапливалась большая сумма денег.

За зону лазарета разрешалось выходить заключенным, имеющим пропуск на бесконвойное хождение. Пункт десятый пятьде-

сят восьмой статьи давал право на пропуск, но не раньше шестивосьми месяцев по прибытии в лагерь, то есть после негласного наблюдения завербованными агентами из числа заключенных. Видимо, я выдержал испытание, и в августе сорок второго получил круглосуточный пропуск на бесконвойное хождение. [...] Когда с вахты ко мне в кабину барака пришел надзиратель и сообщил, что на вахте лежит мне пропуск — радостное волнение охватило меня: теперь я мог в свободное от работы в лазарете время уйти за зону на реку Печору, в лес-тайгу, что вокруг лазарета, за ягодами, грибами, покататься по Печоре на лодке и просто погулять по берегу Печоры или тайге одному, без конвоя.

В тот же день, как только закончил работу в лазарете, пообедал и объявил своим коллегам: сейчас пойду за зону лазарета гулять по тайге, по берегу, разуюсь, в Печоре помою ноги – купаться холодно. На лицах их увидел радостно-сочувственные улыбки. Пошел на вахту, взял пропуск и первый раз за два года очутился вне тюремных стен и проволочной зоны. Один среди природы!

Радость и воля дышать и видеть мир жизни вокруг себя, смотреть на небо, видеть солнце, звезды. Я упивался воздухом, заходящим солнцем, полетом птиц, всем, что окружало меня, что видел и слышал среди тайги. Меня охватило волнение. Я быстро ходил близ лазарета, то приближаясь к нему, то удаляясь от него вглубь тайги. Как вырвавшийся конь из ненавистного стойла, я не ходил, а метался по тайге, ее полянам, вдыхал терпкий сосновый воздух, запахи травы и цветов, подходил к реке и снова уходил в тайгу и ее сопки. Всюду вокруг меня была свобода. Я не видел колючей проволоки, дозорных вышек, днем и ночью наблюдающих за заключенными внутри зоны и вокруг нее, не видел скорбных и мрачных лиц больных и всех, кто работал в лазарете.

Временами я забывал на какое-то время мучительные думы. Далеко уходил от лазарета, потом подходил к Печоре, садился на ее крутом берегу и смотрел в ее темно-свинцовые воды, они напомнили мне годы, проведенные в родных краях на берегу Кондурчи и Волги. Светлая грусть вошла в сердце, душа исполнилась созерцанием, а мысли от настоящего к прошлому и от настоящего к будущему текли бесконечно и необъятно. Сумерки сгущались все больше и больше, вода в Печоре также потемнела.

В темно-голубом небе зажглись магические, зелено-светлые мерцающие звезды и широкой россыпью Млечный путь. С Печоры потянуло сырой прохладой, где-то вдалеке послышался крик ночной птицы. Я продолжал сидеть на берегу Печоры и мысленно жил свободой одиночества и с теми, кто был от меня за тысячи километров.

Вдали показались огни небольшого парохода, какие ходят на местных волжских линиях, и на короткое время мысли мои перенеслись на Волгу, на ее пароходы, гористые и луговые берега, где проведено много дней и ночей в отдыхе за рыбной ловлей при свете дня и во мраке ночи у всегдашнего спутника человека – костра. С Печоры потянуло ночной прохладой, но я продолжал мысленно видеть себя за тысячи километров и совершенно забылся. Теперь уж в небе заиграли волнообразные сполохи Северного сияния, и это вернуло мое сознание к действительности. Я медленно и тяжело встал и пошел в зону лазарета. С собой я нес букет цветов, ягоды черники, чтобы утром следующего дня торжественно вручить их конвойным собратьям

В зоне лазарета все были погружены в сон. Только бодрствовала охрана на вахте, на вышках, овчарка тявкала между вышек, да из открытых дверей бараков слышались приглушенные стоны и крики тяжелобольных и умирающих. Когда я вошел в кабину нашего общежития, Янавичус и Попеляев бесшумно спали. Я разделся, лег на свой топчан-кровать и так же бесшумно присоединился к их сну — целительному отдыху от мучительных дум и концлагерных снов наяву.

* *

Печорские концлагеря по географическому положению входят в зону Заполярья, северная граница концлагерей находится в трехстах километрах от берега Северного ледовитого океана. Южные концлагеря находятся в лесах тайги, средние в лесотундре, и северные в тундре с вечно полумерзлой почвой. Весна, лето и осень продолжаются всего три месяца, а зима девять. Если зимой солн-

це восходит на один-два часа, и длится почти круглосуточно ночь, то летом солнце светит почти все сутки.

Время час ночи. Солнце светит ярко, но не жарко: его лучи скользят по земле. Чувствуется вялость во всем теле. Старожилы концлагерей, обслуга и больные спят, кто мирным, кто тревожным сном, но мне спать не хочется. Сон при свете солнца нейдет, и только после двух часов вынужденного лежания в постели наступает сон. Так продолжалось три месяца, и постепенно я стал засыпать вместе со старожилами, натянув на себя с головой простыню или одеяло для создания «ночи».

Шел конец августа. На левом луговом берегу Печоры в пойме, поросшей чернолесьем, уродилась в изобилии черемуха, черная и красная самородина. Вольнонаемные часто переезжали через Печору на луговой берег и набирали много ягод. Заключенные годами не ели и не видели никаких ягод. Съесть немного свежих ягод было заветной мечтой каждого.

Мои коллеги и знакомые настойчиво просили меня съездить за ягодами, как имеющего пропуск. Ну, что вам, Сергей Николаевич, стоит съездить. Попросите начальницу лазарета поехать с обеда, а мы вашу работу выполним сами. Хорошо, сказал я, завтра, если разрешит начальница, то прихвачу на свою ответственность двух своих санитаров, и на лазаретной лодке съездим.

Начальница и охрана разрешили, и мы с утра поехали на ту сторону Печоры. Втащили лодку на берег и пошли искать самородину. Недалеко от берега увидели громадные заросли черемухи, с созревшими ягодами, более крупными, чем у нас в России, но менее сладкими, как и все ягоды севера. Здесь заготовляли черемуху для сдачи в аптекобазу. Черемушные стволы рубили топором наповал, а потом собирали с веток гроздья зрелой черемухи.

В заливных оврагах и долинах увидели горевшие заревом мощные кусты красной самородины и вперемежку с ними кусты черной самородины. Начали набирать черную самородину — более витаминную. Быстро набрали ведра два и пошли ради любопытства вглубь от берега Печоры — там начиналась дремучая тайга, могучие сосны и ели и лиственницы, поросшие у основания

мхом. Некоторые из них, отжившие свой век, лежали на земле и преграждали нам путь.

Мы делали обходы то вправо, то влево. Солнце временами закрывалось облаками. Обходили небольшие озера. Поднялся ветер, тайга зашумела. Мы решили возвратиться в лазарет и пошли к берегу Печоры, к лодке. Чем дольше шли, тем тайга становилась все глуше и девственнее. По нашим расчетам, мы должны быть уже на берегу Печоры, но перед нами стояла тайга. Невольно явилась мысль, что мы заблудились. По какому-то инстинкту повернули влево и через десять-пятнадцать минут увидели берег Печоры, а по береговым признакам нашли место стоянки лодки.

— Ну вот, хорошо, что в тайге не заблудились, скоро вышли, а если б два-три дня проплутали там, нам бы с вами, Сергей Николаевич, побег приписали, — сказал Шашлов, — и второй срок дали. — Да, Саша, могло бы и так случиться.

Столкнули лодку в воду, переехали Печору, на вахте угостили охрану, а в зоне лазарета ждали нашего возвращения Янавичус и Попеляев. Радостно они встретили нас с двумя ведрами самородины. Более опытный в делах лагерных Шашлов набрал таз лучшей самородины и отнес начальнице лазарета. Это для того, объяснил он, чтоб впредь отпускала за ягодами. Три дня наслаждались мои коллеги и другие сотрудники плодами наших трудов.

С получением пропуска увеличилась моя работа за зоной лазарета по лечению членов семей работников лагеря. Почти ежедневно приходили в лазарет члены семьи или сами служащие к начальнице лазарета и просили ее отпустить меня к ним для лечения больных на дому в поселке. Она разрешала, и я шел в поселок за два километра от лазарета, оказывал помощь и уже под вечер, на обратном пути подолгу сидел на берегу Печоры и предавался размышлениям о своей судьбе, о близких и далеких. Затем уныло шел в зону лазарета.

К этому же времени установилась хорошая переписка с женой и родными, а через благодарных вольнонаемных больных я отправлял денежные переводы и посылки. От Печоры до Воркуты вольнонаемных врачей почти не было, и это обстоятельство заставляло охрану и администрацию считаться с заключенными врачами и относится к нам либерально, кроме опричников царя

Иосифа, лагерных МГБ, которые и в лагере старались создавать шемякинские суды, а то и просто особым совещанием давали вторые и третьи срока. Эта их работа давала им хлеб насущный и повышение в чинах и зарплате.

А некоторым собратьям по заключению по окончании срока предлагали расписаться, что задерживаются до особого распоряжения. [...]

В десять лет жизни и работы в Печорских концлагерях мне пришлось перезнакомиться почти со всеми врачами, фельдшерами и многими другими, но не встретилось мне таких, кто был бы осужден за действительное преступление, а не понарошку органами святейшего синода.

Размышления и выводы — это одна сторона дела, а само существование в условиях заключения — вторая сторона. Мы, заключеные, принужденно довольствовались тем малым правом на жизнь, что нам предоставлялось. В свободное время тридцати, сорока и пятидесятилетние как студенты собирались вместе, вспоминали минувшие годы жизни с детских лет, читали, организовывали кружки самодеятельности, брились в парикмахерской, тоже у своего собрата по заключению, мылись в бане и честно лечили своих собратьев по заключению и тех, кто нас охранял и эксплуатировал.

Каждый из нас по-своему переживал свою судьбу, но много было и общего, нераздельного, объединяющего в одно целое: злободневные вопросы по работе, с администрацией и охраной. Были короткие радости, но больше длинные печали. Мне много раз приходила на память картина художника [Ярошенко] «Всюду жизнь». Во всем живом, в любых условиях, в больших или малых размерах идет жизнь, ее сила. И как бы тяжелы не были эти условия, в конечном итоге жизнь побеждает.

[...]

Одежда для всех была одна и та же: зимой ватный бушлатпиджак до колен, ватные брюки, шапка ушанка, валенки и рукавицы, а летом гимнастерка, брюки, ботинки или кирзовые сапоги. Вся одежда черного цвета. Но врачам и фельдшерам предоставлялась привилегия: они могли носить длинные волосы, свою вольную форму, галстук. С самого начала и до последнего дня заключения я носил черный галстук и серую шляпу, и охрана и администрация не протестовали, не могли запретить — так нужен был я для них самих и их семей, как врач с пропуском. И они широко пользовались моими услугами в лечении в любое время дня и ночи, и часто бывало так, что напоят и накормят у себя в семье.

Отек ног и общая слабость исчезли, и я стал чувствовать себя вполне здоровым. Увеличилась душевная скорбь — неизбежный спутник в жизни каждого заключенного, и надо удивляться, что человек может длительное время переносить мучения, дни, месяцы, годы и десятилетия. Изо дня в день, из ночи в ночь встаешь и ложишься с одной и той же мыслью: впереди не дни и месяцы, а годы заключения, и ты бессилен их сократить, ты целиком находишься во власти святейшего синода марксидов, ты лишен даже права на самозащиту, ты ничто!

* *

В конце августа сорок второго года на меня пришел наряд, и перевели на работу в Первый лазарет {первого отделения}, что при главном управлении Печорского лагеря [...]. Попрощался со своими коллегами и дал им слово, что буду время от времени навещать их. Расстояние до Первого лазарета, нового места работы, четыре километра, и с пропуском в кармане трудностей навещать друзей не будет.

В этом лазарете заключенных врачей и фельдшеров было больше, да и больных вмещалось до шести—восьмисот человек. Ранее, до моего прихода на работу, в первом лазарете находился в заключении маршал Рокоссовский в качестве заведующего баней. Через некоторое время был отозван в Москву, реабилитирован и вновь возвращен на службу в армии. Здесь же находился в заключении известный врач микробиолог профессор Зильбер Л.А. ⁸⁰, он работал лаборантом в лазаретной лаборатории. Не-

⁸⁰ Т.е. Лев Александрович Зильбер (в оригинале здесь и далее «Зильберт»). См. Киселев, Абелев, Киселев 2003. С. 647–659.

сколько раз нам, медицинским работникам, по вечерам Зильбер читал лекции по инфекционным заболеваниям. Года через два, когда я уже работал в Абезьском лазарете, узнал, что Зильбер отозван в Москву, там его реабилитировали и допустили работать на прежнее место, где работал до ареста.

Во дворе лазарета имелся небольшой домик — общежитие для врачей, где поместился и я вместе со старожилами — братом известного ленинградского артиста провизором Ковнером, которого за семидесятилетний возраст мы в шутку называли Гришей, отбывающим восьмой год концлагерей, врачом стоматологом Бездетн {ов}ым {из Владивостока}, тоже с тридцать пятого года ⁸¹ — «дядя Костя», врачом окулистом Елистратовым, набора тридцать седьмого года ⁸², врачом терапевтом Гельманом, набора тридцать восьмого года. Врачи Лакоза, Штерн и другие жили в кабинках своих корпусов. Кроме заключенных, работало три вольнонаемных врача, они имели квартиры в поселке Печора.

Как только я прибыл на работу в этот лазарет, то «дядя Костя» предупредил меня: {в Печорских концлагерных лазаретах имеются два врача-стукача} — тайные агенты особого отдела лагерного МГБ. Один — это врач Гельман, а второй врач, Туев, сейчас работает в Абезьском лазарете. Этот Гельман, с которым свела меня судьба под одну крышу, в разное время дважды оклеветал бывшего военного польского врача Штерна. Его дважды судили в лагере, и оба раза срок заключения добавляли до десяти лет по статье пятьдесят восьмой, «за агитацию» 33.

По своей работе в лазарете и благодаря пропуску я имел широкий круг знакомых среди заключенных и вольнонаемного начальства и служащих, а потому ни в чем не нуждался, хорошо жил материально, что явилось причиной зависти и каких-то других расчетов врача-стукача Гельмана. Он сообщил оперуполно-

⁸¹ ТР: «осужденный в тридцать седьмом году по статье 58 на десять лет». О стоматологе Бездетнове «с Камчатки» см. Васюхнов 1996. С. 108–110.

 $^{^{82}}$ О Сергее Андрияновиче (Андриановиче) Елистратове из Сталинграда см. Васюхнов 1996. С. 108–110, 119–120.

⁸³ ТР: «Гельман уже оклеветал двух врачей, трех фельдшеров, и они получили новые сроки заключения».

моченному, что я имею частные связи с вольнонаемным населением, что категорически запрещалось заключенным, имею много денег и хорошо живу материально. {Оперуполномоченный Турчанинов приказал отобрать у меня пропуск}.

Как-то утром во время обхода больных в бараке явился ко мне оперативник и спросил: вы скоро освободитесь? Я понял, что он пришел за мной. Я прекратил обход и спросил, а что вам нужно? – Пойдемте в оперативный отдел. Пошли. На вахте спрашиваю свой пропуск. – Он у меня, – ответил оперативник. Я понял, что пропуск с вахты уже изъят.

Привели в оперотдел, там допросили. {«Вот вам бумага, чернила. Напишите о своих связях с вольнонаемными», сказал опер. Я написал: «Никаких связей с вольнонаемными не имею, а только лечебные». И преднамеренно сказал: «А вот Гельман имеет». «Гельман, — сказал опер, — нужен государству»}. [...] Опер вызвал начальника тюрьмы и, указывая на меня, сказал: посадить.

Посадили в местную лагерную тюрьму. Начальник тюрьмы Ранцев⁸⁴, бывший мой пациент, спросил: — В какую камеру, доктор, вас посадить? — В ту, где меньше клопов. Мое желание Ранцев удовлетворил. В лагерной тюрьме было много заключенных, главным образом из рецидива, а некоторые из них лечились у меня. Когда узнали, что и меня посадили, то они шумно начали приветствовать и оказывать мне тюремное внимание. Однако такой авторитет мне не нравился, ибо могут еще приписать мне и связь с уголовниками-рецидивистами.

Через семь дней отправили меня в зону лазарета, но по ходатайству Гельмана перед начальником лазарета от работы в лазарете меня отстранили. Направили на общие работы очищать от снега станцию Печора, а потом начали наряжать на строительство моста через реку Печора, возить на тачках грунт для насыпи полотна. Возможно, что в каком-то столетии будет проезжать через мост группа туристов и помянет добрым словом строителей этого моста и всей железной дороги от Кожвы до Воркуты, тружеников-страдальцев, десятками тысяч легших костьми во время постройки дороги.

⁸⁴ ТР: «Рванцев».

Когда начальник санитарной части отделения сообщил о моем снятии с врачебной работы в лечебно-санитарный отдел Главного управления Печорлага, к тому времени переехавшего из Печоры в поселок Абезь, то лечебно-санитарный отдел выслал на меня спецнаряд, чтоб отправили туда к ним на работу. {Для этапа направили в штабную колонну отделения и этапировали в Абезь, что в ста сорока километрах на север⁸⁵ от поселка Печора, где уже начинается лесотундра}.

Лечебно-санитарный отдел являлся до некоторой степени нашим врачебным шефом и о каждом заключенном враче хлопотал, чтоб он работал по своей специальности. К тому же на весь Печорский концлагерь на протяжении четырехсот пятидесяти километров – двадцать два отделения, сотни колони и десятки лазаретов, где в каждом находилось от четырехсот до девятисот заключенных больных – имелось всего три врача, специалиста по кожным и венерическим болезням для заключенных и вольнонаемных.

По прибытии этапом в Абезь через семь дней я получил пропуск {для бесконвойного хождения в пределах Абезьского района концлагерей}. Днем работа в лазарете по общим и специальным болезням заключенных, а вечером прием больных по кожновенерическим болезням в вольнонаемной поликлинике. Здесь еще более широкое общение началось со всеми, с кем соприкасался по работе.

В выходные дни я и заключенный фельдшер Чернышев Петр Петрович, тоже пропускник, уходили на реку Ольховей вглубь лесотундры. Этот фельдшер был на десять лет старше меня и немного глуховат. {Освободившись из лагеря в первый раз, остался на работе в Печорлаге по вольному найму}. Он как-то слушал радиопередачу с фронта, и ему послышалось, что немцы окружили Москву. Работал он начальником одной санчасти. Когда он проходил через вахту лазарета, охранники его спросили: что слышно о фронте? — Он отвечал: будто немцы окружили Москву. Эти два охранника написали заявление оперу, что Чернышев распростра-

85 ПТ: «на двести пятьдесят километров на север».

няет ложные слухи. Через два месяца его арестовали и дали пять ${\rm лet}^{86}$ концлагерей.

И когда теперь кто-нибудь из заключенных спросит его в шутку: — Вы слушаете, Петр Петрович, радио? — он отвечает: — Слушаю, но молчу. Вот с ним, пока я два года находился в Абезе, часто уходили не столько рыболовить сетями, вентерями — сколько отдохнуть от зоны и вышек лазарета. Забирали с собой хлеб, американский бекон, масло, сахар (дар больных вольнонаемного состава) и уходили от Абезя по реке Ольховей или Усе за десятьдвенадцать километров, облюбовывали себе место рыбалки и начинали ставить снасти и забывали на какое-то время, что мы находимся в заключении. Пойманную рыбу там же на берегу реки или озера варили, жарили, а иногда приносили в зону лазарета и отдавали своим коллегам и знакомым.

Как с первого дня заключения, так и во все дни и годы тяжелая, незабываемая скорбь никогда меня не покидала о жене, сыне, о родных, близких, знакомых, о вольной волюшке, о том, что по выходе из заключения жизнь ничего хорошего не сулит. Тайный и явный надзор, ограничение гражданских прав, черта оседлости. Все эти размышления делали будущее тяжелым и безотрадным. Но я смог и здесь установить почтовую связь помимо лагерной цензуры — письмами, денежными переводами, а потом и посылками. Правда, все это носило нерегулярный, случайный характер. Возможности оказать существенную помощь не имелось, но мне отрадно было из заключения что-то сделать приятное дорогим и близким.

Однажды летом сорок третьего года, в теплый солнечный день в часов семь пополудни мы вместе с Петром Петровичем поставили сети в реке Ольховей близ лазарета, а Петр Петрович ушел ставить вентеря поблизости от реки [в озере]. {Я остался близ костра и смотрел вдаль}. [...] Вся пойма реки зеленела и цвела, воздух был чист и прозрачен, кругом всеобщая тишина, в вышине звенела песня жаворонка. Лучи заходящего заполярного солнца создавали длинные тени от холмов, кустарников, травы и луговых цветов. {Я начал мечтать о жене и сыне, они как живые ви-

⁸⁶ ТР: «четыре года».

делись мне в лучшие дни и годы нашей жизни}. И вдруг вдали увидел идущую тихим шагом по направлению ко мне женщину, одетую в черное платье. Вместе с ней шли двое двух-трехлетних детей, она вела их за руки. Лица их светлелись, но черты скрывали тени начавшихся сумерек. {Рост, походка, движения и слегка склоненная набок голова жены}. Я стоял во весь рост и неотрывно смотрел на чудесное видение. Но почему двое детей, ведь с ней оставался один... Неужели это знамение, что будет в жизни у нас еще второй? Она все шла ко мне, ближе и ближе. Не доходя до меня, еще там вдали начала поворачивать влево и исчезать вместе с детьми в тени наступивших сумерек, удаляясь к видневшемуся на горизонте полустанку железной дороги, все более уменьшаясь до полного исчезновения. Я долго стоял и смотрел туда, где скрылось чудесное виденье.

Может быть, в этот час и она там, в России вспоминала о прошлом, о всем, что было прекрасного в прожитой нашей жизни до ареста и заключения. С тяжелым чувством в душе и болью в сердце по потерянному Эдему, я лег на еще не остывшую землю и стал смотреть в начинающую чернеть голубую бездну неба и зеленый свет звездного мира. А мысли неслись за тысячи километров туда, к ней и сыну. [...] Никогда я так не любил ее и сына, такой чудесной любовью во все годы, как в этот вечерний летний день.

Я продолжал оставаться на берегу реки, погруженный в мечты и грезы. Стало совсем темно. В это время подошел Петр Петрович и позвал меня: — Пора идти в лазарет, там скоро вечерняя проверка, завтра утром пораньше до работы придем проверять свои снасти. Молча шли мы в свою обитель — зону «всех скорбящих». Говорить мне и почему-то Петру Петровичу не хотелось. Молча пришли в лазарет и оба без ужина легли спать.



Отношение здешней лазаретной администрации к врачам по сталинскому набору было придирчивое. Надо было всячески угождать, гнуть спину по делу и без дела перед начальницей лазарета,

старшим поваром из числа рецидивистов, вместе с администрацией крадущего продукты питания у больных. Шайка поваров у администрации имела большее уважение, как «друзья народа», чем все прочие сталинского набора «враги народа». Начальница распорядилась перевести врачей на общее полуголодное питание. Затем начала вмешиваться в специальную работу каждого врача, не имея познания в этих специальностях.

Тогда хирург Денисов Василий Дмитриевич из Ярославля и невропатолог Тартаковский из Саратова, оба с десятилетним сталинским сроком, сняли во время работы халаты и ушли в бригаду на общие работы по заготовке дров для лазарета. Но административно-санитарному отделу не было расчета держать врачей на общих работах, а потому через некоторое время их отправили на работу по специальности в другие отделения лазаретов.

Шел сорок четвертый год. Заключенные на десять лет и больше могли погибнуть и гибли от тяжелых климатических условий, работы, хронического недоедания, сурового режима, от разрушенной личной и семейной жизни, от беспросветности в будущем, невозможности в случае выхода из концлагеря иметь хоть те же гражданские права, что были до заключения. Все эти внутренние и внешние причины систематически убивают тело и душу каждого заключенного.

У врача Бездетнова ⁸⁷ окончился срок заключения, но его задержали до особого распоряжения. У врача [Джепаридзе] из Тифлиса окончился срок — оставили в лагере тоже до особого распоряжения. Как эти, так и многие другие были оставлены сверхсрочниками на несколько лет. А экономист пятого отделения, бывший командир дивизии Павлов три раза оканчивал срок, три раза вызывали его на освобождение, и три раза добавляли ему срок заключения по три года. Надо полагать, что если Павлов остался жив, то сидел в лагере до конца срока жизни царя Иосифа, когда «хватил его кондрашка».

⁸⁷ В оригинале «Бездетного».

* * *

Осенью сорок четвертого года⁸⁸ санитарный отдел отправил меня на работу в Пернашорский лазарет еще севернее, ближе к Воркуте. Много встречал я в лазаретах и колоннах хороших добрых людей, но еще больше нехороших. Никого я из них не виню, во всем виновата сама система социального быта; об этом много рассказано ранее при царях Романовых, и в данное время нового в этом ничего нет. Те же песни Ланцова⁸⁹ поет народ, да краски погуще... Мало говорю о своих коллегах-врачах, об их малых радостях и большом горе в концлагерях. Всех нас объединяло общее несчастье народов России... Мы радостно и печально приветствовали друг друга, и ужасно было видеть самых человечных людей в условиях самых бесчеловечных.

* *

В Пернашорском лазарете, близ станции Сивая Маска, осенью сорок пятого года приезжала ко мне повидаться на десять дней дочь Н. ⁹⁰ С тяжелым чувством встретил ее, ибо вопреки здравому рассудку она избрала пагубный путь жизни, и я искренне желал, чтоб перестала она существовать. Короче говоря, она встала на путь воров-рецидивистов в возрасте шестнадцати лет. Увещевания мои и моих друзей до ее сознания не доходили. Правда, она обещала учиться по приезде к матери в Самару, а я обещал ей материальную помощь посылками и деньгами, если она будет учиться и приобретать трудовую путевку в жизнь.

Прожила десять дней, днем с утра раннего до поздней ночи находилась со мной в зоне лазарета, а ночевала за зоной в семье завхоза. Имея в виду мое питание и одежду, сказала: «Ты хоро-

⁸⁸ ТР: «в сорок пятом году».

^{89 «}Звенит звонок насчет поверки, Ланцов задумал убежать...» и проч. 90 Нонна, дочь С.Н. от Татьяны Андреевны Вишняковой.

що, папа, и здесь живешь». На что я ответил ей: «Я ведь имею специальность врача — поэтому и здесь хорошо живу. Приношу людям пользу, а не вред, за это и они меня ценят». Через десять дней снабдил ее продуктами питания, деньгами и обувью, проводил ее до станции Сивая Маска, простились, и я вернулся в лазарет.

Я начал писать ей в Россию, но ответа не получал. Второй раз попала под суд, но по амнистии была освобождена и так осталась на всю жизнь без руля и без ветрил (первый раз до приезда ко мне ее освободила мать — моя разведенная жена). После безуспешных моих просьб к ней начать учиться я навсегда прекратил с ней всякие отношения. Поскольку другая дочь М. ⁹¹ не пожелала уйти от Н. и матери, с которыми жила вместе — то со всеми прекратил отношения, ибо связь с ними, помимо всего прочего, могла иметь для меня печальные последствия: связь с уголовным миром, социальными тунеядцами.

Я понимаю, если человек от низшего положения стремится к высшему, но для меня совершенно непонятно стремление от высшего к низшему при возможности добиться лучшей доли в жизни.



С конца сорок четвертого года письма от жены приходили все реже и реже, и тон писем становился суше, холоднее. Но мысли об отдалении ее от меня, об уходе к другому у меня не возникало. Я мечтал о будущей жизни с женой и сыном по возвращении из концлагеря. [...] Тоска моя жила о них во мне, и я в ней. [...]

В сорок четвертом году трижды были у жены мои знакомыепосланцы. Дважды были с ними короткие встречи, а в третий раз семь дней жил у жены мой бывший пациент фотограф Миша. Он ездил в Самару в служебную командировку. Когда он вернулся в Абезь, то при встрече со мной о многом умолчал из того, что видел и слышал там, в квартире моей жены. Ему не хотелось при-

⁹¹ Марианна.

чинить мне большое горе, второй удар судьбы. А поэтому он скрыл от меня то, что я узнал позже, примерно через полгода из писем сестры и брата.

В то время письма от жены прекратились совсем. Вначале сестра, а вскоре и брат в письмах сообщили, что жена оставила меня и вышла замуж за другого. Это был второй удар судьбы — следствие первого, не менее тяжелый, чем арест и заключение в концлагерь. Оборвалась и прекратилась навсегда надежда на радостную счастливую жизнь по выходе из концлагеря. Конец мечтам и надеждам! Я лишился радости возвращения в семью, к жене и сыну.

«Кому скажу, кому повем печаль мою»! У каждого свое бесконечное горе на всю жизнь, и этот второй удар судьбы каждый хранит в самом себе, в своей душе, ибо больно становится на сердце говорить с собратьями по заключению.

Ведь лошадиные сроки заключения в тюрьмы и концлагеря разрушили миллионы семей заключенных. В случае возвращения — черта оседлости, гласный и негласный надзор, всеобщая боязнь и страх вторичного заключения, никакой уверенности в завтрашнем дне. [...] Нет ничего удивительного в том, что жены заключенных стремились где формально, где фактически отгородиться от мужа и отца детей и тем несколько обезопасить свой жизненный путь от рогаток марксидов, не быть осужденными как «член семьи врага народа», не лишиться детей и не обречь их на еще более бедственное существование. Весьма возможно, что жена «страху убояся» — решила уйти от меня, «прокаженного», и связать свою жизнь с другим, чистым, и еще лучше, с правоверным марксидом. [...]

Так велик и могуч был террор царя Иосифа, что многие пали перед ним ниц, славословили мудрость его во имя истребления своих и не своих, партийных и беспартийных. В такие лихие времена духовной инквизиции только редкие, отдельные личности до конца остаются на высоте человечности — ибо мало кто хочет добровольно идти на убой в руки святейшего сталинского синода. Только «кондрашка» избавил весь народ от мук и страданий. Не нашлось достойного человека, чтоб избавить народ от тиранашизофреника, тридцать лет царствовавшего и душившего народ.

* *

Теперь, когда пишу об этом, то все давно уже в прошлом, переболело, перемучилось, перестрадалось-сгладилось. Но в декабре сорок пятого года этот второй удар судьбы переносился мучительно тяжело. Ведь я сжился с тоской по жене и сыну, они были частью моего «я». И вдруг письмо:

— Дорогой и милый братец! Вчера я ездила в город и зашла к А.П. Сережу дома не застала — он ушел в школу, а в комнате сидел какой-то седой дядя. А.П. говорит мне: познакомьтесь — это мой муж. Я так и обмерла и не знала, как ушла от нее. Так мне было обидно за тебя и за себя. Ведь много лет я ее привечала как родную, еще девушкой, когда она с моей дочкой Паной вместе училась и дружила. Ну, бог с ней, [...] не горюй — не стоит она этого, {береги свое здоровье}. [...]

Теперь я стал одинок в личной жизни. Грезы и мечты рассеялись, мир людей и всех, кто правит обществом, стал казаться еще более серым, будничным, менее человечным — ближе стоящим к животным. Только общее желание жить, могучее и вольное, ни от кого не зависимое, заполнило пустоту души. Частное перестало существовать, осталось это общее, без страстей и грез в дальнейшей моей концлагерной жизни, да, пожалуй, что и в будущей, вне лагеря.

Оказался прав Спиноза, когда он произнес: «Не смеяться, не плакать – а понимать». Впереди предстояла личная встреча с ней, по возвращении из лагеря, и кто знает, как встретит она меня живого, а не воображаемого за тысячи километров. Мысль, что А.П. живет с другим, другой жизнью, другими радостями и печалями, чуждыми мне – отталкивала от нее. Единство, цельность жизни исчезли.

Оптимизм – прекрасное свойство человека. На оптимизме основан род человеческий на земле, его прогресс до безвластного, безначальственного коммунизма во всем мире, когда труд и хлеб станут равными для всех и каждого, и на этом экономическом равенстве расцветут здоровые моральные основы взаимоотношений

между всеми людьми мира. Тогда и только тогда все богатства, созданные человечеством, материальные и духовные, станут достоянием каждого трудящегося. Тогда исчезнут преступления и преступники, ибо не будет причин, порождающих их — экономического неравенства, этой рабской зависимости одного человека от другого. Такое сознание давало мне силу и веру в жизнь, в ее смысл и помогало переносить все невзгоды и удары судьбы.

Мне стало ясно, что если вернусь в Россию, то личную, куцую жизнь придется создавать заново, но уж без кипения в душе, ибо часть ее невозвратно осталась с А.П. и еще более с живущим с ней сыном, и не будет чарующей красоты единства в любви. А впереди еще около пяти лет концлагерной жизни, и никто заранее не может знать исход ее.

Внешне было ясно — А.П. ушла к другому, чужому берегу жизни, и что там нет места мне, но в глубине души этот вопрос оставался нерешенным. Верилось и не верилось, что А.П. ушла к другому так просто, без объяснений со мной. Ведь от нашей общей жизни так много осталось счастливых, отрадных, полных любви и счастья воспоминаний. Много раз в ночной тиши, в мечтах и грезах видел нашу встречу по возвращении из концлагеря, как во время нашей встречи с А.П. и сыном произойдет в душе ее чудо — прозрение. Я хотел этого ее воскрешения, возвращения к началу нашей жизни.

Я был одинок, свободен в самом себе, а она уж пять лет будет жить с другим. Я жду от нее первого слова еще и потому, что наш сын живет с нею. Но этого первого слова ее так и не услышал и не дождался. А мне хотелось в лице ее видеть радостную грусть, в ее глазах надежду и светлую любовь, в голосе и движениях всепрощающую любовь жены и матери сына.

Нет! Ничего этого в ней я не нашел при встрече. Не нашлось у нее этих чувств, чтоб забыть прошедший кошмарный сон — трагедию нашей жизни. Мы не взяли друг друга за руки и не пошли в будущую жизнь с любовью и верой в наше общее единство, во имя самих себя и сына. Своим женским и материнским сердцем она должна была знать, что любовь все прощает и побеждает, очищает душу и сердце, она рождает в человеке могучее, светлое и гордое жизнеутверждающее чувство и сознание бытия. Но это-

го не оказалось – настолько охладело ее сердце, как это и подтвердилось потом при встрече через девять лет заключения. [...]

* * *

Незадолго до моего отъезда из Пернашорского лазарета его посетил заместитель начальника Печорлага Артамонов. Собрал всех заключенных врачей и начал исповедовать, вернее — издеваться над врачами, будучи в состоянии сильного опьянения. Спрашивает врача-литовца шестидесяти лет: — Ты за что попал, по какой статье, пятьдесят восьмой? Что плохо работаешь, о чем ты думаешь? — О внучатках, гражданин начальник. — Работать не хочешь, вот и думаешь о внучатах.

– А ты за что попал, – обратился Артамонов ко второму врачу в возрасте за пятьдесят лет. Он молчит. Артамонов читает ему мораль, поносит его персонально и всех врачей в общем. Спрашивает третьего врача, лет тридцати: – За что посажен, – он отвечает, что посажен за мягкотелость во время выселения чечен, не был достаточно активен.

— А ты за что, — спрашивает четвертого врача лет двадцати восьми. — За плен, гражданин начальник, наш полк попал в окружение во время войны с финнами, нас окружили, мы не сдавались. Когда съели всех лошадей и не дождались подмоги — сдались в плен. Нас обменяли, а потом осудили за измену родине.

Опросил еще двух-трех врачей, обозвал всех контрами, предателями, врагами народа. — Вы не о работе своей в лазарете думаете, не о том, как искупить вину свою перед Советской властью, а как скорее срок кончить, — хотя работа врачей в лазарете была на хорошем счету.

Начальству надо было показать себя, что оно есть начальство, а заключенные — навозное удобрение его господства. Наконец начальство натешилось и отбыло. Разошлись врачи по своим баракам больных.

Когда я вернулся с колонны в лазарет, финский пленный врач Василий Дмитриевич поздравил меня со счастливым отсутствием и сказал: — Да, Сергей Николаевич, я где-то у кого-то читал:

«У всякого свое ремесло: одни едят, другие чтоб их ели, для одних политика – для других земля. Иметь суждение не наше дело». Быть хозяевами земли, огня, воды, воздуха – всех четырех стихий и служить на утеху начальства. Мы вьючный скот и созданы для того, чтоб нас били. Об этом я не спорю. А чей кулак нам приятнее, и от чьей дубинки легче нашей спине – это, друг мой, вопрос важный и моему уму не постижимый.

А сказать вам по совести – мне все равно. Чтоб знать, надо самому взять обе дубинки в руки, взвесить ту и другую, да самому испытать их как следует. А так приходится терпеть. Терпи, терпи, наковальня — бей, начальство, своим молотом! И еще долго, до полуночи говорили о судьбах человека и общества в прошлом, настоящем и будущем. Разошлись по кабинкам с думами о своей судьбе и конце срока заключения. Прав ты, гражданин начальник!



По моей инициативе лечебно-санитарный отдел создал венерическую колонну при Хановейском, пятом отделении, куда и направил меня [в конце сорок пятого года 92] для лечения заключенных больных и вольнонаемных в поликлинике. <Я имел пропуск на бесконвойное хождение и проезд в пределах Печорской железной дороги от Печоры до Воркуты [...] и меня часто отправляли для выполнения врачебной работы по концлагерным колоннам в пределах пятого отделения и изредка в пределах всего Печорского концлагеря>.

Больные с открытой формой сифилиса изолировались в Хановейском лазарете-стационаре, а закрытой — концентрировались и лечились на колонне амбулаторно. С утра работал в лазарете, затем я шел три километра на венколонну, там проводил курсовое

 $^{^{92}}$ По ПТ, дочь приезжала осенью 1945 г. еще в Пернашорский лазарет. Согласно ТР, перевод С.Н. в Хановейский лазарет, где С.Н. «проработал пять лет», состоялся месяцев через восемь после перевода в Пернашорский лазарет.

лечение с помощью трех фельдшеров и четырех санитаров, а вечером с пяти до семи часов вел прием вольнонаемных больных в амбулатории поселка Хановей, [который находится] не доезжая сорок пять ⁹³ километров до Воркуты. Часто вызывали в поселке на дом к больным служащим и рабочим. Почти ежемесячно ездил поездом в Воркутинскую лабораторию на два-три дня для исследования крови больных на реакцию Вассермана. В Воркуте видел множество каторжан со сроками от десяти до двадцати пяти лет, с белыми номерами на шапках, рукавах, спине и левой ноге. Все они молодого и среднего возраста, с угрюмыми серыми лицами живых покойников, добывали каменный уголь в шахтах и строили город Воркуту.

* * *

Раз в три месяца меня назначали в комиссии по определению физического состояния больных — их категорий труда. Однажды в феврале сорок седьмого года санитарная часть отделения послала меня одного срочно провести комиссовку заключенных на колонне в пяти километрах от лазарета. Чтоб пораньше там начать работу, я вышел вечером из лазарета по полотну железной дороги. На этой колонне я бывал много раз и ранее, она, как и все другие, находилась близ железной дороги, а потому я никак не предполагал, что могу в вечерней темноте заблудиться.

Было семь часов вечера. Из облачного неба плавно и тихо спускались редкие снежинки. Даже приятно было идти и думать о далеком, но дорогом прошлом и о невеселой доле заключенного. Но через десять-пятнадцать минут ветер усилился, крупнее и гуще начал падать снег, небо покрылось серо-белыми облаками, и видимость исчезла — все вокруг превратилось в бледную свинцовую муть.

Мимо меня прошли два товарных поезда и, чтоб избежать внезапного налета поездов — я решил пройти к колонне прямой зимней санной дорогой, несколько левее железной дороги. Вна-

⁹³ ТР: «двадцать пять».

Концлагерь 217

чале шла гладкая наезженная дорога, но в одной из ложбин она потерялась. Я начал нашупывать твердость дорожного снега тростью, с которой ходил в лагере много лет зимой и летом, но ни впереди, ни справа, ни слева дороги не было. Начал делать короткие круги — дороги не находил. Напрасно я старался рассматривать дорогу и окружающие знакомые холмы — все кругом белело и серело. Казалось, что порой я находил дорогу, а вскоре убеждался, что дорога исчезала.

Тогда стал определять путь к колонне по ветру. Я помнил, что когда шел к колонне, ветер дул в правое ухо и плечо — значит, чтоб выйти мне обратно на железную дорогу и по ней идти к колонне или обратно повернуть в лазарет — надо идти так, чтоб ветер теперь дул в левое ухо и плечо. И я пошел по этому воображаемому направлению, но тут же начал проваливаться почти до пояса в какие-то снежные ямы. Тогда решил снова делать круги, искать дорогу и мелкий твердый снег, но только чаще стал проваливаться в ямы. Я понял, что заблудился окончательно. А ведь вот так и замерзают, — мелькнула тревожная, ужасная мысль, и по всему телу пошли мурашки. Я был по-зимнему тепло одетый, и от утомления и страха замерзнуть появился пот и оторопь. Остановился отдохнуть, а кругом бескрайняя мутная тундра. Снег сверху, снег снизу, и кругом воздушная серо-белая пелена. Думаю и думаю, что делать.

Ночь только что началась, и до рассвета надо пятнадцать часов пробыть в тундре. Без движения замерзнешь, ходить по снегу тяжело, не хватит сил до утра, да можно далеко уйти в тундру, где не найдешь никакого жилья на сотни километров. Нет, нельзя себя изнурять и изматывать силы в бесцельном блуждании по снежной равнине бесконечной тундры. А если пурга еще больше усилится и продолжится сутки или двое? — думается мне. Усиленно напрягаю зрение во все стороны — знаю, что где-то недалеко нахожусь от колонны, километра полтора-два.

Неужели здесь в тундре, под ее снежным покровом пришел конец моей жизни, то досрочное и истинное освобождение, о котором шутя говорил врач Янавичус. Грустно размышляя, я все стоял и смотрел вокруг – не появится ли в беспросветном мраке

луч спасения: пройдет поезд – увижу свет его фар, или увижу свет фонарей колонны.

Не помню сколько времени прошло, но стал замечать, что снег и поземки как будто уменьшаются, а вскоре почти совсем стихли. Стоять на месте невозможно. Инстинкт заставил идти, и я медленно пошел. Иногда снова проваливался в снежные ямы до пояса, выбирался из них и снова шел по гладкому твердому снегу, уплотненному ветрами тундры. Но вот стихло совсем, и я увидел серовато-темные очертания как будто какого-то строения, и в нем еле заметный мерцающий желтый свет. Подхожу вплотную, вижу вышки, освещение и загородь зоны, и тут же отошел подальше от зоны — часовые на вышке близ зоны могут застрелить. Обхожу зону, увидел вахту, и только тут я понял, что пришел на ту колонну, к которой шел, и что блуждал я в полутора километрах от колонны. Часы на вахте показывали одиннадцать ночи 94.

⁹⁴ Согласно ТР, С.Н. заблудился в феврале 1947 г. на обратном пути в лазарет, не доходя двух-трех километров, и вышел на заброшенную колонну в километре от лазарета, охраняемую сторожем. «Погибнуть от замерзания не погиб, но едва не погиб от воспаления легких». Затем следует рассказ о лечении в терапевтическом отделении лазарета. В ПТ описываются два похода, первый датируется февралем 1947 г., второй просто «февралем», в первом герой заблудился, а во втором заболел.

ТАНЯ РАЗУМОВСКАЯ

Шли месяцы и годы концлагерной жизни. Вторая трагедия опустошила душу и сердце. Далеко позади осталось первое юношеское увлечение Таней Разумовской. Оно было светлым воспоминанием, и особенно милым и дорогим стало это воспоминание с уходом от меня А.П. к другому. Горьким раскаянием терзалось мое сердце, что я мог бы не потерять первую любовь. Какой далекой, но бесконечно сердечной и близкой была теперь Таня Разумовская. Я знал, что она никогда бы не оставила меня в беде. Все чаще и чаще мои мысли уходили к ней, далекой в неведомых краях. В воспоминаниях и мечтах о Тане прошел год.

Размеренно текла моя концлагерная жизнь: проверка утром в шесть часов, завтрак, работа с больными заключенными в стационаре лазарета, на венколонне; в три-четыре часа дня обед и отдых; прием вольнонаемных больных в амбулатории поселка с пяти до семи вечера, проверка, ужин, чтение книг, газет. Поездки пассажирским поездом в Воркуту, в лабораторию, поездки в Абезь за триста километров от Хановея, комиссовки заключенных в колоннах отделения. Мрачно и однообразно шли дни, месяцы и годы в далекой лесотундре, где девять месяцев зима и три месяца — весна, лето и осень.

В холодный осенний день 95, как обычно, я проводил вечерний

В холодный осенний день установ, я проводил вечерний прием больных в амбулатории поселка. В приемный кабинет взошла женщина лет сорока, одетая в плащ, ватный бушлат, ватные брюки, кирзовые сапоги, в шапке-ушанке, с обычным при-

⁹⁵ Согласно ТР, Таня появляется осенью 1949-го года и умирает весной 1950-го, незадолго до освобождения рассказчика. Но согласно хронологии рассказа о Тане в ПТ ее появление, возможно, датируется 1947-м годом, а умерла она осенью за год до освобождения рассказчика – т.е., по-видимому, в 1949 г. В ЦВ стихотворение «Тане Разумовской», где автор обращается к Тане как к живой («Ты со мною, я с тобою, нам неволя не страшна!»), датировано 1949 г.

ветом входящего на прием: – Здравствуйте! – Здравствуйте, салитесь.

Женщина села, и взгляд ее лучистых голубых глаз остановился на моем лице. — Не узнаете... Да, нелегко узнать: ведь больше двадцати семи лет прошло с тех пор, как мы расстались. Как только она заговорила, сразу по ее голосу узнал в ней Таню Разумовскую. Вначале, когда она взошла, я верил и не верил, что это она, Таня. Придя в себя, взял ее руку и прижал к своей груди. Я молчал. Она говорила: — Никогда не думала, не гадала, увидеться с тобой здесь. Привела меня к тебе моя негаснущая первая и последняя любовь.

Наконец я вышел из состояния безмолвия. – Да возможно ли, как ты сюда попала, какими путями здесь очутилась, в этих краях мрачной жизни... как узнала и нашла меня... рад и счастлив, что вижу тебя... Как хорошо, что ты здесь. Ты, Таня, останешься здесь, я прошу тебя остаться вблизи меня.

Подожди, здесь сейчас нет у нас времени. Скоро окончится прием больных, и мы пойдем к моему хорошему другу на квартиру, там будем говорить обо всем. Ведь ты знаешь, наверное, что заключенные не имеют права на любовь, но ты не огорчайся: у меня пропуск, да и мои вольнонаемные друзья помогут нам, а у меня их здесь много. Ты покамест подожди меня в ожидальне, я скоро закончу прием больных.

Она вышла. Минуты до окончания приема казались часами. Но вот прием больных закончен, и я вышел. Чтобы не возбудить подозрения о наших отношениях, я пошел впереди, а она сзади в двух шагах, ибо только тайна наших отношений сохранит нас обоих от невольной разлуки. Пришли к моему верному другу, который обязан мне своим здоровьем, и с которым не раз ходил рыболовить. Я хорошо знал его семью: жену и ребенка. Когда вошли в его квартиру, я познакомил их с Таней, объяснил, что она приехала ко мне, а их попросил, чтоб они назвали ее своей племянницей, приехавшей к ним сюда на работу. Мой друг Николай Павлович, дежурный по станции Хановей, и его жена любезно приняли ее в свою семью и обещали устроить Таню на работу.

Собрали ужин, чай. Таня была сильно переутомлена, видимо, много ночей не спала. – Я устала, – тихо сказала она, и я попро-

сил жену Николая Павловича устроить Таню с постелью, нежно простился с ней и ушел в зону лазарета: оставаться дольше с Таней не мог.

Почти ежедневно по вечерам после окончания приема больных в амбулатории поселка на два-три часа заходил к Тане и слушал ее нерадостную повесть.

– С тех пор, как ты уехал учиться на многие годы в Самару, я потеряла с тобой связь, продолжала жить с родителями, помогала им в работе по хозяйству и на мельнице. В конце тридцатых 96 годов началась перестройка жизни в селах и деревнях. Отец мой продолжал работать на своей мельнице, а тут началась ссылка всех, кто в своем хозяйстве применял наемный труд, и тех, кто просто был зажиточным. Моего отца и мать отправили на ссылку в поселок Песчанку Кожвинского района в республику Коми. Дом, имущество, мельницу отобрали. Я осталась без средств и работы, как дочь раскулаченного. Чужие, но добрые люди дали мне угол и хлеб, а я помогала им в хозяйстве 97 .

 96 Так в оригинале. Это соответствует внутренней хронологии Таниного рассказа, но из жизни ее семьи в результате выпадают почти два десятилетия. Раскулаченные в Коми АО появились в начале 1930-х гг.

⁹⁷ ПТ, в конце описания студенческих лет: «Я каждый год приезжал в Старый Буян в дом отца, помогал в полевых работах и продолжал встречаться с Таней. Она продолжала жить в доме своего отца, ожидая моего окончания Медфака. Много солнечных дней и лунных и безлунных ночей прошло у нас в их саду и в займище на берегу Кондурчи, и казалось, что ничто и никто не нарушит наше счастье. Так лумалось, так желалось нам, но не так сложились обстоятельства. Ее семья, как имевшая собственность – мельницу, с одним наемным работником – подлежала ссылке в края отдаленные. Местный председатель комитета бедноты явился в дом отца Тани и предложил: если отдадите за меня дочь Таню, то помогу задержать вашу ссылку.

В этом ему отказали, и семью сослали в то время, когда я был в Самаре. Всякая связь прекратилась, но чувства, милые чувства, никогда не меркнущие первой юношеской любви остались жить в моем сердце.

Когда приехал в Старый Буян, тяжелая грусть неведомой силой влекла к тем местам, где проводили время с Таней. Моим другом осталась природа, влекла к себе, и в ней я находил утешение и разрешение скорби по Tahe».

ТР: «В том же [двадцать втором] году мне сообщили, что Разумовских Ивана Никоноровича и Серафиму Яковлевну сослали куда-то в Сибирь, и их дети разъехались кто куда мог, но дочь Таня не захотела оставить в беде В это тяжелое время обратил на меня внимание местный партийный деятель Обиралкин⁹⁸, хорошо всем обеспеченный. Он настойчиво стал добиваться моего согласия, чтоб я вышла за него замуж, угрожал мне всякими бедами в случае моего несогласия. Не видя выхода из своего бедственного положения, презираемая всеми местными деятелями, как дочь раскулаченного – на работу никуда не принимали – я решила: вместо петли на шею выйти замуж за Обиралкина.

Прошло два года. Жизнь с Обиралкиным стала нестерпимой. С каждым днем он пил все больше и больше. Жила я с ним так, как будто он для меня не был мужем. Я ни на одну секунду ему не была женой ни телом, ни душой. Мучилась, терпела и верила, что судьба избавит меня от него, или это мне просто казалось, что так будет исполнено мое желание в будущем по моей же воле.

В конце третьего года отец и мать прислали мне письмо из ссылки на имя старобуянского знакомого. Они просили меня приехать к ним повидаться и пожить с ними — здоровье их стало плохим, а если возможно, то остаться с ними, чтоб родная рука после смертного часа закрыла навечно их глаза.

С Обиралкиным ничего меня не связывало, он был мне противен и до жизни с ним, а после еще более. Я ненавидела его и как мужа, и как человека — душителя трудолюбивых людей. К тому же детьми не была с ним связана, детей от него не было. И я радовалась этому, и увидела свое избавление в уходе от него к матери, отцу. Выждала время, и, когда Обиралкин уехал в командировку, собрала необходимое для дальней дороги, добралась до Самары. Там на рынке продала часть вещей на билет и случайно на рынке встретила твою сестру, и от нее узнала, что ты в Печорских концлагерях пятый год. Она же мне рассказала, что жена

своих родителей и вместе с ними поехала на ссылку. Таня переслала мне со знакомым старобуянцем краткую записку: «Любимый, не могу оставить мать и отца, уезжаю вместе с ними в ссылку, но до конца жизни моей любовь моя к тебе будет жить неугасимо. [...] Наша любовь вошла в меня "крепче браги хмельной и слаще меда липового", и я благословляю тот час и день, когда полюбила тебя!».

⁹⁸ В оригинале «Обиралов».

твоя ушла к другому... Ярким пламенем вспыхнула неугасимая любовь к тебе, и только долг перед матерью и отцом заставил поехать к ним, а не к тебе.

Поехала пароходом до Горького, а там поездом до Кожвы, и попутными подводами и пешком добралась до Песчанки к своим родителям на берегу реки Печоры. Пока живы были отец и мать, им нужна была моя помощь. Работать они уже не могли, перебивались с хлеба на воду. Мрачная земля, мрачное небо, безысходная нужда и безысходное горе убивали их физически и морально. Они все более и более слабели, и через год после моего приезда умерли, почти что в одно время. Схоронила их на кладбище крутого левого берега Печоры⁹⁹. Осталась одна. В Россию ехать не хотелось, там меня никто не ждал¹⁰⁰.

Я знала, что ты в Печорских концлагерях, а они так велики, и так много там заключенных от Кожвы до Воркуты, и так много концлагерей и лазаретов, да и не придешь к начальству и не спросишь, где найти такого-то. Все же я решилась найти тебя. Я знала, что заключенные врачи работают — лечат больных в лазаретах, и они на виду у начальства и заключенных. Собралась в дорогу. Время осеннее, холодное, дожди бесконечные. Поехала искать несбывшееся, потерянное счастье любови моей. Теперь, когда узнала от сестры твоей, что ты одинок — прости меня — я обрадовалась. Не правда ли, как могуч эгоизм любви моей! Твое несчастье — стало моим счастьем!

От Кожвы двенадцать километров пешком дошла до крайнего лазарета. В поселке Канине переночевала в семье ссыльного. Рано утром, не доходя до пятого лазарета, первого отделения, остановилась на дороге и стала ждать — не выйдет ли кто из лазарета или не пойдет ли кто в лазарет. Вижу, вышла из лазарета молодая

⁹⁹ В оригинале «Песчинки».

¹⁰⁰ ТР: «Когда умерли в ссылке мать и отец, я три года разыскивала тебя, и только недавно мне сообщили, где ты находишься, а также узнала, что жена твоя после твоего заключения ушла к другому. А знаешь, кто написал мне о тебе? Помнишь Машу Андреянову, жену засыпки, что еще передавала наши записки о наших встречах на берегу Кондурчи еще тогда, когда мы были так молоды. Это она разузнала все о тебе от твоей сестры».

женщина. Когда она поравнялась со мной, я спросила: — Не знаете ли врача Трудникова? — Это Сергея Николаевича? Он здесь работал в лазарете, потом его перевели в первый лазарет, а потом он писал своим товарищам-врачам, что работает в Пернашорском лазарете, не доезжая километров сто до Воркуты. Меня он хорошо знает по работе в этом лазарете, я медсестра Женя. Передавайте ему от меня привет. А вы кто ему: жена или сестра? — Сестра.

Так удачно я нашла твой след. Мы вместе с Женей дошли до станции Печора, там купила билет до станции Пернашор. На следующий день приехала и сошла на станции и обратилась к дежурному по станции — не знает ли он врача Трудникова, и далеко ли лазарет от станции.

— Лазарет в трех километрах, но врач Трудников недавно переведен в Хановейский лазарет, не доезжая сорока километров до Воркуты. Сергея Николаевича знаю — он много раз бывал у нас на станции, и я у него в лазарете — лечились у него. Вы кто ему? — Я сестра его. — Пойдемте, я вас познакомлю с семьей. Пассажирский поезд будет еще не скоро. Да, впрочем, я вас отправлю товарным, а пока отдохните. Рады с вами познакомиться. Идемте в дом, он рядом со станцией.

Так любезно принял меня твой добрый знакомый Иван Николаевич, дежурный по станции Пернашор. Его жена меня накормила, и я отдохнула. Часа через три пришел Иван Николаевич за мной. Он и его жена посадили меня на площадку товарного вагона и посоветовали мне по приезде на станцию Хановей обратиться к дежурному по станции, который должен знать тебя. Я поблагодарила их за привет.

Поезд на станцию Хановей пришел под вечер. Дежурным по станции оказался твой хороший знакомый Николай Павлович. Он рассказал мне, что ты по вечерам ведешь прием больных в амбулатории поселка Хановей, что рядом со станцией. Вместе со мной он послал свою жену {Нину} указать мне, без посторонних расспросов, где ты работаешь. Я нашла тебя, первая любовь моя, и останусь здесь, близ тебя, до конца твоего заключения. Я люблю тебя больше, чем тогда, и в этой любви моей к тебе все мое счастье жизни.

— Да, ты права, Таня, что нашла меня, а может быть, и я тебя нашел. [...] С того времени, как ушла жена к другому, я почти каждый день вспоминал тебя, ту первую свою любовь к тебе, такую прекрасную в наши юные годы. В твоей и моей личной жизни, что было в прошлом, потеряно навсегда. Нам обоим надо создавать жизнь заново. У нас с тобою осталась только любовь, а она все побеждает и победит. Каким прекрасным мгновением будет вся оставшаяся нам жизнь теперь и в будущем. [...]

* *

С приездом Тани появилась радостная забота о ней: надо было устроить ее здесь на работу при помощи моих друзей служащих железной дороги, бывших заключенных и моих пациентов, которые остались здесь работать по вольному найму. На положении заключенного я не имел официального права на личную связь ни с кем из женщин или мужчин, а только письменную, и то через лагерную цензуру оперуполномоченного МГБ. Если нарушение будет обнаружено, тут же будет закрыт пропуск на бесконвойное хождение, а то и последует отправка на колонну на общие работы.

При помощи моих друзей выход был найден. Николай Павлович, как я уже говорил, принял Таню в свою семью под видом племянницы его жены. А через десять дней Таню приняли дежурным сторожем переезда — закрывать и открывать шлагбаум при проходе поездов к станции. С удвоенными предосторожностями я приходил в дом Николая Павловича для встреч с Таней два раза в неделю. Приносил ей что-нибудь из продуктов питания, к тому же она и сама стала получать зарплату, готовила ужин, и часто за одним столом с семьей Николая Павловича все вместе кушали.

Никогда не забыть мне родное, человечное отношения Николая Павловича и его жены {Нины} ко мне и Тане. Они всячески содействовали сохранению тайны наших встреч.

* *

В феврале начальник санчасти послал меня обследовать одну из колонн в пятнадцати километрах от Хановейского лазарета по линии железной дороги¹⁰¹. С утра стояла ясная, тихая погода с небольшим морозом. Через три часа я пришел на колонну, провел физический осмотр, пообедал у фельдшера колонны, выпил стакан чаю. Фельдшер просил остаться ночевать, но я торопился зайти к Тане, где каждая встреча так много приносит нам счастья.

По дороге в лазарет поднялся ветер при температуре в тридцать пять градусов холода. Одет тепло: полушубок, плащ, ватные брюки, валенки, шапка ушанка, меховые рукавицы. Но я не учел, что ветер поддувал в левый бок полушубка, который неплотно прилегал к телу — груди. Не доходя полтора километра до лазарета, вдруг сильно закашлялся каким-то глубоким кашлем, из глубины груди, и пришлось остановиться на две минуты, чтоб откашляться.

По приходе в лазарет нужно было сходить в санчасть и доложить о выполненной работе, но идти не хотелось — почувствовал общее недомогание. Лег отдохнуть, чтобы потом сходить в санчасть и зайти к Тане. Но через полтора часа состояние ухудшилось. Смерил температуру — тридцать восемь и восемь десятых. Тогда я решил сегодня никуда не ходить, разделся и лег на кровать у себя в комнате при бараке больных. Кашель и боли в груди усилились.

Пришел врач терапевт Григорьев, собрат по заключению, осмотрел и сказал: «Ну, коллега, диагноз уточним завтра, к концу вторых суток, а пока предварительно — воспаление левого легкого, а вернее бронхо-плевропневмония. В основе в обоих случаях лечение одно и то же. Вот тебе белый стрептоцид, принимай». Насыпал на стол кучу стрептоцидных таблеток и ушел.

Назавтра и на следующий день состояние ухудшилось. Собрались все восемь врачей лазарета на консилиум и посоветовали

¹⁰¹ См. примечание 94.

перейти на лечение в терапевтический корпус больных. Проходят дни, первая, вторая неделя — улучшения нет. Ежедневно по утрам у моей койки собирается консилиум врачей. Выслушивают, выстукивают и молча уходят в кабинет на совещание, на котором, как я узнал по выздоровлении, предрекали мне печальный исход заболевания. Но они не знали того, что мне надо было жить вдвойне, потому что здесь, близ меня находилась Таня.

Часто в долгие бесконечные заполярные ночи просыпался и думал горькие думы: похоронят на общем кладбище заключенных под номером на фанерной дощечке, которая через полгода истлеет. Родным сообщат мои друзья по заключению, Таня придет только на кладбище — ей нельзя пройти, и ее не пустят ко мне в зону лазарета. Ведь заключенные лишены всех гражданских и человеческих прав, они объявлены вне закона. Их десятки тысяч похоронено в Печорлаге, в гробах и без гробов, одетых в белье и голых без белья, и никто не узнает о дне их смерти и месте погребения. [...]



Диагноз моей болезни был ясен, но не было в лазарете только что появившегося пенициллина. В лечебно-санитарном отделе Печорлага, в Абезе, пенициллин имелся. Когда начальник санчасти сообщил, чтоб выслали для заболевшего заключенного врача Трудникова немного пенициллина, то тамошние чиновники негодовали: как это врач мог заболеть воспалением легких, ведь он на лечебной работе, а не на общих работах! Все же один флакон пенициллина в пятьсот тысяч единиц прислали, и, как мне кажется, после применения пенициллина наступил перелом болезни, я начал медленно выздоравливать. {Лечение пенициллином делал фельдшер поляк через каждые два часа по пятьдесят тысяч}.

Через три недели болезни стал вставать с койки, ходить вдоль стены, а потом по палате и коридору больницы. Мучительно хотелось быть с Таней, с мыслями о Тане ложился и пробуждался. Чтоб отвлечься от гнета мрачных мыслей, я часто просил других, не тяжело больных в моей палате, рассказывать или что-нибудь

читать — рассказы и чтение отвлекали от мрачных дум и благотворно влияли на исход болезни. На третьей неделе болезни мне страстно захотелось поесть хороших мясных щей из говяжьего мяса и ухи из свежей рыбы, и это желание было настолько сильное, что я был уверен в том, что если поем того и другого, то выздоровею. Я знал, что начальник лазарета хорошо относится к заключенным врачам, и вот к нему я обратился со своей просьбой. Там дома в поселке его жена сварила прекрасные говяжьи щи и принесла мне большую кастрюлю в палату.

Во время болезни наш лазаретный возчик, заключенный финн, по вечерам заезжал и передавал мои записки на станции Николаю Павловичу, а он передавал Тане. Через этого же возчика финна Таня мне присылала уху и маринованные фрукты. Ее короткие записки были полны веры в мое выздоровление: Ты не можешь умереть, ты должен выздороветь и жить — потому что я люблю тебя.

И как консилиумы врачей ни старались давать безнадежные заключения-прогнозы, я все же выздоровел. Физически так ослаб, что ветром шатало, но от сознания того, что я выздоровел — сердце наполнялось радостью торжества, воскрешения к жизни. Мартовское солнце ярко и ласково согревало все вокруг живущее на земле, как будто призывало людей к созиданию жизни добра для всех и каждого. Постепенно здоровье восстановилось, и через месяц я чувствовал себя здоровым.

* *

Таня продолжала работать на своем посту дежурной переезда, и никто не знал, что здесь работает бывшая гимназистка седьмого класса, мой друг и товарищ, разделяющая тяжелую мою и свою судьбу. В короткое заполярное лето по воскресеньям и в другие погожие дни часто с Таней уходили на пустынные безлесные берега тундровой холодной реки Воркуты, где вдали от всего, что напоминало неволю — мы делались на несколько часов свободными и независимыми. Собирали морошку, голубику, а осенью

грибы. Таня варила варенье, мариновала грибы на квартире Николая Павловича.

Мое и ее прошлое осталось где-то вдали, в каком-то туманном сне. Мы мечтали о полноте жизни того времени, когда окончится мой срок заключения, и не будет необходимости скрывать наши отношения от окружающих. Так прошло три года. Приближалось время моего освобождения, жизнь за пределами режима проволочных заграждений, и нам обоим виднелась вдали заря счастливой, свободной в любви жизни. Но не суждено было сбыться нашим мечтам.

* * *

{В марте, когда тундровая зима стала особенно жестокой, Таня простудилась на работе, очищая переезд от заноса его метельным снегом}, и слегла в постель. На второй день вечером Николай Павлович пришел ко мне на амбулаторный прием в поселке и сообщил, что Таня заболела. По окончании приема больных я шел в квартиру Тани с тревогой в душе. Знал, что с ней случилось серьезное заболевание, ибо Николай Павлович по незначительному заболеванию не пошел бы извещать меня. Дверь открыла его жена и сказала: Таня сильно заболела. Разделся, подошел к Тане. — Ну, что случилось с тобой, моя радость. — Я заболела вчера вечером, когда пришла с работы. У меня начался сильный озноб, затем жар в голове и во всем теле, колотье в груди. Она рассказывала, тихо стонала и старалась мне улыбаться.

– Как хорошо, что ты пришел! Мне стало легче. Я все ждала тебя, и каждая минута казалась мне вечностью. Я знаю, что через два-три часа ты должен уйти от меня в лазарет – тебе нельзя дольше оставаться здесь со мной, но эти часы счастья быть вместе с тобой сегодня, завтра и во все дни дадут мне силы выздороветь. А как хорошо будем мы жить потом, когда уедем из этой холодной, мрачной и дикой тундры рабства и неволи. Там никто не будет преследовать нас и наши чувства любви. Там солнце ближе к людям, и теплее земля и все живущее на ней.

Да, Таня, все это будет. Наши мечты вдохновляют нас преодолевать все невзгоды. А теперь, Таня, отдохни, будь спокойна.
 Ты обязательно выздоровеешь. Давай-ка я посмотрю. Осмотрел и определил воспаление легких, но от Тани скрыл, а ей сказал – грипп, пройдет.

Время было мне идти в лазарет. Простился, рассказал, как принимать лекарства, ей и жене Николая Павловича и пошел к себе в лазарет. На душе было тяжело и грустно. Я знал, что не всегда это заболевание оканчивается выздоровлением.

Рано утром Николай Павлович по договоренности со мной пришел на вахту лазарета и попросил начальника лазарета и дежурного вахтера, чтоб они разрешили врачам лазарета придти к нему на квартиру для консилиума к больной «племяннице». В полдень пришли врачи, и вместе с ними пришел и я. Врачи терапевты подтвердили мой диагноз и назначили лечение. Тане нужен был пенициллин, а он имелся только в Абезьской аптекебазе. Там работала знакомая фармацевтка. Я срочно послал к ней с запиской, за любую цену отпустить миллион единиц пенициллина. На второй день мой посол вернулся с пенициллином, а вольнонаемная медсестра начала делать Тане уколы пенициллина в назначенное время. В течение двух недель Таня излечилась, а через неделю пошла на работу.

Зима подходила к концу, и приближалась длительная, туманно-холодная весна. Таня стала жаловаться мне на общую слабость, плохой аппетит и небольшую по вечерам температуру, сухой кашель. Местный амбулаторный врач определил туберкулез легких, что позже подтвердил и наш лазаретный врач. Я и другие врачи скрывали от Тани ее заболевание, безнадежное в условиях Заполярья. Врачи предлагали Тане выехать в южные степные районы России, поехать в кумысную санаторию, но Таня с этим не соглашалась. Ей не хотелось уезжать от меня, да не было и средств для поездки на курорт.

Я и другие врачи прямо о ее болезни ей не говорили, но советовали, что климат надо переменить, а она с тревогой спрашивала: А не другая какая у меня болезнь, что-то все больше и больше слабею, и труднее мне ходить на работу. Я имел возможность

приносить Тане сливочное масло, молоко, рис, крупы, мясо, рыбу, но не было овощей и фруктов.

В редкие погожие выходные дни уходили с Таней на несколько часов в тундру к реке Воркуте погулять и рассеяться. Там Таня забывала о своей болезни, и в сотый раз говорили о близком моем освобождении, а, следовательно, и об отъезде в теплые края России. — Ты, говорила Таня, — будешь работать в сельской больнице, где есть сосновый лес, река, а я создавать тебе домашний уют, нянчить и воспитывать детей. Ведь у нас обязательно будут дети, сын и дочь! Часто будем ходить в бор, дышать здоровьем природы, а главное, мы будем свободны в любви, и только тогда во всей полноте и глубине начнется наша новая, такая счастливая жизнь, что от дум о ней порой у меня кружится голова.

И долго еще Таня продолжала видеть в мечтах прекрасную нашу жизнь в будущем. Эти мечты вслух, чистые и искренние, одухотворяли ее всю. Блеск глаз становился заметнее, сильнее румянились ее щеки и губы, походка и движения радостнее, и как-то вся она преображалась в человека прекрасного будущего. Я так же хотел восторгаться нашей будущей жизнью, но во мне не было этого энтузиазма. Я знал, что Таня навсегда останется здесь. Кто заболевал туберкулезом легких, быстро погибал в условиях заполярного климата. Тысячи заключенных погибли здесь в Печорлаге в лазаретах и ссылках от туберкулеза легких. Тяжелой болью отзывались ее мечты — будущее ее и моей жизни. Я поддерживал ее мечты, ее вдохновение будущей нашей жизнью, но она не знала, что дни ее жизни были сочтены, что ее мечты являются расцветшими цветами поздней осени.

Незаметно прошло короткое заполярное лето, и наступила мрачная, сырая и холодная осень без живительных лучей солнца. С каждым днем Таня слабела, таяла. Никакое лечение и питание в здешнем суровом климате не могли остановить разрушающую силу болезни. Из дома Таня выходить уже не могла. Слегла в постель и лежа в постели продолжала мечтать о жизни в России: она хотела этой жизни, а потому и верила. Ни эта непоколебимая ее жажда жизни, ни наша врачебная помощь, ни наша любовь — ничто не могло остановить болезнь, вернуть ей здоровье. Теперь я дольше находился у постели Тани. Она все более и более чувст-

вовала и сознавала роковой исход болезни и в один из вечеров попросила сесть на край ее кровати.

— Дай мне твою руку и смотри мне в глаза. Я знаю, что не вся песня нашей жизни спета вместе. Моя окончится — твоя останется. Мне тяжело и больно это сознавать, но я счастлива тем, что ты со мной на закате дней моей жизни. Я счастлива счастьем моей любви к тебе, а твоей ко мне — нашей единой и неделимой любовью. Я счастлива тем, что узнала с тобою безмерную красоту, величие и глубину любви душою и телом. Я рада и счастлива тем, что и ты познал во мне величие любви моей неугасимой.

Тобою началась моя любовь и тобою окончится. И эту любовь к тебе я унесу туда, где нет ни зла, ни добра, где существует великая тайна жизни — НИЧТО! Когда тяжело тебе будет в жизни — чаще вспоминай вечную любовь своей Тани, и эти воспоминания радостно-светлой грустью наполнят твою душу и сердце, моею любовью к тебе сильнее смерти...

Я молча встал около ее кровати на колени, она взяла мою голову своими руками, долго смотрела мне в лицо, медленно приблизила мои губы к пылающим жаром своим губам, и оба мы погрузились в единую великую тайну любви. Потом так же тихо отвела мое лицо, сказала: — А теперь иди в зону лазарета, там тебе надо быть, чтоб сохранить нашу тайну встреч.

* *

Ночь прошла без сна с думами о Тане, о ее и своем несчастье, и не с кем было поделиться трагедией ее болезни, чтоб сохранить тайну наших отношений от недремлющего ока опера и охраны. Вечером следующего дня при входе в квартиру Николая Павловича его жена сообщила, что Таня мало ночью спала, часто засыпала, бредила и просыпалась. – Я всю ночь была с нею, и только днем она спокойно заснула.

Тихо подошел к постели Тани, сел у ее кровати, осторожно взял ее руку, проверил пульс – он слабо прощупывался, прерывался; редкое дыхание с секундными остановками. Тут же сделал

ей два укола. Минут через десять Таня открыла глаза, удивленно и радостно посмотрела мне в лицо, а потом протянула ко мне руки, положила их на мои плечи и нежно сказала: — Сядь ко мне поближе, ну, вот так, хорошо. Как я рада, что ты пришел, что ты со мной, милый! Всю ночь и день мои мысли были с тобою.

- Я видела чудесный сон - мы живем с тобой в нашем доме с моими папой и мамой. У папы на коленях сидит наш маленький сын, а у мамы на коленях наша тоже маленькая дочь, и, когда мы к ним подошли, они радостно нам улыбались и протягивали к нам руки. Я взяла их себе на руки, а ты стоял возле меня, тоже улыбался, сияющий любовью ко мне, детям и моим папе и маме. Ах, как хочется, чтоб этот сон был наяву, в действительности! Почему жизнь людей так устроена, что в ней больше зла, чем добра, больше горя, чем счастья. Ну, кто же в этом виноват? Кто? Я слабею с каждым днем, часом, силы покидают меня, чувствую, что дни моей жизни сочтены, да и ты, мой милый, это лучше меня знаешь, и не мучь меня святой ложью, что я еще могу выздороветь, вернуться к жизни. Страшно, мучительно умирать, не испивши до дна полную чашу любви дорогой во всей полноте и красоте ее, не насладившись ее плодами – чудесным созданием детей, в условиях свободы! А так она близка!

Ну, что же! Знай, мой любимый, что свою любовь я оставлю тебе, а твою ко мне — я унесу с собою. Пусть любовь моя всегда будет с тобою, и даже если другая будет близ тебя, в сердце твоем будет жить моя любовь. Я чувствую последние часы жизни, мне тяжело, но я знаю, что всё и все смертные, только одна любовь остается жить, она бессмертна!

Я не прерывал ее. Целовал ее глаза, руки, и сердцем говорил ей: — Твоя любовь, Таня, не умрет, она навсегда останется со мною, в моей душе и сердце. В мечтах и грезах ты будешь жить со мною! Благословляю дни и часы наших встреч, твой приезд ко мне — любовь твою девичью и зрелых лет. Эта любовь твоя во имя меня — погубила тебя здесь, в суровом и диком краю. Когда придет и мой смертный час, то я так же унесу с собой любовь твою безмерную! И сколько буду жить — тоску любви моей по тебе не отдам никому, эту радость светлой грусти моей — моя и твоя любовь выше смерти!

Глаза Тани закрылись, на лице появилась счастливая улыбка: — Как мне сейчас хорошо! Как будто погружаюсь в сказочный сон жизни — а может быть, и жизнь, милый, сон?! Вдруг она открыла глаза и шепотом сказала: — Дай мне свою руку, — и она положила ее на грудь, к сердцу. Дыхание ее становилось все реже и реже, и с улыбкой любви Таня заснула навечно. Так закончилась в жизни моей третья трагедия.

Николай Павлович и его жена начали готовить Таню — свою «племянницу» к похоронам, а я пошел в лазарет, сдал пропуск на вахте, дошел до своей кровати и, не раздеваясь, уткнулся головою в подушку, скрывая от окружающих слезы и рыдания. На второй день Николай Павлович с женой по моему наказу обили гроб белой материей, положили Таню в белом платье, с венком из белых искусственных цветов вокруг ее лица. Так она завещала мне, быть похороненной во всем белом.

Два десятка знакомых и соседей Николая Павловича и его жены входили и выходили от умершей их «племянницы». Я выждал, когда в доме не было посторонних, подошел к гробу Тани. Я забыл обо всем окружающем, полились неудержимые слезы моей печали безысходной, и вместе со мной оплакивали Таню Николай Павлович и его жена. Я встал на колени перед Таней в гробу и целовал ее руки, лицо, глаза и голову. [...]

На третий день, когда я вошел в квартиру Тани, то увидел, что все уже было приготовлено к выносу Тани. У двора стояла подвода. Гроб с Таней положили на телегу, и мы с Николаем Павловичем, его женой и десятком-двумя их знакомых пошли за гробом проводить Таню на кладбище в последний путь вечного успокоения. Дул сильный ветер, шел дождь со снегом. Мрачно было серо-свинцовое небо, и еще мрачнее своею грязью и злом была земля...

Так закончила свою светлую героическую жизнь в мрачной тундре, под земляным холмом «племянница» жены Николая Павловича. Так погибла Таня в черные годы царствования царя Иосифа Кровавого. Если в трудное время жена ушла от меня, то Таня пришла ко мне в концлагерь, где мало радости и много горя неизбывного. Но не было границ нашей радости — любви друг

к другу в короткие часы наших встреч, и ей, Тане, по праву принадлежит моя любовь.

После смерти Тани еще один год продолжалась моя неволя, и я почти каждое воскресенье ходил к ней на могилу. Летом приносил белые цветы, а зимой могилу ее покрывал белый снег. Да будет свято имя ее! Да будет свято в веках ее имя и все тех других, кто в любви сильнее смерти!

[...]

ОСОБОРЕЖИМНАЯ ПЯТНАДЦАТАЯ

В послевоенные годы в Печорский концлагерь начали поступать воины, возвратившиеся из плена и не пленные. [...] На одной из колонн во время медицинского осмотра я обратил внимание на заключенного с редкой фамилией Марсов, знакомой по рассказам о Старобуянской республике девятьсот пятого года. Активный участник республики, революционер Марсов впоследствии сидел в Самарской тюрьме.

В число отобранных в лазарет больных я включил и Марсова, там положил его в свое отделение барака. В свободное от работы время, по вечерам приглашал Марсова в свой кабинет. С начала знакомства объяснил ему, что я из Старого Буяна, помню сам и по рассказам других о пятом годе, о Старобуянской республике и слышал, да и припоминаю — мне тогда было семь лет — ваше боевое участие в революции.

- Да, хоть мы и в печальных условиях, но приятно встретиться с молодым, но старым знакомым, да к тому же и врачом, и вы мне поможете лучше сохранить здоровье и жизнь на работе в лазарете. Заранее примите, доктор, благодарность мою и семьи моей во имя нашей Старобуянской республики.
- Безусловно, я вам хорошо помогу, а пока вы расскажите о себе, свою историю жизни.
- Я провел всю гражданскую войну на фронте, командовал бригадой, был дважды ранен. Затем по окончании гражданских фронтов хозяйственная академия. Перед арестом работал секретарем губкома. Как старый большевик, я в разное время занимал ответственные административные, военные, партийные и хозяйственные посты. Но вот в тридцать седьмом году начались многолетние Варфоломеевские ночи всеобщее избиение и истребление старой гвардии большевиков расстрелами, тюрьмами и ссылками.

Я был истинным слугой народа: имел всеобщее уважение, хорошую квартиру, личную машину, дети учились в высших учеб-

ных заведениях, дома — полная чаша, посты большие, ответственные. А в тридцать седьмом ночью пришли, арест, тюрьма, суд и двадцать лет. Жену осудили особым совещанием на восемь лет концлагерей как члена семьи врага народа, детей из вузов исключили. [...]

Я молча слушал наболевшую исповедь Марсова. Вдруг он посмотрел мне пристально в глаза и шепотом сказал: «Знаете ли вы, что страной правит единолично больной человек — маньякшизофреник! И никто на него не может надеть смирительную рубашку и отправить в сумасшедший дом. Ведь он и цека, как курятам поодиночке, всем головы оттяпал, а они ничего — хлопают в ладоши и исступленно взывают: — Отец ты наш родной! [...]

Мне нечего стесняться вас в своей исповеди, ибо я все потерял: жизнь, труд, семью и все то, во что всю жизнь верил и за что боролся. И я знаю, что вы доносить на меня оперу не пойдете, потому что вы человек свободы. Ведь до какого абсурда дошел так называемый марксид Иосиф: что чем ближе будем подходить к коммунизму — тем больше будет врагов, тем больше надо истреблять своих верноподданных. Ну, скажите, разве это не больной человек?!»

Я промолчал, а Марсов продолжал рассказывать. [...] «Мне казалось, что шизофреник Нерон российский и его соратники когда-то были другими – борцами за подлинную демократию, а потом, опьяненные властью, превратились во врагов народа и своей марксидской партии. Если поставить ангела к власти, и у него вырастут рога – он превратится в чорта, а особенно при тотальной диктатуре. Ведь власть развращает человека, пробуждая в нем звериные инстинкты».

Многие вечера, а иногда и ночи проходили вместе с Марсовым, и чем больше он повествовал о трагедии своей жизни, и чем больше делал обобщений всего, что слышал, видел и наблюдал от девятьсот пятого до тридцать седьмого года — тем яснее и полнее становилась ненадобность власти. [...]

«Все теплые и хлебные места и местечки в чиновногосударственном аппарате принадлежат партийной надстройке над обществом, аристократии правоверных марксидов. Но правоверные периодически ведут борьбу за власть между собою, за

господство над обществом. В результате этой борьбы и истребления друг друга, я и явился жертвой царя Иосифа. Вот уж десятый год тянется цепь моей неволи, а впереди еще десять лет, и здесь, в концлагере, цепь моей жизни оборвется».

Так закончил Марсов свое печальное повествование перед отправкой из лазарета на колонну общих земляных работ.

* *

[...] Одна треть заключенных была уголовниками-рецидивистами, которым заключение является родным домом, ибо большая часть их недолговечной жизни (старше сорока лет не встречал) проходит в тюрьмах и концлагерях. Я не раз обращался к этим «законникам» с предложением работать у меня старшими санитарами, где нет никаких прямых административных функций, но они мне говорили: «Что вы, доктор, смеетесь что ли над нами!». Рецидивисты паразитировали за счет других — работяг, ибо по их убеждению всякая работа, да еще в заключении унижает досто-инство вора, особенно вора «законника».

Встречались и сектанты, которым я предлагал работу в амбулатории и лазарете санитарами по уходу за больными, на что они мне отвечали: «Не хотим работать на дьявола!». А когда я указывал на то, что я и сам заключенный, а работаю, то они мне отвечали: «Ты, доктор, продался им и тоже служишь сатане!». Их за отказ от работы в концлагере бесконечно судят по статье экономической контрреволюции, добавляя каждый раз до десяти лет. Так они и пребывают в концлагере с неизменным сроком в десять лет. Воистину это про них сказано: «Простите им темноту их, ибо они не ведают, что творят». Эти религиозные сектанты не работали, но никого и не обижали.

Воры и бандиты жили за счет других работающих заключенных. Если некоторые из них и выходили на работу вместе с колонной, то ничего не делали. Более законистые на работу не выходили, а занимались другими своими делами.

Шесть часов утра. Идет развод – колонна уходит на работу до шести часов вечера. Группа «законников» человек в двадцатьтридцать осталась в зоне. «Рабочий» их день примерно начинает-

ся так. Часов в девять-десять утра они просыпаются. Главари сидят в бараке, а молодые по стажу идут на кухню и требуют от повара, тоже заключенного, завтрак на отмочку на всю свою бандобратию побольше и повкуснее, а если там нет требуемого, то они идут в каптерку — к кладовщику и принуждают отпустить им лучшее из продуктов, что имеется на складе. Отказать им — это значит подвергнуть себя нападению, и хорошо, если оно окончится только одним избиением.

Завтрак принесен. Начинают не торопясь есть. После завтрака умываются, чистят сапоги и точат на камнях ножи-железки, а то и оттачивают настоящие финки. Время подходит к обеду. Обедают по тройной лагерной норме. Пообедали — ложатся спать. После сна ужинают и начинают играть в самодельные карты на вещи, под обеды и на будущие ночные «авансы». Когда колонну приводят с работы, и работяги, изнуренные тяжелым трудом и самим заключением, ложатся спать, часть рецидивистов идет по баракам на промысел.

Двенадцать часов ночи — все работяги спят крепким, усталым беспробудным сном. Некоторые из них получили от родных с воли посылки с продуктами, вещами, о которых «законники» узнали еще днем или на вахте, или из разговоров других лагерников. Начинается сбор дани. Группа воров-бандитов подходит к намеченной жертве, настойчиво и нагло будят, берут посылку, разбирают ее и что получше забирают себе. Протестовать нельзя: могут избить, порезать. Это знают все заключенные. Если же посылка оставлена на вахтенном сундуке-ларе, то приказывают часть продуктов принести им утром до развода или после прихода с работы в зону колонны. Когда какая-то часть им принесена, вновь заставляют принести на следующий день.

Посылка вся: часть роздана ворам, часть лагерным придуркам: нарядчику, помпотруду, повару, парикмахеру, банщику, квч, прорабу, кладовщику, немного съел сам получивший посылку, и на второй день от посылки остался один фанерный ящик. Но воры требуют еще и еще: не верят, что посылка уже «без рожек и без ножек». Начинают избивать получившего, а дать им больше нечего.

Награбленное сносится к главарям, там они производят дележ по стажу воровской бандитской карьеры, начинают проигрывать в карты собранное-награбленное и на рассвете ложатся спать. В ре-

зультате получивший посылку раз или два пишет родным на волю, чтоб больше посылок не присылали, что-де мол не нуждаюсь, а написать туда на волю, что посылки приносят только несчастье — нельзя, не пропустит письмо лагерная цензура.

Иногда воры-бандиты проигрывают в карты неугодных им. Так на своей колонне я взял на работу санитаром в амбулаторию бывшего нарядчика по выводу заключенных на работу, а «законники» были на него в обиде за вывод их когда-то на работу за зону. И вот они решили с ним рассчитаться.

Вечерний прием общих больных, как и всегда, производил заключенный фельдшер Василий Данилович¹⁰², а я основную «резиденцию» имел в лазарете, что в трех километрах от колонны. И вот в один из вечерних приемов больных «друзья народа» решили убить бывшего нарядчика. Исполнение этого дела по приговору главаря и по картам пало на двух рецидивистов-юношей.

Идет амбулаторный прием больных. Василий Данилович делает осмотр, проверяет температуру, а с другого конца стола сидит на табурете проигранный в карты санитар. Входят на прием двое исполнителей убийства. В широких и длинных бушлатных рукавах у них скрыты ножи. Чтоб отвлечь внимание, сиплым голосом жалуются на боли в горле. Василий Данилович стоя осматривает, а санитар спокойно сидит на табурете.

Вдруг один из них, и тут же второй бросаются к санитару и начинают наносить ему удары ножами в грудь, живот, спину. Санитар падает на пол, обливаясь кровью, а они продолжают наносить ему ножевые ранения. Василий Данилович от страха ни жив, ни мертв, окаменело ожидает той же участи, но убийцы объявили ему милость: — Тебя мы не тронем, только не сообщай на вахту.

Проходит час-другой. Убежать на вахту нет возможности: убийцы сторожат его за дверью. Кто-то из заключенных сообщил об убийстве санитара на вахту. Пришел наряд охраны, связал убийц, за вахтой положили их на сани, а на них сверху убитого. Убитого привезли в морг лазарета, а убийц в местную тюрьму лагеря. Василий Данилович 103 от перенесенной психической травмы не мог оставаться в зоне колонны — ушел на вахту, позвонил начальнику санчасти, что работать на этой колонне не может. То-

¹⁰² В оригинале «Денисович».

¹⁰³ В оригинале «Денисович».

гда начальник санчасти сообщил охране колонны, чтоб фельдшера направили в лазарет.

На второй день после убийства санитара рецидивисты отобрали на кухне колонны ножи, разграбили каптерку – продуктовый и вещевой склад в зоне колонны. Местная охрана бездействовала. На работу во время развода выходил кто хотел, преимущественно бытовики и пятьдесят восьмая. Медицинской помощи заболевшим не оказывалось: «друзья народа» заявили, что всех медицинских работников на колонне будут резать за то, что их главарей не отправляют в лазарет на лечение-отдых.

На третий день начальник санчасти Петр Иосифович зашел ко мне в кабинет вольнонаемной поликлиники и сказал: — Сергей Николаевич, это ваша подшефная колонна. Там сейчас никакой медицинской помощи заболевшим нет. Сходите туда. Там дватри главаря «друзей народа» требуют, чтоб их направили в лазарет. Обещайте им это, и отберите и направьте действительно больных. Постарайтесь уладить и договориться с ними о мире с медработниками.

- Да, это хорошее дело, Петр Иосифович, но ведь они заявили, что всех медицинских работников, кто появится на их колонне, будут резать.
- Ну хорошо, сходите и там, на месте решите сами. Если безопасно, то зайдете к ним в зону на переговоры.

На следующий день утром я направился на дипломатические переговоры с теми, кто захватил власть внутри зоны в свои руки. Я знал, что рецидивисты почитают прямые переговоры на паритетных началах, и что нельзя к ним появляться с представителями охраны. Дорогой решаю, заходить или не заходить в логово решиливистов.

Подошел к колонне, зашел на вахту. Там стоит и курит старший надзиратель Деревянко. Поздоровался. Он молчит — молчу и я. Закурил. Говорю ему о цели моего прихода, а сам думаю, не будет ли мой заход в зону моей последней лебединой песней. Стою, курю, решаю про себя, идти — не идти. Затем, обращаясь к надзирателю Деревянко, говорю: — Ну, я пошел. Загремела щеколда вахтенной двери, и тут дверь за мной закрылась, и я очутился в зоне колонны. Спрашиваю лагерников: где, в котором ба-

раке находятся главари рецидивистов «Никола Дурак» и «Помидор». Мне указали: вон в этом.

Захожу. На нарах в длинном бараке полулежат Никола Дурак и Помидор, а вокруг них стоят человек десять их соратников по профессии. Подхожу и говорю: — Здравствуйте, ребята! Снимаю рукавички, шапку, полушубок, кладу на нары, сажусь рядом с ними: — Скажите, чтоб все от нас отошли, есть разговоры с вами.

Никола Дурак делает рукой знак, и все от нас отходят в другой конец барака. Начинаю вести дипломатические переговоры. Никола Дурак и Помидор явно удовлетворены оказанной им честью. Приступаю прямо к делу.

– Меня уполномочил начальник санчасти Петр Иосифович, чтоб вы изменили отрицательное отношение к нам, медикам, на положительное, а мы со своей стороны будет делать кой-что и для вас. Вот у тебя, Никола Дурак, самодельная флегмона ноги, а членовредителей на лечение в лазарет нам запрещено направлять кумом (лагерное МГБ), о чем и вам известно. Но я вас отправлю в лазарет и еще двух-трех ваших ребят, только вы дайте своим команду, чтоб медработников на колонне не обижали, а ограждали от каких-либо оскорблений.

Продолжив речь в том же мирном духе, я заключил: — Итак, будем взаимно соблюдать наш мирный договор. Сейчас я составлю список больных для отправки в лазарет и включу туда и вас и передам на утверждение начальнику санчасти. Он позвонит на вахту, и вас конвой доставит в лазарет.

Эти условия Никола Дурак и Помидор приняли и в знак дружбы угостили меня хорошим хлебным квасом и кашей, приготовленными для них на лагерной кухне. От каши я отказался, а квасу выпил две кружки.

Во время переговоров с главарями рецидивистов в барак пришел бледный и встревоженный мой старший санитар Николаев узнать, не будет ли мне нанесена обида или совершено на меня нападение, но я сказал ему, чтоб он вышел из барака и ждал меня в амбулатории, где буду вскоре проводить прием больных. Такое доверие к рецидивистам внушило им ко мне уважение. – Доктор, присылайте к нам на колонну фельдшера. Никто его не обидит.

Так мы заключили словесный договор о дружбе и ненападении. Через три часа я пришел к начальнику санчасти, Петру Иосифовичу, доложил ему о благоприятном результате переговоров

и с трудом уговорил его направить в лазарет в числе больных трех вожаков рецидивистов.

 Что, мы должны на поводу идти у них! Нет, из списков больных их надо вычеркнуть.

Я продолжал доказывать, что без этой уступки с нашей стороны медпомощь на колонне организовать не удастся. Наконец с моим мнением он согласился, позвонил на вахту колонны, чтоб всех отобранных мною на лечение отправили в лазарет. Тут же из лазарета направили на колонну фельдшера. Так ликвидировался «бунт» на лечебной колонне, и началась обычная жизнь и работа.

* *

На одной из колонн пятого отделения, дислоцированной в пятнадцати километрах от штаба отделения поселка Хановей и в сорока километрах от центра каторжных колонн Воркуты, собрали с большими сроками заключения на особую режимную колонну более пятисот заключенных, наполовину госпреступников, «врагов народа», и наполовину воров и бандитов, «друзей народа». Тяжелые условия режима, длительные сроки заключения, неверие в то, что удастся выдержать и сохранить жизнь до конца срока [...] — привели всю колонну к стихийному восстанию, возглавленному бывшим подполковником Минклевичем 104 и уголовником Сушковым 105.

¹⁰⁴ В оригинале здесь и далее фамилия подполковника Минцкевич (в нескольких случаях Минцклевич). Минклевичем он назван в ОП и ТР. В ОП он «бывший полковник». О восстании под руководством бывшего подполковника Минклевича кратко рассказывается в статье: Коренев 2007; см. также спецдонесение прокурора Бубнова о восстании под руководством Дмитрия Михайловича Минкиевича (Минклевича) и Якова Ивановича Сушкова в кн.: История 2004. С. 200–202 (№ 54). Дата начала восстания 5 июня 1948 г. (ТР: «в июне сорок седьмого года»). Фамилия Минклевич – редчайшая, показательна неуверенность в ее написании как у С.Н., так и в спецдонесении Бубнова.

¹⁰⁵ В оригинале Сушко с припиской окончания «вым». Далее по тексту Сушко. В ОП он назван Сушковым: «бывший рабочий, а потом председа-

Минклевича я знал почти с первых дней его прибытия в лагерь. Больше трех месяцев он находился в лазарете, вначале как дистрофик, а потом коллектив врачей подготовил его к работе старшим санитаром. Культурный, образованный, лет тридцати пяти, коренной москвич, подвижный, стройный, энергичный, экспансивный — он тяжело переживал заключение. Его жена Орлова — московская актриса, отец — директор какого-то предприятия или завода 106. «Минклевичу сунули срок заключения пятнадцать лет по пятьдесят восьмой за то, что он попал в окружение и потом удачно бежал, чиновники же госбезопасности обвинили кадрового командира в измене родины, а побег из вражеского окружения как выполнение шпионского задания».

Из дома часто получал ценные посылки: шоколад и прочее. Отец и жена писали ему хорошие письма. Общение с заключенным и вольнонаемным коллективом медицинских работников скрашивало трудности концлагеря. Как сейчас вижу его жизнерадостность, энергичность в работе и в отношениях с окружающими врачами, фельдшерами и больными. Как говорится, он был душой нашего лазаретного бомонда, и вот это-то его и погубило: кум (МГБ, высшая власть в лагере и на воле) через своих шпионов-осведомителей узнал, что Минклевич имеет в лазарете большой авторитет, а этого кум не любит.

И вот в лазарет поступает от кума распоряжение отправить Минклевича на общие земляные работы на особо режимную колонну. Когда Минклевич узнал о распоряжении кума — страшно затосковал, помрачнел и сделался нелюдим. Многим из нас в лазарете говорил: — Ну, за что и здесь продолжают меня тиранить: работаю я хорошо — так вот хотят добить меня общими земляными работами на особой режимной! Он был еще молодой лагерник по стажу заключения и по годам и не мог еще понять всей лагер-

тель одного из Донбасских колхозов, осужден по пятьдесят восьмой за экономическое вредительство-контрреволюцию на двенадцать лет». В ТР «Сушко, бывший председатель колхоза с Украины». ОП: Согласно ОП, и Минклевич, и Сушко были убежденными большевиками, членами партии.

¹⁰⁶ ОП: «У Минклевича дома в Москве осталась семья: жена артистка Московского балета, двое детей школьного возраста и отец – директор какогото завода, старый революционер».

ной премудрости царя Иосифа, его девиза: Истреблять всех заключенных «не мытьем, так катаньем». Явились конвойные и этапом доставили Минклевича на особорежимную пятнадцатую колонну. А если б Минклевич оставался на работе в лазарете, то и могло бы не быть стихийного восстания заключенных.

<На особорежимной практически никаких категорий труда по физическому состоянию не признавали, всех выводили за зону на общие земляные работы, и часто тяжело заболевших. [...] В этих условиях никто до конца срока не доживал, а досрочно освобождались в деревянный бушлат>.

Через три месяца пришлось мне встретиться с Минклевичем на особорежимной во время комиссовки заключенных. Комиссовалась вся колонна. Явился и Минклевич. Похудевший, обросший, щеки ввалились, только в глазах был какой-то особый блеск. Одет в грязный затрепанный бушлат и рваные ботинки. Я поздоровался, и он попросил отправить его в лазарет на лечение. — Дохожу, доктора, отправьте! — Нет, мы тебя пока еще не можем направить в лазарет, ведь распоряжение кума вы знаете: держать вас на колонне. — Так это месть мне как офицеру, — с горечью воскликнул Минклевич. Я и другие члены комиссии промолчали. Убитый нашим ответом, он вышел в барак. Тяжело было и нам, членам комиссии. Все мы сочувствовали ему, нам его было жаль, но облегчить его участь не могли: сильнее сталинского кума никого в стране советской нет.

В то время, [когда Минклевича отправили на колонну], бригадиром был Сушков – старый лагерный волк, могучей физической силы, средних лет. С тяжелой поступью, ходил не спеша, малообщительный. Одно время он в лазарете был дневальным у врачей, а на колоннах всегда устраивался на блатных работах — знал насквозь лагерную жизнь. <В доме Сушкова остались трое детей школьного возраста, старики отец и мать, а жена со дня ареста мужа ходила по селу в невменяемом состоянии и приговаривала: «люди добрые, скажите, где мой муж и за что его арестовали»>.

И вот в июне сорок седьмого года стало известно, что на особой пятнадцатой колонне восстание заключенных, и что восстанием руководят Минклевич и Сушков. Особая пятнадцатая находилась близ железнодорожной ветки Хановей-Воркута и в десяти

километрах от начинающихся Воркутинских каторжных колонн, где от четырех до восьми тысяч каторжан на каждой колонне.

Очевидцы потом рассказывали: утром в субботу бригада Сушкова в шестьдесят человек вышла на земляную работу на железной дороге с тремя конвоирами, вооруженными автоматами. Некоторое время бригада работала на одном объекте, а потом бригадир Сушков сказал старшему по конвою: — В трех километрах осталась неоконченная работа. Я возьму человек двадцать и докончу там работу, а эти пусть работают здесь.

Один из конвоиров пошел с частью бригады. Когда пришли к месту работы, Сушков подошел к конвоиру прикурить, как и делал иногда ранее. Как только конвоир полез в карман за спичками, Сушков на него набросился и обезоружил его. С подоспевшими товарищами-лагерниками раздели конвоира, связали и отнесли его в кювет. Одежду конвоира Сушков надел на себя, накрылся капюшоном плаща и скомандовал бригадникам идти к месту основной работы. Тем временем Минклевич изловчился обезоружить двух своих конвоиров. Также надел форму, вооружившись автоматом, повел бригадников навстречу Сушкову. Перед колонной они соединились.

В это время шла из Хановея вагонетка с продуктами. Они ее остановили, продукты забрали. А вскоре встретили грузовую машину, возившую балласт из карьера на железнодорожное полотно. Машину «оккупировали». К шоферу посадили своего сотоварища и приказали ему сходу подъехать к казарме за зоной, чтоб взять казарму с бою.

Дежурная охрана на четырех вышках зоны увидела подъезжающую бригаду на машине с вооруженными и переодетыми Минклевичем, Сушковым и еще третьим и приняла их за своих, конвоиров. Подъехав к казарме, восставшие бросились к двери казармы, требуя открыть ее. Дневальный по казарме, увидев в смотровое окно чужих — заключенных, отказался открыть дверь. Тут же ее восставшие сломали, дневального связали. Забрали тридцать шесть винтовок, десяток револьверов, десятка два гранат, обмундирование. Часть из них пошли снимать с вышек часовых, а другие — на вахту колонны. Охрану сняли, телефон обрезали и вошли в зону.

По субботам обычно охрана мылась в бане колонны, и на этот раз большинство охраны мылось в бане 107. Как только им сообщили, что на колонне бунт, многие бежали полураздетыми в тундру на другие колонны. Убежали начальник колонны, командир взвода и другие. Минклевич и Сушков вооружились автоматами и двумя револьверами, раздали винтовки, револьверы и гранаты, собрали всех на митинг и начали держать речи о том, что пришла пора покончить со сталинским режимом — с тиранией и произволом, со сталинской шайкой и им самим, что в соседних Воркутинских каторжных лагерях тоже началось восстание (хотя восстания там не было)... «Вся Воркута с нами» и прочее и тому подобное. В конечном итоге предложили: кто хочет быть с нами восставшими, идите направо, а кто хочет оставаться, идите налево. Пойдем громить охрану каторжных колонн.

Колонна разделилась примерно поровну. Разобрали каптерку с продуктами и обмундированием. Человек пятьдесят оказались вооружены кто винтовками, кто пистолетами, кто гранатами, кто ножами с кухни, а человек двести пошли без всякого оружия, с палками. Минклевич и Сушков повели восставших к ближайшей Воркутинской каторжной двенадцатой колонне обезоруживать охрану, рассчитывая, что все тысячи каторжан как один к ним присоединятся. Дошли до ... ¹⁰⁸ в трех километрах от колонны и там остановились, залегли.

Как только стало известно о восстании на колонне, лагерные власти обратились за помощью к воркутинским властям, у которых была дислоцирована дивизия с пушками, минометами и пулеметами. Со всего Печорского лагеря, а главным образом Воркутинского начали прибывать эшелонами вооруженные части и овчарки. Началась мобилизация вольнонаемного состава служащих пятого отделения. День и ночь над колонной восставших летал самолет, кружил и высматривал. Улетит, сообщит место нахождения восставших и снова кружит над ними.

На второй день зону восстания на далеком расстоянии тремя кольцами окружили войска МГБ вперемешку с местной охраной

 $^{^{107}}$ 5 июня 1948 г. была суббота.

¹⁰⁸ Карьера? В тексте «кар.ева».

и мобилизованными служащими, и с каждым часом кольца окружения суживались все больше и больше, а самолет круглосуточно летал над восставшими, следил за их продвижением. Вот он заметил в тундре группу восставших без оружия, идущих взорвать Воркутинский железнодорожный мост. Тут же их перехватили. Если зимой и осенью почти суточная ночь царит над тундрой, то летом и весной суточный день. Леса нет — голая тундра с карликовой березкой и балками — отрогами западного склона Уральских гор, а до тайги сотня километров. Никуда уйти, скрыться восставшие не могут, кольцо окружения суживается все более.

Но все же один из заключенных в начале восстания успел уйти. Это был семидесятилетний бывший профессор из Ленинграда, имевший срок заключения сто лет. Получалось так: отсидит годдругой в концлагере и на разводе начинает поносить царя Иосифа и его опричников. Его сажают в лагерную тюрьму и снова дают двадцать пять лет, и так четыре раза: вначале двадцать пять, а потом в лагере добавляют по двадцати пяти.

Ему говорили сердобольные лагерники: «Профессор, да бросьте вы с этим делом путаться себе на горе». – Ребята, ведь мне нечего терять, все равно моя смерть будет здесь в концлагере. Ведь безумцем надо быть, чтобы думать, что через двадцать пять лет, к ста годам, когда окончится мой срок, я выйду из лагеря. Таких чудес, ребята, не бывает. Вот я их опричников и поддразниваю, а убьют — избавлюсь от бесконечных мучений.

Когда началось восстание, профессор духом воспрянул, взыграл и, обращаясь к Минклевичу и Сушкову, сказал: — Дети мои, я стар, участвовать в военных боевых походах не могу, а потому я буду в одиночку пробираться в Ленинград, хочется перед смертью повидать внучат, а вам, любезные сыны мои, желаю создавать и увидеть жизнь свободного народа. Прощайте, — и тут же с палочкой побрел в тундру.

Через пять дней на восемьдесят километров ушел он от восставшей колонны. Мечтал где-то на полустанке сесть на товарный поезд, идущий в Россию. Зашел в карьер, обратился с просьбой дать ему хлеба к одному вольнонаемному экскаваторщику. Тот заподозрил в нем беглого, задержал и передал его властям. Так вместо хлеба дал камень – петлю на шею.

О задержании его сообщили в Хановей, приехали оперативники, выдрали беглецу полбороды, избили и куда-то отправили на истинное концлагерное освобождение.

* * *

Кольцо окружения все суживалось. Пробовали восставшие прорваться из окружения, но везде встречали войска МГБ с овчарками. Шел четвертый день восстания. Восставшие метались из стороны в сторону, а тут самолет кружит над их походами. Залягут в лощине, в карликовых березках, пойдут и снова часами лежат, маскируются. Но вот кольцо окружения подошло к ним вплотную – на двести-сто метров. Началась перестрелка.

Славайтесь!

Минклевич встал во весь рост и во весь голос крикнул: – Большевики не сдаются!

Перестрелка усилилась, с обеих сторон убитые и раненые. У восставших расстреляны все патроны. Кольцо сжимается — восставшие бросают гранаты, но и они кончились. Раненые Минклевич и Сушков с трудом поднимаются с земли, поднялись и некоторые другие с ними и запели Интернационал. Тут же пали, сраженные очередью из автоматов, и их зверски расстреливали уже убитых. Другие же в разных местах тундры были взяты в плен без сопротивления — у них не было оружия. Так закончилось это стихийное восстание. [...]

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Шла к концу вторая пятилетка заключения. В многолетней лагерной жизни дни всеобщих праздников — октябрьских и майских дней заключенным не в радость, а на горе. Заключенных выводят из бараков на середину зоны, делают обыск всей одежды, что на них надета, всех вещей в бараке, стен, потолка, всех щелей в нарах. Эта процедура продолжается весь день. Тут бы отдохнуть работягам, но нет — их надо еще мучить и в эти народные праздники.

А вдобавок является на колонну большое начальство, ходит по зоне колонны, встречает заключенного, обессилевшего от работы, холода и голода, от тоски в неволе: «Что это ты дошел – истощал. Работать не хочешь, вот и дошел на третьем котле в триста граммов хлеба». Но вот начальству большому встречается в зоне колонны заключенный с полным румяным лицом: «Что, наел морду, работать не хочешь, лодырь». Так в том и другом случае заключенный виноват, а право только чиновное начальство. А когда начальство говорит — молчи: вопросов задавать ему нельзя, ибо этого оно не терпит не только в лагере, но и на воле. Молчи, когда тебя ругают, ибо оно твой хозяин.

Большинство заключенных на общих работах работают изо дня в день по десять часов зимой и двенадцать часов летом в условиях тяжелого подневольного труда, тяжелого климата, хронического недоедания, переохлаждения, что и приводит к быстрому истощению и нередко к деревянному бушлату. Многие молодые, здоровые первый год в концлагере работают добросовестно. Их поощряют почетными грамотами, дают большую пайку по первому котлу, но разница прихода и расхода энергии настолько велика, что к концу года они становятся доходягами.

Это хорошо знают старые лагерники, и, чтоб сохранить свою жизнь, придерживаются неписаного лагерного закона: не делай всего того, что можно сделать завтра, и не оставляй на завтра, что можешь съесть сеголня.

Освобождение 251

И все же изо дня в день, из года в год заключенные творят дивные дивы: на тысячу километров построили железную дорогу Котлас-Воркута. А сколько ими создано по всей стране каналов, городов, фабрик, заводов и многое другое. Но их именем не названо ни одно дивное дело, политое их слезами и кровью. [...]

Когда истощенные больные получали на обед или ужин свою норму баланды, то одни ели молча, а другие, крутя ложкой в миске, тянули тонкой нотой: санитар, что-то суп жидковат — они были больны голодом, самой страшной болезнью в мире. Долог и тяжел срок заключения в десять, пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет, даже при условии хорошего питания, одежды, жилья и даже при наличии дневального и при бесконвойном хождении на работы. Вся личная жизнь оборвана, уничтожена.

Шел сорок девятый год, последний год моего заключения, и чем короче оставался срок, тем тяжелее, мучительнее становилось на душе: мысли и думы о неизвестности будущей жизни за пределами концлагеря не давали покою ни днем, ни ночью. Ведь впереди еще пять лет поражения в правах, а это значит гетто — черта оседлости.

Все заключенные знают, что по возвращении из концлагеря, да еще по пятьдесят восьмой статье, их ожидает безотрадная жизнь. Чиновники гражданской службы, особенно если они обюрократились, а таких большинство во всех аппаратах и учреждениях и производствах - то стараются избавиться от бывшего, а если это не удается, то держатся от такого подальше и часто не потому, что они на тебя злы (в душе они, может быть, имеют хорошее отношение), а потому, что в случае вторичного сталинского набора может пострадать и тот, кто принял тебя бывшего на работу, а тем более, если выпил с тобой чашку чаю. Ибо никто не может знать судьбу свою завтрашнего дня. Государственные чиновники страхуют и перестраховывают себя от всякой каверзы опричников Сталина, ибо неровен час, могут так просто, ни за что, ни про что, за общение с бывшим закатать в края отдаленные. А кому этого хочется - нет уж, лучше подальше от бывших. [...]

Я знал, что получу черту оседлости, что буду лишен возможности проживать и работать в областных городах и многих уездных. А поэтому в Самаре – второй моей родине, где прошла моя юность, где многие годы учился, где десять зрелых лет работал, где разрушалась и создавалась семья и личная жизнь, где десятки родных, друзей и сотни знакомых – там я лишен права на жизнь и работу. Потеря семьи, потеря Тани, охлаждение отдельных друзей [...] – все это повергало меня в глубокое уныние.

Но все же хотелось поскорее выйти из концлагеря, пожить и подышать вне его. Примерно месяца за три до конца срока еще неотступнее начали овладевать мною одни и те же тревожные мысли – свобода! [...]

* * *

[...] В жизни заключенного самые ужасные переживания происходят в первые месяцы заключения и последние перед освобождением. Эти переживания лишают заключенного сна и аппетита и, действительно, последние три-четыре месяца я мало спал и ел. Все думы и думы бесконечные о будущей своей судьбе. О многом может думать человек в начале шестого десятка лет, после десятилетнего заключения и потери семьи.

Срок заключения окончился 109. На вахте концлагерного лазарета раздался телефонный звонок: «Освободить и направить во вторую часть — отдел кадров для заключенных — на оформление освобождения Трудникова Сергея Николаевича». Дежурный вахтер сообщил лазаретному помощнику по труду — лагерному отделу кадров, у которого хранятся формуляры заключенных данной зоны, и помощник по труду, тоже из заключенных, доверенное лицо МГБ, вызвал меня к себе и сказал: — Ну, Сергей Николаевич, собирайся с вещами и иди на освобождение в отдел кадров отделения.

Сдержанно прощаюсь с собратьями по заключению и работе, врачами, фельдшерами и другими, с кем многие годы прошли

 $^{^{109}}$ 7 апреля 1950 г.

Освобождение 253

в концлагере, в обществе униженных и оскорбленных. Кто-то дарит мне в дорогу на счастье полотенце и дает совет: при выходе бросить ложку в зоне, ту ложку, которую все годы носил в нагрудном кармане телогрейки-бушлата, и с которой каждый заключенный не расстается ни днем, ни ночью.

Я ухожу, а у остающихся заключенных завидное сочувствие, скорбь на влажных блестящих глазах и грусть: мечты о дне своего освобождения, и каждый молчаливо думает про себя: «Вот ты дотянул до освобождения, а дотяну ли я?».

Последний раз прохожу через вахту концлагеря. На вахте старший вахтер знает, что я ухожу на освобождение: у него на столе лежит телефонограмма: «Такого-то из-под стражи освободить». И верится, и не верится, что я иду на освобождение, так как нередко там в отделе кадров по окончании срока заключения задерживали «до особого распоряжения» на месяцы и годы, как это было с врачами Бездетновым, Джепаридзе, Павловым и многими другими «сверхсрочниками».

Во второй части пятого отделения последний раз сняли отпечатки пальцев — «игра на рояле», взяли подписку о неразглашении всего того, что видел и слышал в лагере. [...] Дали справку, что я отбыл срок заключения по пятьдесят восьмой десять лет, и что по отбытии срока заключения следую в пересыльную центральную часть Печорлага — входных и выходных ворот Печорских лагерей. Там мне выдали паспорт с пометой «черты оседлости» — ограничения места жительства.

Когда во второй части чиновник отделения спросил меня, куда я желаю ехать по освобождении — я назвал свой областной город, где жил и работал до ареста. Нельзя: режимный! Сызрань — режимный; Чапаевск — режимный! Тогда я назвал глухое село на берегу Волги, и мне написали на справке: такой-то отбыл срок заключения по такой-то статье и едет «к избранному месту жительства» 110. Хорошо написано и «честно»! [...]

Итак, в апреле пятидесятого года я получил освобождение на год раньше окончания срока заключения за хорошую работу в концлагере. Девять лет и семь дней вычеркнули из жизни моей

¹¹⁰ Согласно справке, в Куйбышевскую область, Новодевиченский район.

царь Иосиф и его опричники во славу своего господства над обществом по Марксу.

Уезжая из концлагерей, последний раз сходил на могилку Тани. О, как бы я хотел, чтоб она воскресла из мертвых! Грусть и тоска безысходная заставили меня пробыть на ее могилке до позднего вечера. Я знал, в дальнейшей моей жизни будет другая, но не будет близ меня светлого образа Тани, ее красоты души, сердца и ума. [...] Да и не будет вблизи меня ее могильного холма, в котором я похоронил лучшую часть своей жизни. Никто не придет на ее могилку в суровом и диком краю тундры.

Если бы я был верующим в загробную жизнь — мне было бы легче оставить могилку Тани, отдавшую жизнь свою во имя нашей любви. Над тундрой начинались вечерние сумерки, и вдруг я услышал тихое и нежное щебетание вечерней птички, мне послышался голос Тани, и я упал лицом на ее могилку и обнял ее руками и сердцем.

Холодная тундровая ночь привела меня в сознание. Я встал на ноги. Луна освещала всю тундру. Я молча взял с могилы Тани горсть земли, бережно ее завернул в платок и пошел переночевать к давнишнему моему другу по концлагерю, старшему дорожному мастеру Степану Андреевичу, ранее меня освободившемуся и поступившему работать по вольному найму на Печорской железной дороге.

По освобождении он съездил на родину в Белоруссию. Там он женился и вместе с женой приехал на работу в Печорский лагерь. К моему освобождению у них были две маленькие дочки Нина и Зоя. Они всегда принимали меня радушно, как родного, и у меня на всю жизнь сохранятся о них отрадные воспоминания.

Утром следующего дня, десятого апреля пятидесятого года, сел в поезд на станции Печора и, как только поезд миновал Печорские концлагеря, я окончательно почувствовал, что освобожден, открыл окно вагона и невольно сердцем воскликнул: «Да здравствует жизнь!». И поезд мчал меня в новую, неясную, но бодрящую жизнь, туда в Россию, где прожито было сорок два года. [...]

Освобождение 255

* *

Было девять часов утра. На третий день поезд приближался к окрестностям Самары. Я безотрывно смотрел в окно вагона на хорошо знакомые мне места, а апрельское солнце спокойно и ласково разливало свет и тепло на все живущее и существующее вокруг.

Вот Линяги, озера, где когда-то в прошлом весной и осенью вместе с женой и сыном приезжали и приходили из Самары после работы и в выходные дни на удачную рыбалку. ... Прекрасное прошлое! Давно это было, и давно уже Володя Голишевский и другие мои коллеги по работе и рыбалке погибли в сталинских застенках, а я потерял семью.

Проехали мост у Самары, и поезд остановился у Самарского вокзала. Выхожу, ищу глазами Ивана Матвеевича, которому я телеграфировал проездом из Москвы, чтоб встретил, но телеграмма почему-то получилась путаная, Иван Матвеевич трижды выходил не к тому поезду, которым ехал я.

В руках у меня фанерный чемодан лагерной работы, в ремнях подушка, одеяло. Никто не встречает. Сдал вещи в камеру хранения и спешно еду за город на Поляну Фрунзе к сестре и ее мужу Ивану Матвеевичу. Из окна трамвая смотрю с жадностью на город, дома, улицы. Многое изменилось, построено вновь, но многое осталось по-прежнему, когда много лет тому назад я жил и учился и работал в Самаре, когда пережил трагедию ареста. Возбужденно продолжаю смотреть в окно трамвая на людей, идущих по улицам, и на едущих со мной в вагоне. Всматриваюсь в их лица, слушаю их разговоры — людей труда вне концлагеря. [...]

Чем ближе к Поляне Фрунзе, тем быстрее идет трамвай, и приближается момент встречи с сестрой и ее мужем. Вот конечная остановка у мостика, а там десять-пятнадцать минут пешком до сестры. Иду по Пятой линии, поворачиваю на сквозную и Седьмую. Приближаюсь, виднеется голубая изгородь детсада Станкозавода, а напротив дом сестры. Иду, не чувствуя ног.

И точно: против детсада¹¹¹ их дом семьдесят девять. Вхожу в калитку их сада и вижу: у крыльца дома стоит сестра. Она пристально смотрит через очки, объятья, слезы радости, и тут же вышел на крыльцо дома ее муж Иван Матвеевич. — Сережа! И крепкие объятья. Наперебой, то сестра, то Иван Матвеевич меня расспрашивают, то я их о том, что произошло за десять лет, как живут родные, знакомые, и как и что они знают о сыне и А.П. и о многом, многом другом. Сестра собирает стол. На столе закуска, чай, вино. Расспросы и рассказы следуют один за другим, без всякого порядка. То говорим о первых днях ареста и тюрьмы, то об этапе и концлагерях, то о том, что изменилось в быту и работе родных, друзей и знакомых, то рассказы сестры, как жена ушла к другому — взяла в свою квартиру в мужья дядю Гришу. События радостные и горестные.

Но тяжелее и печальнее всего, что у меня нет семьи в пятьдесят два года и своего угла, да и работы, а все это начинать надо заново, когда лучшие годы прошли в концлагере. А тут еще и довесок на плечах — пять лет поражения в правах с «чертой оседлости», что было когда-то для евреев в прошлое царское время...

Мы засиделись до глубокой ночи, захмелев от встречи и вина. Наши рассказы время от времени прерывались короткими песнями нашими русскими то унылыми, то бодрыми, ибо было тесно в груди нашим радостям, горестям и печалям, что накопились за десять лет.

Утром вместе с Иваном Матвеевичем поехали к сыну. Точного адреса я не знал, да удобнее приехать к сыну вдвоем, чтоб сын по Ивану Матвеевичу мог сразу узнать меня. Меня сын знал только по письмам и подаркам по почте, да по фотокарточкам. Когда меня арестовали, ему было четыре года. Того, что случилось со мной, он не помнил, и многие годы скрывали от него о моей судьбе, и только потом, повзрослев, он по всей вероятности понял, что я нахожусь где-то в концлагерях или ссылке.

Когда мне стало известно от родных и знакомых, что жена ушла к другому, а точнее, приняла к себе другого мужа, то я всю любовь перенес на сына. Но по возвращении из концлагеря взять к себе сына не мог. Я оставался наполовину «чернокожий», а его

¹¹¹ В оригинале «детдома».

Освобождение 257

жизнь только начиналась, и подвергать его ограничениям вместе с собой я не хотел и не мог, и от этого сознания, что жить нам надо врозь — мне было тяжело.

* * *

Ранним солнечным и тихим апрельским утром вхожу на второй этаж. Идем коридором, справа и слева комнаты старого каменного тесного дома, небольшие однокомнатные квартирки и общая кухня на четыре-пять квартир.

Иван Матвеевич идет прямо по коридору, я следом за ним. В это время справа по коридору из общей кухни неожиданно выходит А.П., бывшая жена. Увидев меня, как-то растерялась, смешалась, остолбенела, глаза ее округлились, остановилась, смотрит на меня и молчит. Не ждала, не чаяла встретиться со мною! Я говорю: — Здравствуй, Шура! Ведь бывает, что и мертвые воскрешаются! «Так что же», говорит она, «теперь у сына будет двойственность!». Об этом, Шура, надо было думать раньше!

А Иван Матвеевич в это время уже входил в ее комнатуквартиру. Я вхожу следом за ним, а позади меня А.П. Комната студенческая — маленькая. Тут же при входе направо стол, а за столом сидит сын и учит уроки.

Я склонился пред ним, обнял его: — Ну, что Сережа, дождался своего папу. А он, не отрывая рук от стола, положил на них свою голову, молча и безутешно заплакал. Я обнял его голову и тоже молчу — говорить мне трудно, видимо, и он инстинктивно понял: одно горе невольное через меня, а второе горе добровольное от его матери. Проходит минута, две, три, сын молча плачет. А.П. говорит: — Ну что, Сережа, плачешь, не плачь, не плачь!

Понемногу сын стал успокаиваться. Я прижал его голову к своей груди, ищу слова... какой ты стал большой, хорошо учишься — отличник! Как кончатся уроки в школе, приезжай на дачу к тете Мане и дяде Ване, я буду там тебя ждать, а сейчас с Иваном Матвеевичем поедем за моим багажом на вокзал.

Оставаться в чужой мне теперь семье я не мог и не хотел.

Во все это время Иван Матвеевич молча сидел на стуле. Я поднялся, встал и Иван Матвеевич. – Ты проводи нас, Сережа, –

чтоб на одну-две минуты остаться с глазу на глаз с А.П. Сережа вышел с Иваном Матвеевичем. В одном метре от меня стоит А.П. В комнате не повернуться, у сына кровати нет — он спит на маленьком диване, один стол на всех и для всяких дел. Тут же в двух шагах стоит кровать А.П. с ее сожителем.

- Как же в такой маленькой комнате живете? «Живем как все», отвечает А.П. – А почему же, Шура, так получилось, что ты ушла от меня? «Об этом теперь поздно говорить», ответила А.П., и мне стало ясно, что говорить больше нам не о чем. Черта ею подведена под всей прошлой нашей жизнью.

Выхожу в коридор, Сережа и Иван Матвеевич поджидают меня. Сережа говорит мне: «Я пойду в школу, и как кончатся уроки, приеду». Но он приехал раньше: «Я отпросился, папа, и меня отпустили», такова была его жажда видеть и быть какое-то время вместе со своим отцом, а не дядей Гришей, ибо он чувствовал, что дядя останется всегда дядей, а отец отцом, при всех обстоятельствах жизни. [...]

Поздняя ночь. Ложимся спать, и первый раз за долгую и мучительную разлуку я лег спать на одну кровать с сыном. Ощущаю тепло сына, слышу его дыхание и вволю смотрю на него... Утром я проснулся по концлагерной привычке рано, в шесть часов, а сын продолжал спать крепким счастливым юношеским сном, еще не познав добра и зла взрослых людей. Я долго смотрю в его милое лицо, любуюсь им, а сестра и ее муж зовут меня к столу.

Встал сын, вместе позавтракали. Он поехал в город готовить уроки. Покамест я две недели жил у сестры на даче, почти ежедневно с ним встречались. То он приезжал на дачу, то я к нему в школу и на квартиру, когда его мать и ее сожитель находились на работе. А он радовался моему возвращению, и когда я как-то приехал в город и пришел к нему в школу, ждал окончания урока в перерыве в коридоре, чтоб сказать ему, что приехал и вместе поехать на дачу к сестре, то выходя по окончании урока их класса вместе с учительницей и увидев меня, он восторженно произнес, обращаясь к учительнице: «Это мой отец, мой папа!».

Учитывая его возраст и свое еще неопределенное положение, я внушал ему в разговорах с ним, чтоб о наших отношениях с матерью не думал, а только старался хорошо учиться, а когда вы-

Освобождение 259

растет большой, сам поймет и во всем разберется. — Оставайся пока с мамой, слушайся ее, а мы с тобой часто будем видеться, — так говорил я сыну.

Но горько и обидно было мне от сознания, что мне нет места там, где мой сын, вместе с ней под одной крышей. Там я был чужой и лишний! [...]

Однажды я зашел на квартиру А.П., чтоб вместе с сыном поехать на дачу к сестре, и, войдя в квартиру, я увидел седенького небольшого толстого дядю, и А.П., обращаясь ко мне, сказала: «Вот познакомьтесь — это мой муж!» На что я сказал: «Я уже с ним знаком давно по письмам от моих родных». Так осчастливила меня этим знакомством А.П., а когда-то мы жили одними радостями, печалями и одной любовью.

Через две недели от сестры я уехал повидаться с братом в Ставрополь, куда по договоренности на три дня приехал и сын, и снова мы были вместе в родной семье брата, к которому сын приезжал во время моего заключения почти каждое лето на все каникулы. Так постепенно отец и сын не в мечтах и грезах, а в действительности чувствовали друг друга сердцем, умом и душой.

А на сердце все та же печаль: жена ушла к другому, а точнее приняла к себе в дом дядю вместо меня. Сына я не мог взять к себе – ссыльному с чертой оседлости в какой-то глухомани и тем лишить его хорошей путевки в жизнь. Это противоречие разди[ра]ло мою душу. Что делать?

Я знал, что власти будут до седьмого колена меня преследовать, и кто знает, не отправят ли меня снова в края отдаленные по мановению царя Иосифа. И я решил остаться одиноким в своей дальнейшей жизни и работе. [...]

* * *

Перед отъездом к брату в Ставрополь я пошел в облздрав, чтобы поступить на работу. Посмотрев на мои документы, что я отбывал заключение по пятьдесят восьмой, к моей просьбе в отделе кадров отнеслись отрицательно. В городе работы не могли дать, поскольку город Самара относился к режимным городам, а рабо-

тать в глуши, в районах соломенных крыш и самотрясных колхозов я не хотел и решил: лучше уж уехать на работу в Печорские края, где на работу принимают по трудовым книжкам и справкам об окончании медфака, не требуя диплома, который затерялся в отделе госбезопасности в Самаре еще во время заключения. Там проработать год-другой и вернуться на работу в Самарскую область поближе к Самаре, а, следовательно, и к сыну. Четырнадцатилетнему сыну я не мог рассказать о действительном положении моего дела с работой — пусть пока еще не знает он добра и зла взрослых.

Ехал в Ставрополь пароходом и все смотрел с палубы на дорогие с юношеских лет берега Волги. Вот песочный пляж, где сотни купающихся, городской Струковский сад, так памятный мне со студенческих лет. Туда в утренние часы приходил с товарищем Котовым готовиться к экзаменам в грот у фонтана, а по вечерам на всеобщее гулянье. Там по-студенчески размышляли о своей и общественной жизни. [...]

Появилась поляна Фрунзе, особняки бывших капиталистов, величавый Царев курган, Царевщинская и Курумоченская пристани, памятные мне с двенадцатого года. Когда я первый раз в жизни приехал пароходом из Старого Буяна в Самару к брату, где он учился, и шел к нему по Садовой улице, мимо промчались пожарники. Я спросил прохожего, плохо одетого: кто это? Он почему-то ответил: царь! А сколько раз было, днем или ночью, на попутной подводе или пешком, двадцать-тридцать верст приходилось добираться от пристани до родного дома в Старом Буяне, и усталый и пыльный находил радостную встречу и отдых под родным кровом отца и матери и у милой Кондурчи, в лесах и полях.

Далекие годы детства и юношества! Как вы хороши и прекрасны в воспоминаниях теперь, в годы зрелых лет, в годы бесконечного труда, волнений и невзгод, со многими печалями и малыми радостями! До боли в сердце жаль вас, мои милые годы надежд, веры и мечтаний о счастливом будущем на моей родине, обернувшейся злой мачехой не только мне, но и многим близким и дальним.

Погрузившись в воспоминания далекого прошлого, я не заметил, как пароход подошел к ставропольской пристани. Протяж-

Освобождение 261

ный гудок, и пароход у дебаркадера. Подхожу к дому брата, брат и его жена радостно встречают. Во время моего заключения они, как и сестра с мужем, неустанно поддерживали мое моральное состояние частыми письмами. Они вместе со мной разделяли скорби моей судьбы и радовались моими радостями.

На второй день приехал и сын, и мы все вместе ушли в луга на озера рыболовить. Я все вглядывался в лицо сына, вслушивался в его голос, примечал его походку, движения и во всем видел отражение свое больше, чем его матери. Хорошо!

Через два-три дня брат посоветовал мне поступить на работу на строительство Куйбышевской ГЭС в систему концлагерей НКВД. Начальник лечебно-санитарного отдела майор Чесноков охотно брал меня на работу на должность начальника санчасти или инспектора отдела, но отдел кадров – орган госбезопасности – не захотел дать свое согласие. Генерал, начальник строительства, обещал Чеснокову принять меня на работу, но в это время генерал был в командировке, и Чесноков просил меня подождать его приезда.

Я подождал три-четыре дня и, не имея твердой уверенности в поступлении на работу, решил уехать на работу в Печорские края, где меня просили остаться работать после освобождения. Правда, потом, недели через две брат телеграфировал мне, что меня приглашает на работу Чесноков с согласия генерала. Но мне не очень-то хотелось идти работать среди заключенных, оскорбленных и униженных социальной несправедливостью и государственной властью. [...]

* * *

Прощаюсь с сыном, братом, сестрой, ее мужем, родными и уезжаю в дальние Печорские края, где еще «оскорбленному есть чувству уголок!». И снова я еду той же дорогой: первый раз под конвоем, а теперь без конвоя, в добровольное изгнание на дикий север.

Мои старые друзья по концлагерю, работающие теперь после освобождения по вольному найму – окулист Елистратов, тера-

певт Лакоза¹¹², микробиолог Павлюк и другие коллеги, работающие в городе Печора, старший дорожный мастер Петрушенко и другие — встретили меня как родного: ну, что, шутили они — хороша страна Россия, а Печора лучше всех! Мои друзья посоветовали мне поступить на работу в Печорский Водздравотдел, что в трех километрах от города Печоры и Печорских концлагерей.

В Печорском Водздравотделе охотно приняли меня на работу по трудовой книжке в поликлинику в кожно-венерологический кабинет и на полставки врача-терапевта помощи на дому. Здесь уже работал в лаборатории доцент-микробиолог Павлюк, отбывший срок восемь лет по пятьдесят восьмой.

Большинство рабочих и служащих в городе Канине Кожвинского района Коми АССР состояло из ссыльных спецконтингента, сосланных на шесть лет, из числа бывших военнопленных. К некоторым из них изредка приезжали родственники из России повидаться, а большинство жили «студентами» без паспортов и без права выезда, но работая за зарплату. Водоздравотдел предоставил мне комнату в общежитии вместе с механиком автогаража Иваном Ивановичем, из спецконтингента.

Одновременно я обслуживал вербованную молодежь из России, занятую на лесозаготовке и на других работах в порту. Эти вербованные парни и девушки приезжали летом, а весной без паспортов уезжали в Россию кто куда — настолько были малы их заработки. Их разыскивали, штрафовали, и так из года в год. Много жило и работало в портовых мастерских рабочих. Много было и чиновников госбезопасности, которым в каждом человеке мерещился если не в настоящем, то в будущем враг государственной власти. [...]

Через шесть месяцев работы на получаемую зарплату смог обмундироваться по зимнему и демисезонному времени. Жил студентом, обедая в столовой, а завтрак и ужин готовили на общей кухне общежития вместе с Иваном Ивановичем. У меня, как и у него, да и большинства работающих, мечты были одни и те же: через год-другой или через годы уехать в Россию к родным, где и природа ближе и роднее, ибо не одним хлебом жив человек.

¹¹² В оригинале «Глакоза».

Освобождение 263

В свободное от работы время вместе с Павлюком уходили в тайгу. Он жил так же одиноко и, как я, потерял семью. Жена умерла где-то в заключении, а дети пропали в детдомах бесследно.

В тайге мы собирали ягоды, грибы, отдыхали, размышляли о своей судьбе и о многом другом, о чем могут размышлять в пятьдесят лет. Часто ходили к своим коллегам в город Печору, тоже добровольным, вынужденным изгнанникам, а я кроме этого нередко ходил в дом Петрушенко и хорошо чувствовал себя в его семье, такой любезной и приветливой.

По работе меня посылали в стокилометровую командировку на пять дней по реке при пятидесятисемиградусном морозе, и ничего, жив остался я и мой ямщик, даже не заболели.

Здесь, близ Канина на берегу Печоры, когда-то я работал заключенным в пятом лазарете, который теперь года три как за ненадобностью закрыли, бараки снесли и территорию передали водникам. И вот, гуляя по окрестностям Канина и берегу Печоры, где десять лет тому назад был лазарет – первое мое место работы и жизни в концлагере - я вспоминал прошлую жизнь заключенного, первые тяжелые годы, пережитые горести, печаль и душевные страдания, бессонные ночи, которые часто орошались слезами. Снова как живых я видел перед собою коллег своих, врачей Попеляева, Янавичуса, Смирнову 113, Ремпель, работу и быт в бараках лазарета и многое другое, что печально вспоминать, но ведь это была все же жизнь, и ее не вычеркнешь из сердца. Эти невольные воспоминания тяжелым грузом ложились на сознание. Да, здесь погибли от голода и холода морального и физического неисчислимое количество угнетенных и порабощенных тружеников городов и полей.

Сколько слез, горя неизбывного испытали невинные узники, а потом нашли себе здесь место вечного успокоения — досрочного освобождения от заключения и от самой своей злосчастной жизни. Это кладбище человеческих жизней говорило мне, что надо подальше быть от него, что долго оставаться на работе в здешних местах не могу. С глаз долой — из сердца вон! Не могу видеть тех мест, что овеяны муками и страданиями. А поэтому

¹¹³ В оригинале «Смирнова».

решил уехать на работу в Самарскую область, хоть в самый отдаленный район, в глушь под соломенные крыши.

А тут еще произвол госбезопасности: доцент-невропатолог Иванов, отбывший срок заключения десять лет по пятьдесят восьмой, остался вынужденно работать в системе концлагерей по вольному найму — вернуться в Ленинград к семье запретили навечно. Он уже третий год работал среди заключенных и чиновников концлагерей, и вот его арестовали и увезли в столицу Сыктывкар в тюрьму, продержали три месяца и отпустили, не предъявив никакого обвинения.

Если в России беззаконие закон, то здесь, на севере диком звериный произвол творится еще в большей степени. [...]

Проработав в системе Водздравотдела год, я подал заявление об увольнении «по состоянию здоровья» и, благодаря доброму отношению ко мне заведующего Водздравотделом, получил согласие на увольнение — освобождение от работы.

Шел пятьдесят первый год, июнь месяц. В последний раз поехал на могилку Тани в Хановей под Воркуту. Там в поселке Хановей набрал у знакомых железнодорожников букет цветов и на восходе солнца пошел к могилке. Солнце розовыми лучами осветило всю окрестность дикой и холодной тундры. Тундра безмолствовала. Подошел к Таниной могилке, опустился на колени, погрузился в созерцание... И Таня стала живой, воскресшей! [...] Как прекрасна сила любви в человеке и во всем сущем на Земле повсюду, где она живет!

Через какое-то время с востока из-за Уральских гор появилась темно-свинцовая туча, она шла и пересекала путь бело-золотистого облака. Подошла к нему, соединилась с ним, полился на землю теплый благодатный дождь. Так и небо оплакивало могилку Тани своими слезами, а вскоре начавшийся ветер запел свою панихидную песнь в карликовых березках тундры. Вечная память тебе, Таня, жертве социальной несправедливости! Прощай, незабываемый мой друг и товарищ, наша любовь победила нашу судьбу угнетенных и оскорбленных. [...]

НЕВЕРНОПОДДАННЫЙ ГРАЖДАНИН

Я встал с колен и пошел в квартиру Николая Павловича, моего друга. [...] А вскоре пришел пассажирский поезд. Простился с Николаем Павловичем и его женой и выехал из Хановея в Канин. Приехал в Канин, от работы освободился, короткие сборы, короткое прощание с Павлюком и другими друзьями, оставшимися работать на Крайнем Севере. [...] Туда, на север, мало кто приезжает на работу добровольно, и начальство всех ведомств там проще смотрит на бывших заключенных, тогда как в России бывших заключенных власти не жалуют, тем более по пятьдесят восьмой.

Как-то грустно было мне покидать эти суровые края, где столько лет прожито и так много выстрадано, да и то печалило, что поеду работать в Самарскую область вдали от родных и любимого сына, «с чертой оседлости».

Мой товарищ по комнате и несчастью, Иван Иванович, на машине довез меня и мой скудный багаж до станции Печора. Пожелав ему возвращения домой к семье в Луганскую область, купил билет и выехал по маршруту Печора–Котлас–Киров-Горький–Самара. Теперь, возвращаясь с севера дальнего в сторону южную, смотрел в окно вагона, но сердцем не говорил уже, что «здравствуй, жизнь!».

Приехал в Самару к сестре на дачу, днем посещаю родных и знакомых в городе, а ночью сплю в саду под вишнями, где Иван Матвеевич любезно устроил мне кровать — топчан из досок. Повидался несколько раз с сыном, съездил к брату в Ставрополь. Прошло две недели, надо жить, а чтоб жить, надо иметь хлеб, а чтоб иметь хлеб, надо работать.

Пошел в облздрав просить место работы в любой глухомани области, в любой Закаталовский район согласен поехать на работу. В отделе кадров, как и в первый раз, встретили меня с расши-

ренными зрачками, как будто удав явился к ним поступать на работу. Требуют подлинник диплома, но его у меня нет: он был изъят при аресте и пропал где-то в архивах госбезопасности или просто уничтожен. Со мной были трудовая книжка и профсоюзный билет. Десятки врачей знали меня по работе до ареста много лет. А чиновница Пахомова, заведующая отделом кадров облздрава, как все заведующие отделами кадров в учреждениях и заведениях, была негласным ставленником органов госбезопасности и просто не хотела говорить со мной. Нужен подлинник диплома!

Иду в облархив, там дают мне справку, что в таком-то году я окончил Самарский медфак — для заведующей кадрами это пустой звук. Вспомнил, что в каком-то году я снимал копии с диплома для лечебного учреждения. Пошел в областную нотариальную контору, назвал примерно последние годы до ареста. Там посмотрели кое-как и сказали, что копии диплома у них нет. Тогда начались мои хождения в поисках копии с диплома в горздраве, в поликлиниках города, где когда-то работал, в железнодорожном лечебно-санитарном отделе, в лечебном железнодорожном объединении. Обращался в областной отдел госбезопасности.

Две недели продолжались мои хождения, и каждый день, когда я возвращался из города к сестре на дачу, Иван Матвеевич и сестра спрашивали меня: «Ну, как дела?». Я говорил: «Пойду еще завтра». А завтра то же, что и вчера. Наконец, Иван Матвеевич, видя мои бесполезные хождения в город, сказал: «Видно, плохие дела у тебя». Что делать? Диплома нет, и копии с него не находится! Не придется ли ехать без конвоя опять туда, где работал за пайку хлеба десять лет?

[...] Третью неделю обиваю пороги лечебных учреждений в поисках копии диплома. Угрюмо и безнадежно сижу в последнем учреждении — железнодорожной поликлинике, а там где-то в кабинете завкадрами разыскивает документы о моей работе у них в прошлом, много лет тому назад. Жду час, другой и... неожиданная радость: подают мне заверенную нотариальной конторой копию диплома!

Теперь я воскрес: у меня будет работа в Самарской области. Торопко иду в отдел кадров облздрава, отказа в работе мне не будет. Не веря своим глазам, торжественно предъявляю копию ди-

плома, и вместо того, чтоб удовлетвориться поданной ей копией диплома, счастливой моей находкой — завкадрами облздрава цинично мне говорит: а как это вам могли дать на руки архивный документ? Для чиновника госбезопасности всякое разумное понимание дела было кощунством — настолько она, хотя и врач, вся очиновничалась.

Опасаясь, что и эта копия диплома сознательно или бессознательно может быть утеряна, я взял у них ее себе и пошел в нотариальную контору, где мне сняли и заверили с копии три экземпляра, из которых я один отдал завкадрами, один сестре в сундук, один себе и один брату тоже в сундук, причем чиновница Пахомова с негодованием сказала: как это вам с копии дали копии в нотариальной конторе? Я посоветовал ей обратиться в областную нотариальную контору и узнать.

Теперь все документы для поступления на работу были в бюрократическом порядке, но завкадрами Пахомова начала расспрашивать: за какие дела отбывал срок заключения? Я назвал статью. Затем понесла несуразицу о моей работе в прошлом, за которую я имел семь поощрений, благодарности и премии. Но она говорила мне то, что никогда и во сне мне не снилось.

Тогда я ей сказал прямо в лицо: плохие у вас информаторы, гласные и негласные, надо иметь их получше. Я вижу, что вы не хотите принять меня на работу. Кто сажал меня в тюрьму и концлагерь — предложат вам принять меня на работу в Советской стране. А если откажут, то пусть снова отправляют меня в концлагерь, где дадут мне работу, и если там я буду не нужен, то пусть отправят меня в любую страну за границу.

После такого огорошивающего моего заявления – дала назначение на работу в Самарской области в Закаталовском ¹¹⁴ районе в районную больницу. Приезжаю к сестре на дачу, а она уже встре-

¹¹⁴ В Челно-Вершинском (центр – с. Челно-Вершины). Ниже упомянута Старо-Эштебенькинская участковая больница, которая находится в этом районе. Возможно, в названии «Закаталовский» обыгрывается соседний Шенталинский район (центр – станция Шентала). Оба райцентра связаны железной дорогой со станцией Погрузная близ с. Кошки, откуда С.Н. добирался автобусом до Старого Буяна и Самары.

чает меня у калитки сада. – Как дела, братец? – Получил назначение на работу! Туда, где когда-то работала твоя дочь Пана.

Одновременно с поиском копии диплома я много раз заходил к сыну, то в школу, то на квартиру. Несколько раз виделся с Александрой Петровной, но никакого намека на хорошее чувство ее ко мне не было. А я бы готов был вернуться к ней, поскольку в начале развала семьи была некоторая доля и моей вины. Но она как вначале, так и потом продолжала жить расчетом холодного ума и сердца.

Теперь меня тревожила мысль о сыне, чтоб в его юной душе не начало созревать отрицательное отношение к матери, что может повредить его учению и будущей жизни. А потому при встречах с ним старался не говорить плохого о его матери. Говорил, что надо ему учиться в городе, а не там, где я буду работать в деревне. «Будешь большой, сам поймешь, а сейчас стремись к тому, чтоб получить путевку в жизнь. Окончишь десятилетку, а потом вуз».

Перед отъездом в район повидался со своими коллегами по работе в прошлом, родными, знакомыми, друзьями. Одни из них превратились в чиновников с «хлебной» карточкой в кармане, другие остались в обществе трудящихся. Но по старому знакомству дружески беседовал со всеми, вспоминая студенческие годы и работу в учреждениях. Все они все же относились ко мне сдержанно, «с оглядкой», ведь общение с «чернокожим» может повлечь за собою всякие беды.

Как-то поджидая сына в коридоре школы, чтоб поехать вместе с ним к сестре на дачу, я увидел проходящего коридором очень знакомого мне человека в черном костюме. Припоминаю: очень похож на друга школьных и студенческих лет Паршина Гришу, с которым я не виделся двадцать – двадцать пять лет 115.

Спрашиваю уборщицу школы: кто это прошел в черном по коридору? — Это наш завуч школы, как звать и фамилию его не знаю, он недавно у нас работает. Иду в учительскую, спрашиваю — Кто у вас завуч? — Паршин Григорий Александрович. Иду в его кабинет, вхожу. Гриша сидит за столом. Меня он не узнает. Гово-

¹¹⁵ В оригинале «Паришина».

рю: — Здравствуй, Гриша! Он встает, смотрит на меня через очки недоуменно. Протягиваю ему руку: Я такой-то. «А, здравствуй! Я ведь слыхал, что с тобой что-то случилось. Как ты, откуда?» Вкратце я рассказал ему о себе. Гриша, здесь учится мой сын, так ты, Гриша, помоги ему в учебе, приглядывай за ним. Он взял классный журнал, назвал его отметки — отличные. «А как же ты будешь так редко видеться с сыном?» — Что же поделаешь, Гриша! Вот ты уж и присматривай за ним, чтоб с пути не сбился.

«Надолго приехал, пойдем ко мне!» — Нет, Гриша, не пойду. Время имею только повидаться с сыном, да к тому же больше суток в городе мне не положено жить, благо, что сестра живет за городом на даче, в глухом месте, вот у нее и обретаюсь по трипять дней, и участковый не беспокоит никого там. А в городе вдруг наткнешься на какую-нибудь сволочь. Нет уже, Гриша, повидаюсь с сыном и уеду. «Как это плохо!» — Ну, что же — это от нас не зависит, будут другие времена лучшие — увидимся. Дождался окончания уроков, вышел сын, встретил его при выходе из класса и уехал на дачу к сестре — еще один счастливый день у меня с сыном. На следующий день он уехал в город, а я к себе в глухомань.



Я сознательно избрал этот район, потому что автобусный маршрут проходил через родное село Старый Буян и его окрестности, и еще имелся окружной путь из Самары поездом через Инзу или Уфу, более удобный зимой, когда прекращалось движение автобусов.

Ехал автобусом через Семейкино, Красный Яр, хутор Лавров, Екатериновку, Заглядовку, Старый Буян, Елховку, Кошки, станцию Погрузная и беспрерывно смотрел в окно автобуса на дорогие мне места детства и юности и зрелых лет. Все здесь оставалось милым и дорогим моему сердцу: дома, поля, леса, живописная Кондурча — все волновало воспоминаниями, событиями давно минувших лет. Здесь прошли светлые годы дружбы с Таней. Я погрузился в воспоминания, видел живых людей того времени, и радостно-грустное состояние овладело мной.

В Старом Буяне жив еще был брат Павел и его жена Акулина Кирильевна, а в доме нашего отца одиноко жила жена погибшего в концлагере брата Дмитрия — Наташа. Брат Павел и жена Дмитрия оставались связью с далеким, но милым прошлым, и встречи с ними были живительным источником в моей жизни. До моего заключения я каждый год во время отпуска с женой и сыном приезжал к ним отдыхать, купаться в Кондурче, ловить рыбу. На берегу Кондурчи или в беседке в огороде-садике за двором варили уху вечерней порой, ходили в лес-займище, собирали клубнику, кормили ею сына, и он иногда засыпал под кустом на поляне займища близ Кондурчи, под нашей охраной от комаров и букашек. Так было в прошлые годы, когда все мы жили общими радостями и заботами, а теперь от той жизни остались только отрадно-грустные воспоминания. [...]

Приехал и начал работать в Закаталовской районной больнице. Грустно жить и работать одиноко без семьи, родных и хороших знакомых на шестом десятке лет. Знаю, что за мной следует тенью негласный надзор, а потому настороженно отношусь к сослуживцам и ко всем людям. Достаточно сказать критическое слово о делах власть имущих, и снова тюрьма и концлагерь в лучшем случае. Да и знающие мое прошлое относились ко мне «с оглядкой», ибо в душе каждого таился страх перед царем марксидов.

Вначале предоставили для жилья временно глазной кабинет при больнице, а через неделю предложили найти и перейти на частную квартиру на селе. И вот по окончании работы в поликлинике и больнице я стал обходить по порядку дома в селе в поисках квартиры-угла. Обошел десяток домов, но нигде отдельного угла не находил.

Шел июль месяц. Решил пока временно поместиться на жительство в сенях у бобылки, с тем, чтоб потом найти отдельный угол. Начался сентябрь, стало холодать, и вновь начались поиски теплого угла на зиму. Некоторые хозяева домов предлагали поставить кровать в огороженной досками комнатушке и тому подобное. Наконец нашлась комната с отдельным ходом, но с худой соломенной крышей. Во время дождя с потолка текла вода в комнату. Подумал: зимой дождя не бывает, да и где в крестьянских

домах можно найти лучше: в них санитарных норм не существует по материальной бедности со времен крепостного права.

Плата семьдесят рублей в месяц: пятьдесят рублей от больницы и двадцать от себя. Хорошо и это. Обедал и ужинал в столовой, а завтрак готовил у себя на примусе. Снова студенческая жизнь: на медфаке, в концлагере, а теперь здесь, на работе врачом по вольному найму. На праздники Нового года, октябрьские и майские брал отпуск на несколько дней и уезжал в Самару к сестре на дачу, чтоб повидаться с сыном, с заездом к родным в Старом Буяне, и вот в этом я и находил отраду и утешение.

Четырнадцатого декабря пятьдесят первого года получил телеграмму о смерти брата Павла в Старом Буяне и на следующий день выехал на похороны поездом до Кошек, а от Кошек под вечер рейсовым автобусом. Я видел, что шофер настолько пьян, что еле ворочал языком, но как-то этому не придал особого значения — торопился на похороны. И в то же время про себя подумал: как бы шофер не сделал аварии.

Был небольшой гололед. Не успели отъехать от Кошек и двух километров, как увидел падающих с сидений вправо пассажиров, а потом вдруг все потемнело — я оказался внизу под задним сиденьем и еще каким-то грузом, и так сдавило правое плечо, что не мог шевельнуться. Потом увидел, что автобус вверх колесами, выбитые окна. Пытаюсь выбраться, но не хватает сил. Вижу, что шофер лежит у себя в кабине вверх ногами, а мотор работает, и думаю: автобус может загореться, сгорю и я в полном сознании.

Постепенно давление на меня стало уменьшаться, и я выполз через разбитое боковое окно автобуса. Справа в груди почувствовал боль и хруст, расстегнул пальто, рубашку, пальцами прощупал ребра и определил, что у меня закрытый перелом второго ребра справа, что несколько успокоило: все же не открытый перелом. На снегу близ автобуса в бессознательном состоянии лежало трое пассажиров с сотрясением мозга, другие получили легкие ушибы, а четверо пассажиров остались невредимые.

Тяжелораненых проходящими машинами доставили в Кошкинскую больницу, но мне не хотелось оставаться в больнице, и с попутной машиной выехал в Старый Буян. Стало уже темнеть, и на похороны брата я опоздал: его похоронили в два часа дня,

а теперь шесть вечера. У дома брата встретил меня его сын Ваня, приехавший из Самары на похороны.

За две недели до смерти брата я проездом виделся с ним, пробыл с ним два-три часа. А до этого приезжал в Старый Буян во время отпуска к брату и Наташе. Брат не жаловался мне на свои недуги, но я заметил, что он последние два года жизни перестал интересоваться хлопотами и заботами по дому и огороду, да и бросалась в глаза резкая худоба, изношенность организма. Большую часть дня он стремился лежать на кровати. Немного посидит, встанет, и снова на кровать – полежать. Я смотрел на него и думал: если у старого человека, трудолюбивого, как брат Павел, пропадает желание ко всякому делу, ничто его не интересует – это значит, что его зовет к себе Земля!

Коротко было умирание: под вечер жена ушла зачем-то к соседке, брат почувствовал боли в груди, сходил за женой к соседке, постучал в окно, чтоб жена шла домой. Боли дома усилились, внучка Мила позвала фельдшерицу из медпункта, та быстро пришла, сделала несколько сердечных уколов, но не знала, что надо было сделать уколы, успокаивающие боли в груди, снять спазм сосудов сердца. А через два-три часа брат умер.

В первый день после автобусной аварии мое состояние было удовлетворительное, но на второй день начало ухудшаться. Утром собрались ближайшие родственники, чтоб помочь кой в чем по хозяйству, приготовить на зиму дров — жена Акулина Кирильевна стара, а их внучка Мила мала. Днем еще раз собрались малым числом за поминальный стол. К вечеру мое состояние ухудшилось: появились резкие, колющие боли в груди, [в] голове жар; трудно стало ложиться и вставать с кровати, невозможно кашлять от резкой боли в груди.

Это означало, что у меня началась травматическая плевропневмония, и к тому же был перелом правого ребра, но я продолжал крепиться, чтоб на следующий день уехать на лечение в Кошкинскую больницу. Горько было сознавать, что опоздал на похороны и сам едва не погиб в автобусной аварии, а от перелома ребра и воспаления легких предполагал с уверенностью излечиться. Иван Данилович, двоюродный брат проводил меня на автобусе до Кошкинской больницы, где я и остался на лечение.

Да, старшего брата похоронили. Последний раз сидел за его столом в его доме, но уже без него, последнее прощание с последним гнездом родины – с детских лет я находил там привет и родственное отношение. За столом были сестра, племянник Ваня, племянница Маруся, сноха Наташа, братья 116 Алексей и Петр Дворяниновы, Ваня Мусатов, Алексей Дворников, Михаил Родионов и другие односельчане. Брат был честным тружеником и за всю свою семидесятитрехлетнюю жизнь не обидел ни одного человека. Его провожало на кладбище все село – на таких людях мир держится.

Жена его Акулина Кирильевна, убитая горем, спрашивала меня, как теперь ей жить. Сын Ваня звал ее жить к себе, дочь Ася писала из Андижана, чтоб приезжала жить к ней, дочь Маруся звала жить к себе в Новый Буян. Я посоветовал до весны пожить пока в доме с Милой, пока не закончится у нее учебный год.

Она говорила о продаже дома и разделе денег между Ваней, Марусей и Милой, но я советовал все отдать тому, под чьей крышей намерена жить и помирать. Но ей как матери никого не хотелось обездолить, что она и сделала потом. Дом продала и деньги разделила поровну. Сначала жила у дочери Аси в Андижане, потом у дочери Маруси, потом у сына Вани, где и умерла.

Видимо, старым везде плохо самим от себя, [плохо] и тем, у кого живут и доживают свой век, последние годы своей жизни. Когда Ваня сообщил о ее смерти и похоронах, я не мог поехать в Самару и отдать последний долг последнему свидетелю моих детских лет.

Теперь осталась одна сестра Маруся. В ее памяти хранится тот случай, когда она и Акулина Кирильевна еще жили не в разделе, одной семьей. Они что-то делали в доме, а мне трех-четырехлетнему захотелось поесть, не дожидаясь общего обеда. Я попросил кусок хлеба - они отказали, не дали. Тогда я им предъявил ультиматум: «Пойду на улицу и буду есть траву, пусть все смотрят, что я ем траву!», а они смеялись над моей выдумкой. Конечно. траву я не e^{117} .

 $^{^{116}}$ Друг с другом (не с С.Н.) 117 Вариант той же истории в начале ПТ: «Будучи в возрасте трех-четырех лет как-то я захотел есть, но мне, как и всем в семье полагалось обедать

Из Кошкинской больницы через две недели выписался здоровым и уехал к себе на работу в Закаталовский район.

* * *

Шел второй год моей жизни и работы в Закаталовской районной больнице в одиночестве без родных и близких, в оторванности от сына и Самары. Местная аристократия относилась предвзято ко мне и ко мне подобным. Так, в Старо-Эштебенькинской участковой больнице работала врач Смирнова. Ее отца по Сталинскому набору репрессировали, когда она была еще в детском возрасте. Как-то на одном районном совещании медработников она выступила с критикой власть имущих. Секретарь райкома марксидов заявил ей: «Не забывайте, где находится ваш отец!». Критиковать можно и должно нижестоящих себя, а если будешь критиковать вышестоящих, то этот «плевок» упадет на твою же голову.

Чувствовал и я ущемление в профессиональной работе, где каждый марксид считает себя чиновником-князьком, тем более в условиях деревни, [среди] «соломотрясов». Желание уехать из Закаталовского района достигло предела решимости, но желать легко, а осуществить это желание не каждому дано. На мои заявления об увольнении облздрав отвечал: «Будете уволены, когда пришлем заместителя, другого врача»! А это может случиться завтра или через год и десять лет. Это в мои расчеты не могло входить.

Поехал на личные переговоры с облздравом. Результат тот же. Но там работал в аппарате облздрава врач Геминов, хорошо знакомый по работе брату Василию. Вместе с братом явились к Геминову, и Геминов помог перевестись на работу в Ставропольскую больницу. Так добрый человек помог исполнению моего желания.

вместе со всеми за одним столом, в одно время, но я настаивал и требовал, чтоб мне дали поесть. Мне не давали. Тогда я им заявил категорически — ультимативно: если не дадите мне есть, то пойду на улицу и буду есть траву, пусть все видят, что я ем траву. Конечно, никакой травы я есть не пошел, а дождался обеда, но ультиматум мой на них подействовал, и мне дали кусок хлеба».

Я находился в фактическом разводе с Александрой Петровной, но юридически она оставалась моей женой и уже несколько лет жила с другим. [...] Когда я стал оформлять юридический развод, бывшая жена говорила: «К чему эта формальность, когда и так можно жить, без развода, а может быть, придется и с ним разводиться». Действительно мудрое, соломоновское решение! [...] Звука арфы в ее сердце не нашлось. [...]

Шел пятьдесят третий год. Печально текла жизнь моя: прошлое потеряно, современное безотрадно, похоронена мечта о жизни с А.П. и с Таней, подведена черта прошлому «добру и злу». Надо было начинать личную жизнь заново, создавать уют духовной и материальной жизни. Вскоре развод состоялся в областном суде, и навсегда была подведена и юридическая черта под нашей любовью!

В Ставропольском педучилище работала преподавателем односельчанка по Старому Буяну Обыденнова Анна Матвеевна. В детстве я дружил с ее братом Федей, когда она трехлетней девочкой еще «пешком ходила под стол», а потому я просто не замечал ее. Когда я приехал на работу в Ставрополь и стал жить в доме брата, то из разговоров с ним узнал, что Анна Матвеевна работает здесь и давно уже вдовствует с сыном после гибели ее мужа на фронте второй мировой бойни-войны. В сентябре пятьдесят третьего года я пошел в педучилище узнать и посмотреть, что это за сестра моего товарища по школе в Старом Буяне.

Там мне сказали, что она находится в больнице на операции аппендицита. На следующий день вечером я пришел в больницу, дежурная медсестра указала мне палату и койку, где она лежала, и сообщила, что ей только что сделали операцию. Подхожу к ее койке и спрашиваю: Это вы будете Анна Матвеевна Обыденнова? – Да, я! — А вы меня знаете? — Нет, не знаю!

Я назвал себя и ее брата Федю. — Да, теперь по рассказам в Старом Буяне от Мусатовых и вашей племянницы Паны узнаю, что вы и есть тот дядя Сережа, о котором они мне говорили. Мне сказали, что вы вернулись из концлагеря.

Говорила со мной и улыбалась. Не очаровала, но понравилась. Вскоре из больницы выписалась, и начались мои посещения в ее доме-квартире и прогулки в бор. Я присматривался и пригляды-

вался к ней, она ко мне, и между нами началась дружба, сближение и увлечение.

В доме брата, где я жил, стали замечать нашу дружбу, и однажды мне брат сказал, примерно через полгода: «Если она тебе нравится, то заканчивай хождения к ней и женись». Утром в июне пятьдесят четвертого года, поблагодарив брата и его жену за хлопоты и заботы обо мне за год жизни в их доме, с чемоданом в руке пошел к Анне Матвеевне.

Вхожу, она сидит на сундуке и что-то шьет. Увидев меня с чемоданом в руке, спрашивает: — Это куда вы собрались? — К тебе! — Как ко мне?!

Растерялась, смешалась, руки опустились. — Да, совсем к тебе. Она не протестовала: я ей нравлюсь. А вечером на машине перевез свой скудный багаж к ней в квартиру.

В этом же году летом прекрасно провели отпуск у себя на родине в Старом Буяне на берегах Кондурчи, где купались, загорали на ее пляжах, ходили по займищу, с увлечением рыболовили, наслаждались друг другом и природой, а сын ее [Володя] с товарищами рыболовил на Кондурче.

Жили в коммунальной квартире в комнате шестнадцать метров без скорой надежды на получение лучшей квартиры, а потому решили купить или построить свой дом. У нас имелись некоторые средства, и мы построили дом, частью на свои средства и частью на государственную ссуду, на новом месте города Ставрополя. Во время постройки дома в течение шести месяцев пятьдесят пятого года недосыпали, недоедали: не было времени как следует приготовить завтрак, обед и ужин, да и снабжение в тот год было скудное. Измучились до крайности физически, но морально нас радовало, что будем иметь лучшее жилье — теплое, светлое и сухое.

Наконец-то постройка дома закончилась, ушли плотники, и мы из дровника-погреба перешли жить на веранду, а к зиме перешли в дом. Так я и жена стали домовладельцами-собственниками. Еще один год работали на дом, расплачивались с долгами, но были счастливы осуществлением своей мечты. Если раньше, в молодости в революционные годы, всякая собственность мною порицалась, то потом, убедившись, что каждый человек стремится к наи-

большему удовлетворению своих потребностей, я понял, что нет ничего зазорного в собственности лично для самих себя без эксплуатации других.



Многие годы я живу с сыном врозь, и это неотступно меня тревожит. Каков будет его путь жизни? Будет ли он радостен или скорбен — все находится в неизвестности. [...] Сила единения с сыном влечет к нему. Где бы я не находился от него вдали ли, вблизи, при любых обстоятельствах жизни он всегда со мной. Многие были со мною в прошлом и настоящем близкие мне, они разделяли со мной радости и скорби мои, но никто из них не были единственными, как сын мой! Он выстрадан многолетними мечтами и грезами о нем наяву и во сне. [...]

Итак, началась моя жизнь близ Самары, чаще стал видеться с сыном и родными. И я скорбел о том, что царь Иосиф лишил меня возможности иметь других детей, а сына братьев и сестер.

С пятьдесят третьего года наши встречи участились. Я часто видел его грустное лицо, когда он был со мною, может быть, потому, что с нами не было его матери, а если был с матерью, то не было отца. Ни в моей, ни в его душе не было единства, полноты общности.

Кажется, в пятьдесят четвертом году получаю телеграмму: «срочно выезжай, сын». Я был в недоумении: что случилось? А случилось то, что его мать с дядей Гришей уехали из дома в отпуск, дома сын остался один, и когда я приехал и вошел в квартиру, он встретил меня словами: все уехали, я в доме остался один, потому и вызвал тебя, ночевать будешь здесь со мной!

Два дня мы были хозяевами положения: ходили в театр, ездили к сестре на дачу, и, главное, никто нам не мешал быть самими собой. А когда наши встречи происходили при них — я торопил сына под тем или другим предлогом поскорее уйти из дома, где вместе с сыном находятся чуждые для меня люди. Несколько раз в год приезжал и сын ко мне, а затем наши встречи стали реже. Сын уехал учиться на геологический факультет Московского университета.

До пятьдесят девятого года отец и мать являлись для него лучшими друзьями, а с окончанием геологического факультета, на последнем курсе, он женился. Я ему не советовал жениться год-другой после окончания университета — надо было бы осмотреться и еще немного поумнеть. Как оказалось впоследствии, женился он очень и очень неудачно, легкомысленно. И снова отцу и матери пришлось болеть душой за судьбу его семейной жизни.

Но самое главное и страшное осталось позади. В его юношеские годы фантазий и мечтаний, без знания и опыта жизни он мог стать «каином— бунтовщиком» непокорным, чего я очень боялся с того момента, когда его мать взяла к себе в дом дядю Гришу при живом отце. Сын хорошо знал, что отец жив и здоров, пишет письма, присылает иногда посылки, деньги, а потому появление у матери «дяди» могло заставить его уйти от матери «куда глаза глядят». Этого, к счастью, не случилось: он благополучно окончил десятилетку и университет. Хорошо то, что хорошо кончается, а прочее не имеет большого значения, ибо у него теперь есть вечное неотъемлемое право на богатство — путевка в жизнь.

Да, личная, семейная жизнь у сына сложилась неудачно [...]. Как я, так и его мать глубоко переживали неудачную женитьбу сына, то, что в своей семье он был чужой [...]. Но сын его Лёка явился утешением и отрадой нашей жизни. Весной шестьдесят первого года с мая по октябрь Лёка был здесь в Ставрополе у меня, когда ему шел второй год. Я и моя жена Анна Матвеевна полюбили его, и он чувствовал нашу заботу и любовь — отдавал свою детскую любовь нам. Так взаимно мы были счастливы.

В садике-огороде при доме Лёка был послушным «хозяином»: все, что созревало, все ягоды и овощи были в его распоряжении. «Ты куда пошел, Лёка?». Он поворачивался и говорил: «Аги» и шел к ягодам в сад, срывал их и показывал на колонку садового водопровода, что означало, что надо помыть ягоды. Его кроватка стояла рядом с нашей, и если он ночью просыпался, то и мы просыпались, поили, перевертывали, и не было в душе нашей недовольства к нему за нарушенный наш ночной сон, ибо он нуждался в нашей помощи, мы сроднились с ним душой и телом. [...] Я часто называл его именем его отца, Сережей. Лёка явился продолжением детства своего отца, с которым я был разлучен после своего ареста.

Теперь я с Лёкой бываю в Старом Буяне, Самаре, на даче у сестры, где когда-то бывал с сыном, а вначале и с его матерью, хожу и езжу по тем же дорогим местам и тропам.

На следующий год Лёка жил у нас с няней Валей два месяца. Он хорошо уже бегал, ездил на детском велосипеде, мы ходили с ним в бор, собирали грибы, цветы, играли «в добрых и злых волков». В бору Лёка и его товарищ, соседский Коля веселились, играли, пели песни и дышали сосновым и ягодным воздухом, а в саду-огороде Лёка усердно «хозяйничал».

В третье лето Лёка жил больше у матери отца и только один месяц в Ставрополе: приехал отец и увез его в Москву. Лёка был более «самостоятелен». То вступал со мной в спор и детские пререкания: отдай меня папе, маме, бабушкам — всех «четырех частей света», няне — никому не отдам, говорил я. Отдай меня доброму волку — не отдам, отдай меня всем — не отдам никому. Так иногда мы с ним спорили по вечерам на кровати.

Однажды вечером после обильной еды арбузов Лёка лег спать и вдруг громко заплакал. — Что с тобой, Лёка? — Объелся я! — А зачем ты так много кушал арбуза? — Он вкусный! А утром следующего дня с увлечением с ним «работали» — поливали из шланга сад-огород.



Пришло время по возрасту переходить на пенсию. Все бывшие у меня на руках документы за много лет работы в разных лечебных учреждениях были изъяты при обыске и аресте и исчезли в недрах госбезопасности. Началась нудная бюрократическая переписка с учреждениями, где когда-то я работал, и с госархивами. В течение двух лет запрашивал о высылке справок все ниже и вышестоящие учреждения, а они в большинстве случаев бюрократически сообщали: «Документов о работе не сохранилось, рекомендуем восстановить стаж через свидетельские показания». А те, кто в то время работал вместе со мной — одни погибли на войне, другие в концлагерях, а некоторые выехали в другие места. Снова и снова пишу, а ответ один и тот же: «Не сохранились»! [...]

Проработал еще пять лет, чтоб иметь бумажный стаж в двадцать пять лет, а фактический стаж имелся сорок лет. Теперь я на пенсии, но организм уже изношен многолетней работой, тюрьмой и концлагерем. И вот на закате своей жизни задумал повидаться с братом Александром на Югославской земле. Последний раз я с ним виделся в девятьсот шестнадцатом году. [...]

В шестьдесят втором году, когда ему исполнилось семьдесят пять лет, а мне шестьдесят пять, брат исхлопотал въездную визу к нему, переслал мне, и начались мои хлопоты о выездной визе. Месяца через три приходит решение: «отказать». Спрашиваю здесь на месте причину отказа — не знаем, это знают в области. Еду в область в Самару, спрашиваю — не знаем, это там в Москве знают. Еду в Москву в приемную СССР и милицию РСФСР — там тоже «не знаем».

Через год, в шестьдесят четвертом году снова обращаюсь о выдаче визы на свидание с братом, отвечают: «надо снова получить въездную визу от брата, а та, прежняя, недействительна». [...] Еще раз убедился, что человеческого сердца у власть имущих нет. Но желание увидеться с братом не угасло. Есть еще один путь — туристическая поездка в Югославию, может быть удастся там под контролем старшего группы увидеться с братом час-другой. Пишу и лично в Москве в ВЦСПС спрашиваю: нет ли у них туристической путевки в Югославию. Ответ — нет, ждите, что будет в будущем году.

Так окончились мои хлопоты о поездке к брату, а что будет в будущем и последующих годах, не знаю. Но и в туристической путевке могут отказать так же без объяснения причины отказа. И, пожалуй, бесполезны будут и эти хлопоты, потому что я числюсь в черных списках Сталинского террора если не до седьмого колена, то на всю свою жизнь. Но я все же хочу до конца убедиться в том, что и после Сталина остались те же его законы. [...] Казалось, что бы могло препятствовать желанию повидаться с братом, проживающим в другом государстве, тем более идущем к одним и тем же марксидским мечтам — так нет же! [...] Все лучшее, что есть в человеке и обществе, глушится и подавляется во имя государственной власти, угнетения и эксплуатации. Фанатизм религиозный превратился в фанатизм государственной власти. [...]

Может быть, была бы мне утешением вера в загробную жизнь; к сожалению, этой веры во мне нет. Но чем могу утешить себя и брата, печаль его и своего сердца — это тем, что историческим ходом развития общества будут разрушены границы всех государств и сами государства, разделяющие народы на своих и чужих. Все это со временем будет, но тогда не будет меня, а будут внуки или правнуки жить в вольном и разумном обществе людей. Пусть ненависть к государственной власти и любовь к безвластию, свободе и равенству будет последним нашим утешением жизни, дорогой брат! [...]

* * *

[...] На берегах Кондурчи я когда-то хаживал, дневал и ночевал, то на рыбалке, то в ночном с товарищами, и нередко с старшим братом Александром. В раннем детстве ходили с матерью собирать грибы, ягоды, хмель, а в юношеском возрасте там близ Кондурчи на хуторе Разумовских я познал первую радость и печаль юношеской любви с девушкою Таней Разумовской. Многие годы рос вблизи Кондурчи и ее окрестностей, любовался ее песочными перекатами, глубокими ямами, то лесистыми, то чистыми крутыми и отлогими песчаными берегами, восходом и заходом солнца, темно-голубым звездным небом, утренними и вечерними туманами над рекой, чистым и прозрачным воздухом, когда слышится на земле звенящая тишина, а в небе видится величество и могущество мироздания.

Здесь, на берегах Кондурчи, как древние на берегах Иордана, я познал не божеское, а человеческое начало земного добра и зла, и познал я его с помощью своего друга и учителя, двоюродного брата Павла Большакова. [...] Он был старше меня на десять лет и больше меня знал и из личного опыта, и из литературы. Он утверждал, что все беды в обществе, да и в человеке происходят от эксплуатации человека и общества государственной религиозной властью. [...] Вот уже прошли многие года с того времени, а Русь по-прежнему поет и пляшет под забором. Я дословно помню, как мой друг и учитель Павел говорил в те далекие годы юности —

никакая классовая, самая разпролетарская власть не может избавить народы от эксплуатации человека человеком, как это утверждают кабинетные и некабинетные догматики марксиды. [...] Экономическая, политическая и моральная эксплуатация человека человеком продолжается и в двадцатом веке во всех странах независимо от системы государственной и религиозной власти. Но по мере духовного и материального прогресса вера в государственную власть исчезнет, и ее место займет человеческий разум, подобно тому, как в народах многих стран разум заменил религиозную веру.

[...] Каждая государственная власть представляет собой господство меньшинства над большинством — от африканского царя Зверолова до современных эксплуататоров, которые в начале революционной борьбы объединяются с народными массами или классами, а потом, захвативши в свои руки власть, превращаются в новый партийный государственный аппарат, истребляющий и загоняющий народы в тюрьмы, концлагеря и ссылки. [...]

В девятнадцатом веке появился чревовещатель Маркс и выпустил в голову буржуазии снаряд - «Капитал», а в двадцатом веке снаряд разорвался во многих странах не только по головам буржуазии, но и по головам пролетариата и всех тружеников установлением кастово-классовой государственной собственности на производство и потребление. После народной революции ложью, клеветой и обманом, а потом штыком и кнутом марксиды захватили власть в свои руки, и началось диктаторское партийное государственное угнетение и порабощение тружеников городов и полей. [...] Жестокие, с звероподобным инстинктом, марксиды утверждали, что царство разума и света наступит в будущие времена, а пока человек и общество должны слепо повиноваться партийной догме марксидов и им подобных демократов и социалистов. Человек и народ настолько несовершенны и несознательны, что должны еще жить в условиях кнута и пряника, в условиях государственной эксплуатации чиновничье-бюрократическим партийным аппаратом, который превращает тружеников городов и полей в своих верноподднанных и неверноподданных.

Во многих странах частная собственность перешла в государственную собственность, и эксплуатация человека человеком пе-

решла к государственному капитализму, последнему эксплуататорскому этапу в истории, после чего неизбежно наступит эра безгосударственного общества, провозглашенная в бессмертном Интернационале. [...] И чем быстрее народы сознают историческую необходимость уничтожения последнего экономического, политического и морального эксплуататора в труде и потреблении – государственной власти, тем быстрее образуется всенародное бесклассовое общество на основе безвластных советов, организованных по кооперативным, профессиональным или какимлибо другим принципам, от местных до всесоюзных советовштатов, регулирующих производство и потребление снизу вверх и сверху вниз через планово-экономическое статистическое бюро, без законодательных функций.

Мое познание причин эксплуатации человека и общества государственной властью продолжилось в студенческие годы на лекциях анархосиндикалистов и анархокоммунистов в Самаре, а завершилось в Печорских концлагерях смерти. Но именно на Кондурче, как на реке Иордане, я получил первоначальное духовное «крещение» в познании добра и зла в человеке и обществе. Мир жизни человека и общества прекрасен, но эту прекрасную жизнь отравляет и убивает государственная власть экономическим, политическим и моральным угнетением, порабощением и насилием.

Никто из находившихся со мной теперь на Кондурче родных не знал об этих моих воспоминаниях и размышлениях. Ночь прошла. Я продолжал сидеть у догорающего костра. Из-за верхушек деревьев противоположного берега появилась утренняя заря, а потом и восходящее солнце, рассеивающее своими лучами легкий туман ночного дыхания реки. Наступало тихое теплое летнее утро. В это утро первым проснулся в палатке Лёка, подошел ко мне с улыбкой в лице и спросил: «А где здесь умыться?». Я показал ему на восходящее солнце и реку: «Вот здесь можешь умыться не только телом, но и душой». А про себя подумал: «Хороша бы была жизнь твоя и других людей в будущем [...], подобно восходящему солнцу, не знающему людских бед и несчастий».

ЛИТЕРАТУРА, УПОМЯНУТАЯ В СНОСКАХ

Васюхнов 1996 – *Васюхнов С.С.* Чересполосица // Петля-3: Воспоминания, очерки, документы / Сост. Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1996. С. 56–125. http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=1565

История 2004 — История сталинского ГУЛАГа: Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов. Т.б. Восстания, бунты и забастовки заключенных. — М.: РОССПЭН, 2004.

Киселев, Абелев, Киселев 2003 -*Киселев Л.Л., Абелев Г.И., Киселев Ф.Л.* Лев Зильбер — создатель отечественной школы медицинских вирусологов // Вестник Российской академии наук. 2003. Т. 73, № 7. С. 647-659.

Коренев 2007 – *Коренев Л.И.* У холодной Печоры // Октябрьская магистраль. 1 сент. 2007. № 34 (14078). http://xn--80agtiiz.xn--p1ai/archive/?aday=01 &amonth=09&ayear=2007

Революция 1955 — Революция 1905—1907 гг. в г. Самаре и Самарской губернии: документы и материалы. — Куйбышев: Куйбышевское книжное издво. 1955.

Солдатов 1925 — Солдатов Г.П. История революционного движения в с. Царевщине // 1905 год в Самарском крае. Материалы по истории Р.К.П.(б.) и революционного движения / Под ред. Н. Сперанского. — Самара: Издание Самарского губкома Р.К.П.(б.), 1925. С. 619-651.

Солдатов 1935 — Солдатов Γ . Записки старобуянца // 1905 год (сборник воспоминаний участников революционного движения в бывших Самарской и Симбирской губерниях) / Орг. материала, общ. ред. и вступ. ст. А.А. Кузнецова. — М.; Куйбышев: Куйбышевское краевое издательство, 1935. С. 131—150.

Сперанский 1925 — Сперанский Н.Н. Крестьянское движение в Самарской губернии в годы первой революции // 1905 год в Самарском крае. Материалы по истории Р.К.П.(б.) и революционного движения / Под ред. Н. Сперанского. — Самара: Издание Самарского губкома Р.К.П.(б.), 1925. С. 377—562.

Сперанский 1935 — *Сперанский Н*. Старобуянская республика // 1905 год (сборник воспоминаний участников революционного движения в бывших Самарской и Симбирской губерниях) / Орг. материала, общ. ред. и вступ. ст. А.А. Кузнецова. — М.; Куйбышев: Куйбышевское краевое издательство, 1935. С. 120—130.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Α Андреев, писатель – 94, 95 Андреев, рабочий из Кинеля – 177 Андреев Леонтий, деятель Старобуянской республики – 36, 37, 41, 47, 50, 151 Андреянов Владимир, рабочий засыпка на мельнице Разумовских – 63 Андреянова Маша, жена засыпки – 223 Антипов Сергей, деятель Старобуянской республики – 36, 37, 45, 47 Антониевич Даниела, см. Старович Антониевич Драган, муж племянницы С.Н. – 27 Антониевич (Чекина) Милена Александровна, племянница С.Н. – 27 Артамонов, заместитель начальника Печорлага – 214 Астафьев, санитар Крым-Сарайской больницы – 112 Ахматов Даниил, деятель Старобуянской республики – 37, 47, 50, 55 Б Бакунин, теоретик анархизма – 89, 134, 135, 138 Балашов, убийца, сосланный на каторгу – 52 Бальмонт, поэт -81Баранов Василий Кузмич, муж племянницы С.Н. – 30 Баранова (Чекина) Маргарита Васильевна, племянница С.Н. – 30 Баранова Ольга Васильевна (Оля), внучатая племянница С.Н. – 30 Баринов Егор, товарищ Павла Большакова – 83 Безбородников, бывший матрос – 110 Бездетнов («дядя Костя»), врач в Печорлаге – 203, 208, 253 Бекаревич, полицейский урядник в Старом Буяне – 39, 40 Берия, член сталинского правительства – 145 Большаков, деятель Старобуянской республики – 36, 47 Большаков Ваня, товарищ С.Н. по коммунистической общине – 83 Большаков Лаврентий Петрович, муж Прасковьи Георгиевны, сестры матери С.Н. -14, 51 Большаков Николай Лаврентиевич (Коля), двоюродный брат С.Н. – 51 Большаков Павел Лаврентиевич, двоюродный брат С.Н. – 51, 83, 84, 88, 90, 281 Большаков Федор Петрович, брат Лаврентия Петровича – 70 Большакова Екатерина Лаврентиевна (Катя), двоюродная сестра С.Н. – 51 Большакова Надежда Лаврентиевна (Надя), двоюродная сестра С.Н. – 51 Большакова Настя, см. Милохова Большакова (Шаварина) Прасковья Георгиевна (Паша), тетка С.Н. – 14, 15, 51

Бочкарев Володя, товарищ студенческих лет С.Н. – 107

Бубнов, прокурор – 243

Бубнова Мария Павловна, акушерка-фельдшерица Крым-Сарайской больницы – 111 Бухарин, теоретик марксизма-ленинизма – 134, 135, 138, 146

B

Варенников, помощник лесничего в Борискине – 110

Василий Данилович, фельдшер в Печорлаге – 240

Василий Финагеевич, церковный сторож в Старом Буяне - 44

Ващакин Вин, товарищ студенческих лет С.Н. – 107

Вишнякова Татьяна Андреевна, первая жена С.Н. – 112, 117, 126, 127, 209, 210

Волконская, жена декабриста – 127

Володя, сын А.М. Обыденновой – 276

Г

Гельман, врач в Печорлаге – 203, 204

Геминов, сотрудник аппарата Куйбышевского облздрава – 274

Гитлер, рейхсканцлер национал-социалистической Германии – 98, 194

Гладыш, семья в Самаре – 89

Голишевский Володя, знакомый С.Н. в Самаре – 255

Голубков Михаил Михайлович, заведующий кафедрой русской литературы XX в. филологического факультета МГУ – 11

Городецкий Сергей, поэт – 81

Горшковы, супруги, фельдшер и акушерка Борискинской больницы – 110

Горький Максим, писатель – 94, 95, 154, 162

Григорьев, врач в Печорлаге – 226

Громов Владимир, врач в Самаре – 123

Гуров Ваня, товарищ студенческих лет С.Н. – 103, 104, 107

Гус Иоанн, реформатор – 159

Д

Дворников Алексей, деятель Старобуянской республики – 36, 41, 47, 55, 273

Дворникова Прасковья Яковлевна, соседка матери С.Н. – 19

Дворянинов, волостной старшина – 40

Дворянинов Алексей, житель Старого Буяна – 273

Дворянинов Евгений (Женя), муж Лидии – 25

Дворянинов Петр, брат Алексея – 273

Дворянинова (Чекина) Лидия Дмитриевна, племянница С.Н. – 25, 129

Денисов Василий Дмитриевич, врач в Печорлаге – 208, 214

Деревянко, старший надзиратель в Печорлаге – 241

Джепаридзе, врач в Печорлаге – 208, 253

Джоржадзе Мина, знакомая С.Н. в Тифлисе – 78

Джугашвили Иосиф, см. Сталин

Добрянский, начальник Самарского губернского жандармского управления – 36, 39

Долгов, мелкопоместный дворянин – 63

Доронин Григорий, товарищ брата С.Н. -10, 52, 53, 54, 55

Доронин Лева, сын Григория – 54

Дорохин, заведующий Бугурусланским уездздравом, однокурсник С.Н. – 111, 163

Достоевский, писатель – 94, 95

Дутов, атаман Оренбургского казачества – 152

Указатель имен 287

E

Евсеев Митя, товарищ С.Н. по коммунистической общине – 83

Егоров, деятель Старобуянской республики – 50

Елистратов Сергей Андриянович (Андрианович), врач в Печорлаге – 203, 261

Елцов (Ельцов), деятель Старобуянской республики – 36, 47

Ж

Женя, вольнонаемная медсестра в Печорлаге – 195, 224

Жидяевы, братья, деятели Старобуянской республики – 37, 46

3

Зайцев, следователь НКВД-НКГБ в Самаре – 162, 163, 170-172, 185

Званзгия (Занзгия) Ян, друг С.Н. – 10

Зенин, врач в Самаре – 124, 125

Зильбер Лев Александрович, микробиолог – 202, 203

Злодеев, знакомый С.Н. в год работы в Борискинской больнице – 110

Зотов Дмитрий Иванович, заведующий школой в Старом Буяне – 33

И

Иван Иванович, механик автогаража в Канине – 262, 265

Иван Николаевич, дежурный по станции Пернашор – 224

Иванов, врач в Печорлаге – 264

Иванов-Хренов Василий, сват Чекиных - 51

Иванов-Хренов Василий Васильевич (Вася), школьный товарищ С.Н., ср. Хренов Василий – 51

Иванов-Хренов Владимир, первый муж Марии, сестры С.Н. – 28

Иванов-Хренов Федя, школьный товарищ С.Н. – 55

Иванова Прасковья Владимировна (Пана), племянница С.Н. – 29, 73, 126, 127, 212, 268, 275

Ильин, смертник из Мелекесса – 179

Иосиф Кровавый, см. Сталин

К

Казанский Федор, см. Казанцев Федор

Казанцев, фельдшер Крым-Сарайской больницы – 111

Казанцев Федор, деятель Старобуянской республики – 36, 40, 47, 50

Калинин, советский государственный деятель – 144

Каменские Валя, Шура и Рая, члены кружка учащейся молодежи в Старом Буяне – 85

Каменский Михаил Андреевич, диакон в Старом Буяне – 17

Каменский Николай, житель Старого Буяна – 102

Карпачев Гриша «Лиса», соученик С.Н. – 33, 34

Карташев Φ едя, школьный товарищ С.Н. – 54, 58, 59, 64, 65, 82, 83, 88

Катурга, старший фельдшер Урицкой больницы – 115

Кикин Паша, школьный товарищ С.Н. – 54

Кириллов (Кирилов), инженер – 185

Климушкин, старший унтер-офицер двести восемнадцатого запасного стрелкового полка – 75

Кнорин, историк партии – 134, 135, 138, 146

Князев, деятель Старобуянской республики – 36, 40, 41, 47

Князев Ваня, школьный товарищ С.Н. – 54, 58

Князев Павел Федорович, покупатель дома, в котором выросли С.Н. с братьями – 28

Князева Акулина, см. Чекина Акулина Кирилловна

Ковнер «Гриша», провизор – 203

Кожевникова, начальник Пятого лазарета Печорского концлагеря – 190, 193, 199, 200

Козлов Василий (Вася), школьный товарищ С.Н. – 54, 56, 57, 58

Козлова Наташа, см. Чекина Наталия Петровна

Колчак, адмирал – 53

Коля из Мелекесса, сокамерник С.Н. – 144, 145, 147, 149

Константин, священник в Старом Буяне – 60

Коробов, старобуянский помещик – 35, 46, 48

Короленко, писатель – 94, 95

Котельников Василий, см. Козлов

Котов Коля, член Самарского клуба анархистов – 93, 100, 107, 111, 124, 134, 148, 152, 162, 260

Кочетков, знакомый С.Н. в год работы в Борискинской больницы – 110

Красильников, рыбак из Кобельмы – 28

Красильникова (Чекина) Любовь Павловна, тетка С.Н. – 14

Кроль, техник Горкомхоза в Самаре – 157-159, 170-172

Кропоткин, теоретик анархизма – 89, 134, 135, 138

Крючков Андрей, брат жены двоюродного брата С.Н. – 78

Кузнецов, старобуянский крестьянин – 102

Кукай, деятель Старобуянской республики – 41

Куприн, писатель – 94, 95

П

Лакоза, врач в Печорлаге – 203, 262

Леднев Захар Максимович, сосед С.Н. в Старом Буяне – 22

Леднев Илюша, сын Захара Максимовича, друг С.Н. – 22, 23

Леднева Устинья Ефимовна, мать Илюши – 23

Ледневы Гриша и Фрося, дети Захара Максимовича – 22

Ленин (Ульянов) Владимир, основатель Советского государства – 55, 94, 176, 185

Лыков Родион, житель Крым-Сарая – 111

M

Малов Ваня, врач в Самаре, однокурсник С.Н. – 125

Маркс, философ – 254, 282

Марсов, деятель Старобуянской республики – 236-238

Маслеников, старобуянский помещик – 35, 46, 48

Матов А.И., сотрудник «Самарской газеты» – 40

Матюнин, старобуянский помещик – 12

Мила, внучатая племянница С.Н., жена Володи, сына А.М. Обыденновой – 272, 273

Милохов Алексей, муж Насти – 51

Милохов Вася, друг С.Н. в годы учения в Самаре в фельдшерской школе – 55, 56, 67, 68, 83, 92, 93, 98, 100, 107

Милохов Иван, писарь Старобуянской республики – 40

Милохова (Большакова) Анастасия Лаврентиевна (Настя), двоюродная сестра С.Н. – 51

Минкиевич, см. Минклевич

Указатель имен 289

Минклевич (Минкиевич, Минцкевич) Дмитрий Михайлович, предводитель лагерного восстания – 9, 243-249

Минцкевич, см. Минклевич

Миронов Павел, расстрелянный трибуналом Инзенской дивизии – 89

Михин, дворянин, владелец участка за Кондурчей – 13

Миша, фотограф в Печорлаге - 210

Морев, врач в Самаре – 123

Мороз Эля, литературный редактор – 11

Мочалов, волостной писарь – 40

Мошков Владимир, фельдшер, деятель Старобуянской республики – 36, 37, 39, 40, 41, 46, 47

Мусатов Александр Иванович (Шура), двоюродный племянник С.Н. – 51, 78

Мусатов Борис Иванович, двоюродный племянник С.Н. – 51

Мусатов Даниил Петрович, муж тетки С.Н. – 14, 51

Мусатов Иван Данилович, двоюродный брат С.Н. – 51, 78, 272, 273

Мусатов Павел Иванович, двоюродный племянник С.Н. – 51

Мусатов Юрий Иванович, двоюродный племянник С.Н. – 51

Мусатова Дарья Даниловна, двоюродная сестра С.Н. – 51

Мусатова Ирина Даниловна, двоюродная сестра С.Н. – 51

Мусатова (Чекина) Феня (Фанася?) Павловна, тетка С.Н. – 51

H

Нейман, директор Самарского областного кожно-венерического диспансера – 123 Некрасов, поэт – 161

Нефедьев, старобуянский помещик – 12

Никола Дурак, воровская кличка главаря рецидивистов – 242

Николаев, старший санитар в Печорлаге – 242

Николаева (Чекина) Галина Сергеевна, внучатая племянница С.Н. – 25

Николай Павлович, дежурный по станции Хановей – 220, 221, 224, 225, 228-230, 232, 234, 265

Николин И.Ф. (Ваня), однокурсник брата Василия – 52, 54, 55, 66, 68, 80

Никонов Сергей, брат студентки Никоновой – 104

Никонова, студентка – 103-105

Нина, жена Николая Павловича – 224, 225, 232, 234

Новичкова (Чекина) Светлана Сергеевна (Света), внучатая племянница С.Н. – 25

O

Обиралкин (возможно, обобщенный персонаж), партийный деятель в Старом Буяне – 222

Обыденнов Федя, школьный товарищ С.Н. – 54, 275

Обыденнова Анна Матвеевна, сестра Феди, третья жена С.Н. – 275, 276, 278

Оглоблин Саша, член Самарского клуба анархистов – 93, 100, 105-107

Орлова, актриса, жена Минклевича – 244

П

Павлов, бывший командир дивизии – 208, 253

Павлов Федор, деятель Старобуянской республики – 39

Павлюк, микробиолог, знакомый С.Н. в Канине – 262, 263, 265

Паляевы, квартиросдатчики в Самаре – 67, 92, 122

Панарины, кузнец и портной, жители Крым-Сарая – 111

Панкратова Клавдя, солдатка – 106

Паршин Григорий Александрович (Гриша), член Самарского клуба анархистов – 93, 100, 107, 268, 269

Пахомова, заведующая отделом кадров Куйбышевского облздрава – 266, 267

Пеннер, помощник председателя Старобуянского волостного самоуправления – 40

Петр Иосифович, начальник санчасти в Печорлаге – 241, 242

Петров, рабочий – 176

Петров Сергей, врач в Самаре – 123

Петриченко Александра Петровна, вторая жена С.Н. – 30, 126-132, 136-139, 167, 168, 170, 172, 173, 206, 207, 210-213, 219, 255, 257-259, 268, 270, 275, 277-279

Петрушенко Зоя, дочь Степана Андреевича – 254

Петрушенко Нина, дочь Степана Андреевича – 254

Петрушенко Степан Андреевич, дорожный мастер на Печорской железной дороге – 254, 262, 263

Печенкин, см. Селезенкин

Писчиков П.К., заведующий школой в Старом Буяне, деятель Старобуянской республики – 32, 36, 37, 47, 50

Поляк, студентка – 103

Полякова Клавдия, член кружка учащейся молодежи в Старом Буяне – 85

Поляков Володя, агроном, школьный товарищ С.Н. -54, 55, 64, 65, 82, 88

Поляков Коля, фельдшер, школьный товарищ С.Н. – 54, 55

Помидор, воровская кличка главаря рецидивистов – 242

Пономарев Костя, член Самарского клуба анархистов – 93, 100

Пономаревы, сестры, члены кружка учащейся молодежи в Старом Буяне – 85

Попеляев, врач в Печорлаге – 189, 193, 194, 196, 198, 200, 263

Поссе Владимир Александрович, анархо-коммунист – 94, 95, 98

Постников Паша, студент, разделявший учение анархистов – 100, 107

Потрохов (возможно, обобщенный персонаж), старший следователь отдела дознания НКВД-НКГБ в Самаре – 146

Просторов Андрей Ильич, колхозник – 151

Просторов Илья, отец Андрея – 151

Прудон, теоретик анархизма — 89, 134, 135, 138

Пугачев Емельян, предводитель крестьянского восстания – 12

P

Раевская, жена декабриста – 127

Разин Степан, предводитель крестьянского восстания – 12

Разумовский Иван Никонорович, отец Тани – 63, 221, 223

Разумовский Александр Иванович, брат Тани – 63

Разумовский Борис Иванович, брат Тани – 63, 69

Разумовская Серафима Яковлевна, мать Тани – 63, 65, 221, 223

Разумовская Таня (Татьяна Ивановна), возлюбленная С.Н. – 9, 10, 64, 65, 69-72, 77, 80, 84, 126, 219-221, 225-235, 252, 254, 264, 269, 275, 281

Разумовская Лена (Елена Ивановна), сестра Тани – 65

Разумовская Зина (Зинаида Ивановна), сестра Тани – 65

Ранцев, начальник лагерной тюрьмы – 204

Рахманины Алимпиада и Екатерина Ивановна, учительницы в Старом Буяне – 32

Рванцев, см. Ранцев

Ремпель, врач в Печорлаге – 189, 194, 263 Рогдаев Николай Игнатьевич, анархо-коммунист – 94, 95, 98 Родионов Михаил (Миша), деятель Старобуянской республики – 55, 273 Рокоссовский, маршал – 202 \mathbf{C} Салеевы, братья, деятели Старобуянской республики – 36, 41 Салтыков-Щедрин, писатель - 122 Сальников, старший унтер-офицер двести восемнадцатого запасного стрелкового полка -75, 76Селезенкин (возможно, обобщенный персонаж), начальник следственного отдела НКВД-НКГБ в Самаре – 140, 150-155, 163, 172 Семенов, атаман – 53 Сергеев, старобуянский помещик – 12 Серебряник-Белл Елена Александровна, переводчик – 11 Сидоренко, председатель Урицкого волисполкома – 114 Симаков Вася, член Самарского клуба анархистов – 93, 100, 107 Слесарев, заведующий ремесленной школой – 89 Смеловский, знакомый С.Н. в Самаре – 148 Смирнов, агент НКВЛ – 148 Смирнов, учитель в Самаре – 148 Смирнова, врач в Печорлаге - 189, 194, 263 Смирнова, врач Старо-Эштебенькинской участковой больницы – 274 Смыслов Иван Алексеевич, заведующий школой в Старом Буяне – 33, 102 Соколов, священник, законоучитель в школе – 21-22, 60 Соколов, см. Смирнов Соколовы, сестры, члены кружка учащейся молодежи в Старом Буяне – 85 Солдатов Г.П., автор воспоминаний о Старобуянской республике – 39, 48 Солдатов Порфирий Михайлович, деятель Старобуянской республики – 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 50 Спиноза, философ – 212 Сталин (Джугашвили, «Иосиф Кровавый»), руководитель Союза ССР – 9, 55, 129, 135, 145, 147, 150, 151, 155, 162, 163, 179, 180, 208, 211, 237, 238, 248, 251, 254, 277, 280 Старович (Антониевич) Даниела, внучатая племянница С.Н. – 27 Стеклов Ю., автор книги о Бакунине – 135

Сушков Яков Иванович, предводитель лагерного восстания – 9, 243-249 Т

Тарасов, знакомый С.Н. в Самаре – 157, 158

Стуловы, братья, жители Крым-Сарая – 111 Судов Ваня, школьный товарищ С.Н. – 55, 62

Тарасов Василий Иосифович из Сочи, делопроизводитель и кассир военного конного транспорта на Турецком фронте – 79

Тартаковский, врач в Печорлаге - 208

Терехин Иван, крестный С.Н. – 14

Терехин Семен, житель Старого Буяна – 14

Терехов Иван Дмитриевич, ср. Терехин Иван – 14

Толстой Лев, писатель -53, $\bar{6}0$, 94, 95

Трехсвятский, священник, деятель Старобуянской республики -38,41,44,45,47 Трехсвятский, студент, сын священника -38,45

Троцкий, деятель мирового революционного движения – 138

Трубецкая, жена декабриста – 127

Трубин Коля, студент, разделявший учение анархистов – 100

Туев, врач Абезьского лазарета – 203

Турчанинов, оперуполномоченный в Печорлаге – 204

V

Ульянов, заключенный – 176

Ульянов Владимир, см. Ленин

Устин Артюша, товарищ студенческих лет С.Н. – 107

Ушаков, старобуянский помещик – 35, 46, 48



Филёкин Петя, студент-коммунист, сочувствовавший анархистам – 100, 103, 106

Фор Себастьян, теоретик анархизма – 89, 134, 135

Фролов Иван Матвеевич, второй муж Марии, сестры С.Н. – 29, 30, 130, 131, 255-258, 265, 266



Хренов Василий, доброволец Инзенской дивизии, ср. Иванов-Хренов Вася – 88 Хренов Гурьян, сосед С.Н. – 59

Ц

Циммерман, комиссар медфака – 103

Циплякова Маруся, старобуянская школьница – 62

Цоколли, теоретик анархизма – 89, 134, 135

Ч

Чапаев, полководец – 92

Чекин Александр Викторович (Саша), внучатый племянник С.Н. – 25

Чекин Александр Дмитриевич, племянник С.Н. – 25, 129

Чекин Александр Николаевич, брат С.Н. – 26-28, 72-74, 77, 82, 99, 110, 124, 188, 280, 281

Чекин Александр Сергеевич (Шура), внучатый племянник С.Н. – 25

Чекин Алексей Павлович, дядя С.Н. – 14, 23, 24

Чекин Ваня, см. Чекин Иван Павлович

Чекин Василий Николаевич, брат С.Н. – 27, 28, 29, 30, 52, 65, 80, 82, 85, 99, 259, 261, 265, 267, 274, 276

Чекин Виктор Дмитриевич, племянник С.Н. – 25, 26, 113, 129

Чекин Виктор Павлович, дядя С.Н. – 14, 23, 24

Чекин Георгий Александрович, племянник С.Н. – 27

Чекин Георгий Николаевич, брат С.Н. – 24, 25

Чекин Дмитрий Николаевич, брат С.Н. – 25, 26, 28, 61, 82, 89-91, 99, 113, 129, 270

Чекин Евгений Васильевич, племянник С.Н. – 29, 30

Чекин Иван Павлович (Ваня), племянник С.Н. – 272, 273

Чекин Леонид Сергеевич (Лёка), внук С.Н. – 278, 279, 283

Чекин Михаил Иванович, четвероюродный брат С.Н. – 188, 189

Чекин Михаил Петрович, племянник С.Н. – 26

Указатель имен 293

Чекин Николай Александрович, племянник С.Н. – 27

Чекин Николай Павлович, отец С.Н. – 14, 17, 18, 20, 21, 23, 51, 61, 72, 73, 90, 91, 99, 104, 113

Чекин Николай Павлович, племянник С.Н. – 126

Чекин Павел, дед С.Н. – 14

Чекин Павел Николаевич, брат C.H. – 17, 20, 24, 25, 61, 82, 113, 270-273

Чекин Павел Петрович, племянник С.Н. – 26

Чекин Петр Николаевич, брат С.Н. – 26, 88, 99

Чекин Саша, см. Чекин Александр Викторович

Чекин Сергей Викторович, внучатый племянник С.Н. – 25

Чекин Сергей Дмитриевич, племянник С.Н. – 25, 26, 28, 129

Чекин Сергей Сергеевич, сын С.Н. – 128-132, 136, 139, 167, 170, 172, 173, 206, 207, 212, 213, 255-261, 265, 268-271, 277-279

Чекин Шура, см. Чекин Александр Сергеевич

Чекин Юрий Петрович, племянник С.Н. – 26

Чекина (Князева) Акулина Кирилловна (Кирильевна), жена брата С.Н. – 24, 269, 272, 273

Чекина Алена, бабка С.Н. – 14, 15, 16

Чекина Ася, см. Чекина Васса Павловна

Чекина Анна Аркадьевна, жена брата С.Н. – 29

Чекина (Масальская) Бронислава Ивановна (Броня), жена племянника С.Н. – 25

Чекина Васса Павловна (Ася), племянница С.Н. – 273

Чекина Галина Сергеевна, см. Николаева

Чекина (Шаварина) Дарья Георгиевна (Дарья Егорьевна), мать С.Н. -14, 17-20, 59-61, 68, 69, 72, 73, 90, 91, 99, 130-132, 281

Чекина Евдокия Ивановна, жена брата С.Н. – 30

Чекина Женя, см. Элибезова

Чекина Любовь Павловна, см. Красильникова

Чекина Маргарита, см. Баранова

Чекина Марианна Сергеевна, дочь С.Н. – 120, 210

Чекина Мария Николаевна, сестра С.Н. – 28, 29, 73, 99, 127, 130, 131, 168, 212, 222, 255-257, 259, 265-269, 271, 273

Чекина Мария Павловна (Маруся), племянница С.Н. – 273

Чекина Милена Александровна, см. Антониевич

Чекина (Козлова) Наталия Петровна, жена брата С.Н. – 25, 26, 129, 270, 272, 273

Чекина Нонна Сергеевна, дочь С.Н. – 117, 209, 210

Чекина (Петрович) Радмила Петровна, жена брата С.Н. – 27

Чекина Света, см. Новичкова

Чекина Феня, см. Мусатова

Челышев, домовладелец в Самаре – 89

Чепланова Феня, родственница Чекиных в Самаре – 89, 90

Черепанов, судья – 169

Черник, юрист из Шуши – 196

Чернов Григорий Артемьевич, второй муж А.П. Петриченко — 212, 256, 258, 259, 277, 278

Чернышев Петр Петрович, фельдшер в Печорлаге – 205-207

Чесноков, начальник отдела в концлагере на строительстве Куйбышевской ГЭС – 261

Чехов, писатель – 94, 95, 122

Ш

Шаварин Георгий (Егор) Федорович, дед С.Н. — 17 Шаварина Акулина, бабка С.Н. — 14, 15, 16 Шаварина Дарья Егорьевна, см. Чекина Шаварина Паша, см. Большакова Шашлов Саша, санитар в Печорлаге — 193, 200 Шимаев, заведующий школой в Старом Буяне — 33, 34, 52 Шопенгауэр, философ — 110 Штерн, врач в Печорлаге — 203 Штирнер, теоретик анархизма — 134, 138

Ш

Щербаев, см. Щибраев Щибраев Лаврентий Н., деятель Старобуянской республики – 36, 37, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 50



Элибезова (Чекина) Евгения Петровна (Женя), племянница С.Н. – 26

Я

Янавичус, врач в Печорлаге — 189, 190, 193-196, 198, 200, 217, 263 Ярошенко, художник — 201 Ясинская Оля, врач Борискинской больницы — 110

ИЗДАНИЯ АИРО В 2013 г.

2013

- В эту минуту истории. Политические комментарии. 1902—1924. [Текст]. / Валерий Брюсов / Составление, вступительная статья В.Э. Молодякова. М.: АИРО-XXI, 2013. 312 с. + 4 с. илл. (Серия «АИРО первая публикация»).
- Между канунами. Исторические исследования в России за последние 25 лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2013. 1520 с.
- А.Ю. Каратеев. Авиационные инженеры в России и СССР. Подготовка кадров в 1909–1945 гг. / под ред. Г.А. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2013. 368 с. (Серия «АИРО Первая монография»).
- Фридрих Фирсов. 34 года в Институте марксизма-ленинизма. Воспоминания историка. (Серия «АИРО первая публикация») М.: АИРО-ХХІ, 2013. 480 с. + 32 с. илл.
- Д.В. Стрельцов. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. М.: AИРО-XXI, 2013. 280 с.
- В.Я. Гросул. Общественное мнение в России XIX века. М.: АИРО–XXI, 2013. 560 с.
- Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину. М.: АИРО-ХХІ, 2013. 384 с.
- Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева. М.: Вестник Кавказа; АИРО-XXI, 2013. 368 с.
- Современное медиапространство Азербайджана. Под ред. Г. Бордюгова. Предисл. А. Рагимова. М.: АИРО–XXI, 2013. 416 с. + 36 с. илл.

Научное издание

Сергей Николаевич ЧЕКИН

Старый Буян, Самара, Печорлаг. Повествование врача Трудникова

Компьютерная верстка и техническое редактирование – С.П. Щербина



Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Научно-исследовательский центр АИРО-XXI E-mail: andmak@airo-xxi.ru www.airo-xxi.ru

Подписано в печать с оригинал-макета 26.08.2013 Формат $60\times84/16$. Усл. изд. л. 18,5 Тираж 800 экз. Зак.